

**НОВИЙ
МІР**

12

1933

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

**К Н И Г А
ДВЕНАДЦАТАЯ
ДЕКАБРЬ**

М О С К В А
4 • 9 • 3 • 3

Статформат Б/5 176 × 250.

Учолн. Главн. В — 70103. Об'ем 15¹/₄ печ. лист. по 64.000 знак. Техн. ред. В. Белоконов. Зак. 3087

Тип. им. тсв. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — На курсе норд-ост 23° (Из 2-й книги «Цусима»)	5
2. Александр ЖАРОВ. — Два стихотворения	27
3. А. ГАРРИ. — Конец Петлюры, рассказы	30
4. М. ЮТКАНАКОВ. — Когутэй, поэма	51
5. АЛ. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, роман, книга 2-я, продолжение	84
6. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. — Рассказ о потерянном дне	96
7. А. АРОСЕВ. — Бианка. (Из рассказов об Октябрьской революции)	105
8. В. ЗАЗУБРИН. — Горы, роман, окончание	119
ЛЮДИ И ФАКТЫ:	
10. П. ШИРЯЕВ. — Высокая земля, часть 5-я	157
11. С. ОБРУЧЕВ. — Полет на остров Врангеля	171
ЗА РУБЕЖОМ:	
12. Е. ГНЕДИН. — На стыке двух эр. (Международный обзор)	185
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
13. Р. ПИКЕЛЬ. — Итоги театрального сезона	202
14. П. МАРКОВ. — О советском актере	211
15. ПИСЬМА ГЕЙНЕ, редакция и комментарий Евг. Книпович	215
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1933 год	242

На курсе норд-ост 23°

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Из второй книги „Дусима“

I

Быстро наступила ночь.

«Николай I», на котором находился контр-адмирал Небогатов, стал обгонять наш броненосец, держа на мачтах сигнал:

«Следовать за мной. Курс норд-ост 23°».

Через несколько минут флагманский корабль вступил в голову эскадры, а наш «Орел» занял второе место в строю. Потом шли «Апраксин», «Сенявин» и другие броненосцы, уцелевшие от дневного артиллерийского боя.

В это время на смену главным неприятельским силам появилась на горизонте минная флотилия. Быстроходная, она должна была выполнять ту же роль, какую выполняет на суше кавалерия: окончательно добить дезорганизованные и отступающие силы противника. Разбившись на небольшие отряды, миноносцы серыми, силуэтами наступали на нас с севера, с востока, с юга. В сравнении с броненосцами эти суденышки казались маленькими и безобидными игрушками. Море накрывало их рваными плащами волн, а они, захлебываясь водою и падая с борта на борт, стремительно приближались к нам. И мы хорошо знали, какую разрушительную силу несут они броненосцам. Каждая удачно выпущенная с миноносца торпеда, эта стальная самодвижущаяся сигара, начиненная пятью пудами пироксилина, грозит нам неотвратимой гибелью.

Началась паника. «Николай I», уклоняясь от минных атак, повернул влево. За ним пошли и остальные корабли. Но одни из них поворачивались «все вдруг», другие — «последовательно». Кильватерный строй рассыпался, и суда сбились в кучу. Но это продолжалось недолго: после того, как броненосцы склонились на юг, они снова вытянулись в кильватерную колонну.

Наши крейсера с миноносцами и транспортами, до этого следовавшие за главными силами, теперь оказались впереди нас. Наступил момент, когда они должны были бы приблизиться к нам и взять под защиту броненосцы от минных атак. За это говорила самая элементарная логика. Такая же обязанность лежала и на наших миноносцах. Но случилось нечто непостижимое. Крейсера и миноносцы тоже повернули на юг и, увеличив ход, скрылись в темноте. Невольно возникал вопрос: поступая так, какими соображениями руководствовался командующий отрядом крейсеров контр-адмирал Энквист? Около броненосцев остался один лишь крейсер «Изумруд». Небогатов приказал ему держаться на левом траверзе «Николая» и отгонять противника.

По линии колонны было передано световым семафором распоряжение адмирала:

«Иметь ход тринадцать узлов».

Под облаками, плоско нависшими над морем, шумел ветер. В сгустившейся тьме качались, как привидения в белых саванах, гребни волн. Броненосцы, от-

бываясь от минных атак, вспыхивали багровыми проблесками, словно длинный ряд маяков. К учащенным выстрелам мелкой артиллерии присоединялись сухие стрекочущие звуки пулеметов. По временам бухали крупные орудия, раздирая ночь тяжелыми раскатами. Неприятельские миноносцы, едва заметные для человеческого глаза, отступали под градом наших снарядов, но скоро опять появлялись уже с другой стороны.

Четыре передних броненосца, в том числе и «Орел», на котором успели потушить пожары, шли, погруженные во мрак, без обычных наружных огней и без боевого освещения. На корме каждого корабля горел лишь один роторный фонарь, огонек которого, приоткрытый с боков, излучался, как из щели. Этим светом мы и руководствовались, идя в кильватер головному. Контр-адмирал Небогатов еще во время следования на Дальний Восток приучил корабли своего отряда ходить без огней. И теперь это пригодилось. Остальные наши суда, находившиеся в хвосте, беспрерывно метали лучами прожекторов.

«Орел», только теперь случайно попавший под командование Небогатова, не применял боевого освещения по другим причинам. Из шести имевшихся у нас прожекторов не осталось в целости ни одного. Все они, несмотря на принятые меры защиты от осколков, были уничтожены. Решили приспособить прожекторы, снятые перед боем с катеров и спрятанные внизу судна. Они немедленно были извлечены наверх. Минеры, руководимые младшим минным офицером, лейтенантом Модзалевским, подали к ним летучие провода от главной динамомашинны, но в результате получилась такой слабый свет, что он не оправдывал своего назначения и лишь привлекал к себе противника. К великому огорчению начальства и команды пришлось отказаться от боевого освещения. Но, как потом мы узнали, это было нам на пользу.

При отражении минных атак на «Орле» могла действовать лишь часть артиллерии: носовая 12-дюймовая башня с одним орудием (у второго орудия

была оторвана дульная часть), одна правая носовая 6-дюймовая башня, работавшая вручную, и четыре 47-миллиметровые пушки, расположенные на мостиках. Уцелела еще кормовая 12-дюймовая башня, но при ней осталось только четыре снаряда, — их берегли на тот случай, что, может быть, опять придется встретиться с линейными кораблями противника. Сохранилось также несколько 75-миллиметровых пушек, но ими нельзя было пользоваться: стоило только открыть полупорты, как в батарейную палубу немедленно начинали попадать волны. Остальные башенные и казематные орудия были или окончательно разрушены, или требовали значительных исправлений.

С такими средствами самозащиты «Орел» отбивался от минных атак. Но этим не ограничивалось его бедственное положение. Он имел до трехсот больших и малых пробоин. Правда, все они были надводные, но в них не переставали захлестывать волны. Кроме того, давали течь и расшатанные броневые плиты. Броненосец принял в свои внутренние помещения более пятисот тонн воды, и она, несмотря на все старания трюмных, продолжала угрожающе прибывать, увеличивая осадку корабля. Становилось все очевиднее, что море засасывает его в свои холодные недра.

Когда доложили об этом старшему офицеру Сидорову, он сейчас же распорядился:

— Надо мобилизовать всех, кого только можно, чтобы избавить судно от воды.

Это распоряжение было передано из боевой рубки по случайно уцелевшей трубе в центральный мост, а оттуда оно полетело по всем отделениям корабля.

Часть экипажа оторвали на борьбу за пловучесть корабля. Остальные люди продолжали работать каждый по своей специальности. Приступил и я к своим прямым обязанностям. Судовой ревизор, лейтенант Бурнашев, приказал старшему баталеру, кондуктору Пятовскому, и мне заняться выдачей команде мясных консервов. Это происходило в кормовом минном отделении. Ярko горели электрические лампочки. Из раз-

ных помещений приходили матросы и выстраивались в очередь. Их было не так много, и все же им выдавали банки с мясом под строгим учетом. Здесь же присутствовал и сам ревизор, перешедший сюда из центрального поста. Бурнашев, смахнув с толстогубого и прыщеватого лица обычное выражение лени, оживился и допрашивал каждого матроса:

— Откуда?

— Из патронного погреба левой средней башни, ваше благородие, — отвечал матрос.

— Сколько вас там?

— Двенадцать человек.

— Так, получишь три банки.

Пятовский записывал, кому, в какое отделение и сколько пошло консервов, а я выдавал их.

Очередь дошла до минера Привалихина.

— На сколько?

— Для двоих, ваше благородие.

— Одну банку можно отпустить только на четыре человека. Полагается по четверть фунта мяса на каждого.

— Мы, ваше благородие, поделимся с рулевыми.

— Смотри, чтобы без обмана.

Один из машинистов, до неузнаваемости запачканный смазочным маслом и грязью, рассердился на ревизора и, отказавшись от консервов, полез по трапу наверх. С батарейной палубы донесся его голос:

— Офицером еще называется. А у самого прыщи лопаются от жадности. И ходит раскорякой, точно кранец подвесил себе между ног. Заживо сгнил. Будешь тонуть — мы тебе этих консервов во все карманы насуем, зараза проклятая...

И хотя лейтенант Бурнашев все это слышал, он почему-то растянул толстые губы в улыбку.

— Что он, чумазый дурак, там разорался? Надрызгался, должно быть?

— Он пьян, ваше благородие, от собственного пота, — подчеркнуто процедил кто-то из матросов.

Бурнашев замолчал и недоверчиво, как на загадочный омут, покосился на команду.

Не было случая, чтобы там, где можно было получить еду, не присутствовал кочегар Бакланов. Он придвинулся к ревизору почти вплотную и, обдавая его запахом водки, насмешливо заговорил:

— Зря вы, ваше благородие, помногу выдаете им консервов. Разве можно так — целую банку на четыре человека? Они облопаются и спать захотят. А тут нужно корабль защищать. Я вот со вчерашнего дня хоть бы одну крошку с'ел. Нет аппетита, да и только. Все думаю, как отечество спасти...

— Перестань болтать! — перебил ревизор. — Короче говоря — сколько?

— На три кочегарки, ваше благородие, больше пяти банок не надо.

— Выдать!

Я понимал жадность бывшего крепкого мужичка, а теперь кондуктора Пятовского. При разговорах со мною у него не раз прорывалась его заветная мечта — накопить на казенный счет деньжонок и открыть какую-нибудь торговлю. Но стремление к наживе лейтенанта Бурнашева было для меня необъяснимо. Этот богатый орловский помещик дрожал над каждой банкой консервов и проявлял величайшую жадность в то время, когда наверху бухали орудия и когда каждая секунда угрожала взрывом неприятельской торпеды.

Под каким-то предлогом я ушел из минного отделения и поднялся на батарейную палубу.

В батарейной палубе, чтобы уменьшить для противника видимость судна, горели лишь синие электрические лампы. Было полусумрачно. Броненосец качался, словно надорвал свои силы. Плескалась, вспыхивала холодным блеском вода. Иногда она жутко скатывалась к тому борту, на какой кренилось судно. Шлепая по ней ногами, я с мутой в голове переходил с одного места на другое. Все здесь стало непривычным для глаза, как будто я попал на чужой избитый корабль: и оставшиеся обломки от некоторых 75-миллиметровых пушек, и разгромленные переборки офицерских кают, и элеваторы с вырванными боками, и хлопающие дыры в бортах. В слабом синем свете с трудом узнавались встречающиеся офи-

церы и матросы, тревожно-торопливые, с бледноземлистыми лицами, с провалившимися глазами. В первый момент мне показалось, что я нахожусь среди бестолково суетящихся мертвецов. Это впечатление усиливали небурные трупы убитых матросов и мичмана Шупинского, — они перекатывались вместе с водой, сталкивались между собой, повертывались своими туловищами то в одну сторону, то в другую.

Если наверху люди были заняты главным образом отражением минных атак, то здесь часть экипажа всю свою энергию расходовала на борьбу за остойчивость корабля. Мичман Карпов со своим пожарным дивизионом, трюмный инженер-механик Румс с лучшими слесарями и трюмными машинистами, боцмана с плотниками и строевыми матросами заделывали пробоины, через которые захлестывали волны. Некоторые дыры были небольшие, в кулак величиною. Но их было много, и все они в общей сложности пропускали значительное количество воды. Их забивали деревянными клиньями или втулками вместе с промасленной паклей. Сложнее обстояло дело с большими пробоинами. Никто не знал, что кондукторская кают-компания была наполнена водой, удерживаемой лишь тринадцатой переборкой. Когда в ней отдраили дверь, то через комингс, пугая людей, хлынули в сторону кормы шумные потоки. Кто-то нервно взвизгнул. Некоторые из матросов, полагая, что затоплена вся носовая часть судна, бросились было бежать. Но их остановил своим окриком фельдфебель Мурзия:

— Куда вы, кроличьи души? Назад!

Дыры в этой кают-компании начали забивать матрацами и койками, потом накладывали на них доски, зажимая их упорами. Провозились здесь довольно долго, прежде чем избавились от захлестываний волн.

Но больших пробоин было немало и в других частях корабля. В каюте лейтенанта Ларионова был вырван борт размером пять на шесть футов. К счастью, отверстие было ровное, с гладкими краями, словно вырезанное ножницами, и это дало возможность бысро

его заделать. Зато не так легко было справиться с пробоиной на сотом шпангоуте. 12-дюймовый снаряд так закрутил ее края, что сколоченный деревянный щит никак не могли плотно приладить к борту. Плотники снова переделывали щит. Слесаря, стуча кувалдами, старались выпрямить загнутые края отверстия. Все было бесполезно. Мичман Карпов распорядился:

— Тащи сюда одеяла и маты. Быстро!

И только после того, как щит подбили с одной стороны одеялами и матами, он остановил приток воды.

Но больше всего чувствовалась угроза моря через громадную пробоину в кают-компании. Здесь не было электрического освещения. Пользовались только аккумуляторными лампочками, да и то изредка, чтобы не привлечь светом противника. Выполняя указания трюмного инженера Румса, работали впотьмах, на ощупь, находясь по пояс в воде.

Слышались разнобойные голоса:

— Плечом поддерживай доски.

— Упоры давай.

— Что ты меня тычешь койкой в лицо?

— Одеяла подкладывай.

— О, дьяволы, ногу придавили.

В руке инженера Румса загоралась на несколько секунд аккумуляторная лампочка. В ее свете видны были согнутые спины и натуженные лица тех, кто старался удержать временное сооружение перед пробоиной высотой в человеческий рост. Казалось, еще немного усилия, и задание будет завершено. Но врывались внутрь судна тяжелые волны, вышибали все приспособления защиты и опрокидывали людей. Чужое море как будто мстило нам. Холодное и мрачное, оно глухо рычало, требуя жертв. Но матросы не хотели сдаваться без боя и тоже рычали. Они падали, захлебываясь горько-соленой влагой, в снова поднимались для борьбы с водой, ставшей теперь главным нашим врагом.

Инженер Румс крикнул:

— Ничего, ребята, у нас так не выйдет. Попробуем применить другой способ.

Работа началась с наружной стороны борта. Решено было наложить на рану корабля парусиновый пластырь, закрепив его края за леерные стойки и за полки сетевого ограждения. Пока возились с этим делом, волны не переставали бить людей, угрожая совсем смыть их в море. Однако цель была достигнута — доступ воды внутрь судна уменьшился по крайней мере на две третьих.

Так же поступили еще с одной громадной пробоиной на 71-м шпангоуте.

Пятьдесят человек в это время были заняты устранением с батарейной палубы воды. В полумраке одни из матросов сгоняли ее вниз к помпам и турбинам, другие черпали ее ведрами или банками из-под масла и выливали за борт через мусорные рукава. Не переставали действовать и брандспойты. Несмотря на все принятые меры, вода лишь чуть-чуть начала убывать. А, может быть, это только казалось так, потому что слишком велико было у нас желание скорее избавиться от нее.

Этой партией матросов руководил боцман Воеводин. На этот раз в нем не было прежнего спокойствия. Возбужденный, в фуражке, с'ехавшей на затылок, он метался от одного человека к другому и, заглушая свой собственный страх, кричал неестественно громко:

— Проворнее, ребята, работай! Лучше на берегу пить водку и обнимать баб, чем опускаться на морское дно или погибать в зубах акулы...

Из операционного пункта поднялся на батарейную палубу инженер Васильев, поддерживаемый трюмным старшиной Осипом Федоровым. Васильеву очевидно самому захотелось посмотреть, что здесь делается, и помочь людям своими указаниями. Но, когда он, шагая при помощи костылей, попробовал приблизиться к правому борту, броненосец накренился в эту же сторону. Одновременно с гулом хлынула к правому борту вода, заливая Васильеву ноги выше колен. Он вернулся назад и в этот момент встретился со мною.

— А, и вы здесь.

— Так точно, ваше благородие.

Поблизости стучали кувалды, лязгало железо. Это очищали элеватор, чтобы восстановить по нём подачу 75-миллиметровых патронов из погреба.

Мы остановились перед люком в машинную мастерскую.

Васильев, оглянувшись, покачал головой и сказал:

— Мы держимся чудом. Броненосец может в любой момент пойти ко дну.

— Это как же так? — спросил я, удивленно глядя на Васильева.

— Очень просто. Два часа тому назад я разговаривал с трюмным инженером Румсом. И мы пришли к неутешительному выводу. Сообразите сами. Кочегары сжигали только тот уголь, что находился внизу у них под руками. От артиллеристов мы узнали, что израсходовано из погребов около четырехсот тонн снарядов и зарядов. По батарейной палубе гуляет более двухсот тонн воды. Вы представляете себе, насколько переместился на корабле центр тяжести? Броненосец может выдержать крен не больше восьми градусов. Один только лишней градус — и броненосец перевернется вверх килем.

От сообщения инженера на меня повеяло таким ужасом, как будто к моему затылку приставили дуло заряженного револьвера.

Осип Федоров ушел от нас помогать своим трюмным машинистам. Я проводил Васильева в машинную мастерскую. Жалуясь на головную боль, он улегся на токарный верстак и попросил меня подложить что-нибудь под голову. Я принес ему свой бушлат.

— Может быть, ваше благородие, вы подниметесь на верхнюю палубу? Я помогу вам.

Васильев грустно улыбнулся, сузив от яркого электрического света зрачки.

— Зачем? Если наш «Орел» пойдет ко дну, то и здоровые едва ли спасутся. А мне, повидимому, и подавно погибать. Лучше останусь здесь, чтобы сразу, без мучений, расстаться с белым светом. Я на все смотрю трезво. Восемь градусов — наш предельный крен. А эту предельную цифру легко можно превысить при крутом повороте судна. Я просил господина Румса предупредить

об этом старшего офицера. Кроме того, я и от себя послал ему записку.

Я поднялся наверх один. Тьма была настолько густой и плотной, что казалось, давила плечи. Пространство шумело ветром и всплесками моря. Вокруг мачт бились обрывки снастей, и где-то жалко звенел лист железа. Постепенно мои глаза стали разбирать предметы. Я осторожно пробирался к носовому мостику и, чтобы не провалиться в какую-нибудь пробоину, ощупывал ногой каждый аршин палубы. Часто приходилось отступать назад и обходить опасные места. Под ногами, там, где от снарядов была прогнута палуба, хлюпала вода, доходявшая почти до колен.

Внезапно до меня донесся из-за борта отчаянный крик:

— Спасите... Погибаю... Братцы, спасите...

Кто это кричал: офицер или матрос? И как он попал в море?

Сорвался ли с борта «Николая I», шедшего впереди нас, или случайно остался в живых с какого-нибудь уже погибшего корабля? Об этом знало только море. Наш броненосец, не останавливаясь, шел дальше. Он и не мог заняться спасением одного человека, когда вопрос стоял о сохранении жизни всего экипажа. Взывавший о помощи голос, надрываясь, быстро уносился за корму и становился все глуше, словно погрязая в бездну. Я с дрожью подумал: «Может быть, и нам придется так барахтаться в морской пучине? Сколько теперь людей, разбросанных волнами в разные стороны, держалось на воде, доживая последние минуты».

С трудом я добрался до носового мостика. Справа от боевой рубки, привалившись к ее броне, стоял человек и через бинокль всматривался в ночную тьму. Это оказался старший сигнальщик Зефиров.

— Как дела, Василий Павлович?

— Пока идем без остановки.

— Куда? Во-свояси или в нейтральный порт?

— Хватился! Еще с девяти часов «Николай» повернул на прежний курс норд-ост 23°. Пробираемся во Владивосток.

Мне казалось, что и контр-адмирал Небогатов допустил величайшую ошибку. Он не мог не сознавать, что мы разбиты, разбиты безнадежно. А раз так, то он, как и всякий другой военачальник при таких условиях, должен был заботиться лишь о том, чтобы сохранить для будущего времени остатки вверенных ему сил. Конечно, нечего было и думать о возвращении в Балтийское море: оно слишком далеко. Но у нас была другая возможность выйти из создавшегося положения: завернуть в ближайший нейтральный порт Китая и там разоружиться. Адмирал Небогатов этого не сделал, несмотря на то, что командовал теперь остатками эскадры самостоятельно и мог по-своему решать вопросы тактики и стратегии. Он слепо подчинился субординации и, выполняя приказ Рождественского, повел уцелевшие суда во Владивосток. Для чего они там будут нужны, когда в данный момент этот порт потерял для нас всякое значение? И где была гарантия, что мы снова не будем встречены японцами в их море? Это была наша четвертая попытка прорваться через опасный двор противника к своей далекой земле, не имея никаких шансов на успех. Невольно складывалось впечатление, как будто нас, измученных и обескураженных, толкала к гибели чужая злая воля.

Зефиров сообщил мне еще новость:

— Мы чуть свой крейсер «Изумруд» не пустили ко дну. Приблизился он к нам с левой стороны. Наши приняли его за неприятеля и давай по нем жарить. Четыре выстрела сделали. К счастью, не попали в него. А то больше не пришлось бы ему плавать.

Я случайно оглянулся назад. В этот момент далеко от нас, позади левого траверза, море взметнуло багровое пламя, и мы услышали отдаленный рокочущий грохот.

— Это что значит? — спросил я у Зефирова.

— Вероятно какое-нибудь судно взорвали миной, — ответил он озябшим голосом.

В воображении возникла страшная картина тонущего судна с барахтающимися людьми, пожираемыми волнами.

Чье оно, это судно: японское или наше? Но эти далекие и невидимые жертвы войны заполняли болью лишь часть моего сознания. Главное же мое внимание было приковано к своему кораблю: не прозевали бы и у нас приближения противника. По краям мостика расположились сигнальщики, оглядывая ночной горизонт, около двух уцелевших 47-миллиметровых пушек находились комендоры. На крыше 12-дюймовой башни возвышалась крупная фигура лейтенанта Павлинова, который забрался туда, чтобы легче следить за японскими миноносцами. Временами по его зычному приказу эта башня, а также и носовая правая 6-дюймовая поворачивались своими жерлами в ту сторону, где намечался подозрительный силуэт судна.

Я заглянул в боевую рубку. Из начальства находились там четверо. Из них только младший минный офицер, лейтенант Модзалевский, остался невредим, все же остальные были ранены. Лейтенант Шамшев, согнувшись, сидел на палубе и слабо стонал. Старший офицер Сидоров, изнемогая, привалил забинтованную голову к вертикальной броне рубки. Лейтенант Модзалевский и мичман Саккелари следили через прорези за «Николаем I», на корме которого, как путеводная звезда, излучался лишь один ротьеровский фонарь. У штурвала стоял боцманмат Копылов, плотный и смуглый сибиряк с небольшими жесткими усами. Это был лучший рулевой, знавший все тонкости своей специальности и великолепно освоивший все капризы судна при тех или иных поворотах. Он низко опустил голову, как бы пряча от других свое лицо, исквыренное осколками. Кисть правой руки была обмотана ветошью, — ему оторвало два пальца. С раннего утра, как только появились японские разведчики, он занял свой пост и, хотя потерял много крови от ран, бессменно стоял перед компасом, словно притянутый к нему магнитом. В рубке находились еще двое — сигнальщик Шемякин и кондуктор Казинец.

— Адмирал поворачивает влево, — крикнул мичман Саккелари.

Старший офицер сразу выпрямился и скомандовал:

— Не отставать.

И, повернувшись к Копылову, добавил:

— Осторожно клади руля.

— Есть, осторожнее клади руля, — угрюмо ответил Копылов.

«Орел» покатился влево и в то же время начал крениться на правый борт, в наружную сторону циркуляции. С верхней и батарейной палуб донесся до боевой рубки зловеющий гул воды. Неприятельским огнем еще в денном бою были уничтожены все наши кренометры, но и без них чувствовалось, что корабль дошел до последней черты своей остойчивости. Свалившись набок, он дрожал всеми частями железного корпуса. В рубке, зная о восьмиградусной предельности крена, все молчали, и вероятно всем, как и мне, казалось, что наступил момент ожидаемой катастрофы. Так продолжалось до тех пор, пока броненосец, постепенно поднимаясь, не встал прямо.

— Молодчина «Орел», — облегченно вздохнул старший офицер.

Минут через пятнадцать, когда начали ложиться на прежний курс норд-ост 23°, опять повторилось то же самое.

Контр-адмирал Небогатов проделывал такие повороты очевидно для того, чтобы затруднить действия неприятельских миноносцев. При этом каждый раз мы теряли флагманский корабль. «Николай I» поворачивался почти на пятке, а мы, чтобы уменьшить крен своего судна, вынуждены были описывать циркуляцию с большим радиусом. Сверкавший перед нами огонек ротьеровского фонаря на время исчезал. Мы рисковали совсем разойтись с флагманским кораблем: Но в этих случаях всегда выручал старший сигнальщик Зефилов. Для его больших, серых глаз как будто совсем не существовало тьмы, — он все видел. Благодаря его указаниям снова находили флагманское судно.

— Меня сильно знобит, — пожаловался старший офицер Сидоров.

Мичман Саккелари посоветовал ему:

— Вам необходимо спуститься в операционный пункт.

Сидоров что-то хотел сказать, но его перебил чей-то нервный выкрик с мостика:

— Миноносец! Миноносец!

Впереди справа сверкнул огонек.

Моментально забухали орудия.

— Мина! Мина! — завопил чей-то голос.

Я выскочил на правое крыло мостика и застыл на месте. Было видно, как выпущенная неприятелем торпеда, оставая на поверхности моря фосфорический блеск, неслась наперерез нашего курса. Гибель казалась неизбежной. Все были бессильны что-либо предпринять. В висках отдавались удары сердца, словно отсчитывая секунды жуткого ожидания. Сознание заполнилось одним лишь вопросом: пройдет ли торпеда мимо борта или внезапно корабль будет потрясен до последней переборки и быстро начнет погружаться в колышущуюся могилу моря? Повидимому, наш час еще не пробил, — торпеда прочертила свой сияющий путь перед самым носом броненосца. Люди вернулись к жизни.

Старший офицер крепко выругался, а потом, словно спохватившись, воскликнул:

— Господи, прости мою душу окаянную.

Сигнальщик Зефиров промолвил:

— Вот подлая, чуть не задела.

И, сорвав с головы фуражку, начал колотить ее о свои колени, словно стряхивая с нее пыль.

Послышались слова и фразы других офицеров и матросов, странные и нелепые, как будто произносимые во сне.

Бешеные атаки минных дивизий прекратились только после полночи. В продолжение почти шести часов люди должны были выдерживать предельное для человеческой психики напряжение. Наконец измученные моряки могли вздохнуть спокойнее — японцы, повидимому, потеряли нас окончательно.

Около боевой рубки неожиданно появился кочегар Бакланов. Я пробрался с ним на кормовой мостик, где мы решили провести остаток ночи. Здесь находилось несколько человек из команды, и каждый имел в запасе либо койку,

либо спасательный круг. Мы тоже разыскали две койки, а потом, усевшись рядом, привалились к грот-мачте.

Над горизонтом всплывал узкий обренок луны. Кругом стало светлее. Словно возлюбленную, я держал свернутую коконом койку в объятьях и прижимал ее к себе. Набитая пробкой, она в случае катастрофы может заменить мне спасательный круг. Сквозь дрему слышался говор Бакланова:

— Сколько церквей, сколько монастырей вымаливают у бога для нас победу. Сотни тысяч попов и монахов поднимают свои очи к небу. А что толку? Вероятно у бога уши шерстью заросли, — не слышит он. Эх, остаться бы живым! Уж я кое-кому докажу, сколько стоит игла с ниткой...

Ночь медленно, словно отягощенная преступлениями, приближалась к концу. От нее осталась в памяти еще одна картина, которая не забудется до конца моих дней. Это случилось, когда я находился на переднем мостике. Немного впереди правого траверза, в одном кабельтве от нас, наметился в темноте небольшой силуэт какого-то судна. С одного из кораблей, шедших за нами, его озарили лучом прожектора. Это оказался японский миноносец. Будучи подбитым, он выпускал пар и стоял на одном месте, беспомощный и обреченный. На его открытом мостике виднелся командир. Желая очевидно показать перед русскими свое презрение к смерти, он стоял на одном колене, а на другое оперся локтем и, покуривая, смотрел на проходившие наши суда. Сзади грянул выстрел из крупного орудия какого-то корабля. Фугасный снаряд ослепительно вспыхнул в самом центре миноносца. Открыли по нем огонь и с нашего «Орла», но это было уже лишним. Там, где находился миноносец, клубилось лишь облако пара и дыма. Огненный зрачок прожектора закрылся. Все погрузилось в непроницаемую тьму. Но еще долго я не мог избавиться от потрясающего впечатления мгновенной гибели судна. И хотя мысль подсказывала, что уничтожен противник, но сердце сжималось от стихийного ужаса перед лицом смерти, столь властно погло-

тивней в одну секунду несколько десятков жизней.

II

Я экстерном держу экзамен за среднее учебное заведение. По всем вопросам мои ответы вполне удовлетворительны. Осуществляется моя заветная мечта, и уже мерещится физико-математический факультет в Московском университете. Я буду студентом, а потом — ученым. Какое это счастье для человека, вышедшего из низов глухой и дикой деревни. Но моя радость оказалась преждевременной: я проваливаюсь по математике, проваливаюсь с таким стыдом, какого не испытывал ни один ученик. Учитель, седенный и сморщенный старичок, с поперечными погонами на плечах, долго смотрит на меня уничтожающим взглядом, а потом, издеваясь, говорит:

— Напрасно, молодой человек, вы только время отнимаете у других. Вы — полный невежда. Я даже сомневаюсь, что вы знаете таблицу умножения. Ну, скажите, сколько будет — семь помножить на восемь?

Математику я всегда любил и довольно основательно прошел ее в объеме среднего курса. А тут я не могу ответить на такой простой вопрос. Что со мной случилось? Взрывом хохота наполняется весь класс. Стоя у большой, черной доски, я смущенно оглядываюсь. Передо мною только изувеченные люди — со сломанными руками, с раздробленными лицами, есть даже без головы. Но как они могут смеяться? Вместо человека какой-то кровавый обрубок катится к моим ногам. Но передо мною появляется мать и, заслоня меня от страшного зрелища, ласково говорит:

— Ничего, сынок, не сокрушайся. Поступишь монахом в монастырь...

Словно снег под дождем, быстро тает ее заплаканное лицо. Остаются лишь одни глаза, но и те, увеличиваясь, сливаются в сплошную голубизну. Нет, это уже не глаза, а небо, чистое и ясное, и в нем, извиваясь, летают черные змеи, готовые опуститься на меня.

Я дернулся и окончательно проснулся, когда увидел над собою исковерканную осколками грот-мачту с колыхающимися вокруг нее обрывками снастей. Парусиновая койка выпала из моих рук. Рядом сидел кочегар Бакланов. Широкая улыбка, как горизонтальная щель, расколола его закопченное лицо с крупным подбородком.

Он говорил:

— Ну, и чудила ты! Бормочешь что-то, а разобрать ничего нельзя. Я думал: неужели парень умишком рехнулся?

Над мерно вздымающейся зыбью вод широко распростерлось небо. Ветер почти совсем стих. Грудь жадно вдыхала свежий морской воздух, разливавшийся по телу, как целебный напиток. Входило солнце, и я, уцелевший от вчерашней бойни, смотрел в синеющую даль с таким восторгом, как будто снова родился к жизни.

— Идем завтракать, — предложил Бакланов.

Мы начали спускаться с кормового мостика на палубу. Я знал, что корабль наш сильно пострадал, но я не представлял себе, что он имеет такой страшный вид. Всюду виднелись ужасающие следы артиллерийского огня. Броненосец напоминал собою грандиозное плывучее здание, обезображенное взрывами снарядов, обгорелое, превращенное в слав чугуна и стали, заваленное кучами бесформенных обломков. Но главные его механизмы продолжали действовать. Он дымил двумя дырявыми трубами и шел исправно, держа в кильватер «Николая I», на траверзе которого находился крейсер «Изумруд». За нами следовали «Апраксин» и «Сенявин». Куда же однако девались остальные наши броненосцы: «Наварин», «Сисой Великий», «Ушаков» и броненосный крейсер «Адмирал Нахимов»? Что с ними произошло? Погибли ли они от минных атак, или просто отстали от нас?

Матросы, прокопченные и усталые, уныло осматривали горизонт, как бы ища ответы на мучительные вопросы. Кругом, насколько хватает глаз, не было видно ни одного дымка, ни одного

признака чьих-либо судов. Под весенним небом Востока, в разливе солнечных лучей, сыто поблескивало море, равнодушное к горестям подневольных людей.

За завтраком ели консервы с сухарями. Немного заправившись, я решил обежать некоторые отделения, чтобы узнать, в каком состоянии находится наше судно. Дойдет ли оно до Владивостока, и какими средствами будем защищаться в случае нападения на нас противника?

За минувшую ночь, бессонную и забываемую, сколько людской силы было потрачено на то, чтобы навести на судне хоть какой-нибудь порядок.

Очистили проходы от ненужного хлама, без чего нельзя было проникнуть из одного отделения в другое. Вместо разбитых железных трапов поставили стремянки или подвесили шторм-трапы. Кое-где успели починить перебитые водопроводные трубы. В бортах корпуса заделали пробоины, с палуб убрали воду. Корабль, освободившись от лишней тяжести, уменьшил свою осадку на два фута. Остойчивость его значительно увеличилась. Вчерашняя погода для него была бы уже не опасна. Но мы не могли не сознавать, что если поднимется буря, то нам не видать Владивостока. Все эти временные сооружения по заделке пробоин моментально будут уничтожены ударами волн. Раны «Орла» снова раскроются, снова он начнет захлебываться водою, и тогда уж никакие человеческие усилия не спасут его от гибели.

Еще безотраднее стало, когда я поговорил с артиллеристами. Правда, некоторые орудия удалось к утру исправить. Из 58 пушек только половина окончательно вышла из строя, а остальные могли стрелять. На первый взгляд это служило каким-то утешением. Но в действительности утешаться было нечем. Прежде всего у наших уцелевших орудий сместились прицелы, и на корабле не осталось ни дальномеров, ни приборов управления огнем. А выбрасывать снаряды при таких условиях так же будет бесполезно, как бесполезно во время драки производить грохот хло-

пушками. Одни башни поворачивались вручную, другие лишились электрической подачи снарядов. У некоторых пушек уменьшился угол возвышения, и они стали ненужными для стрельбы с дальних дистанций. Многие элеваторы в батарейной палубе были разрушены. От боевых припасов осталась в погребах лишь одна пятая часть. Мало того, эти остатки боевых припасов были распределены по судну неравномерно: там, где уцелели пушки, не было снарядов, а где имелись снаряды, не действовали пушки. Кормовая 12-дюймовая башня располагала всего только четырьмя снарядами. Один комендор этой башни сказал:

— В случае чего бухнем четыре раза, а потом садись и закуривай.

Короче говоря, броненосец сохранил не больше десяти процентов прежней своей боевой мощи. Он способен будет защищаться только от крейсера 2-го ранга.

На верхней палубе со мною встретился боцман Воеводин, направлявшийся в боевую рубку. Усталый и осунувшийся, с воспаленными глазами, он удивленно посмотрел на меня и заговорил:

— Как будто прорвались. Во всяком случае пока идем благополучно. Знаешь, чего еще нам нехватает? Я, как и всякий моряк, ненавижу туман, но теперь он был бы нам кстати — густой такой, непроглядный. В нем наши корабли затерялись бы, как иголка в молоке.

— Да, это было бы для нас спасением.

Но тумана не было. Широко раздвинулся горизонт, прозрачный, с большой видимостью.

— А, может быть, и так дойдем до Владивостока? — спросил я.

— Возможно, — ответил боцман, удаляясь от меня.

Мирно вздыхало море, как бы награждая нас иллюзией счастья.

А несколько минут спустя, позади левого траверза, далеко на горизонте, показался дымок. Он вырастал так медленно, словно там разжигали костер. За первым дымком заметили второй,

третий. Весть об этом облетела все отделения броненосца. Люди сразу забеспокоились. А когда обрисовались очертания пяти военных кораблей, то перед каждым человеком из экипажа встал лишь один мучительный вопрос: свои это приближаются к нам или чужие?

— Братцы, да ведь это наши суда, ей-богу наши! — радостно воскликнул молодой матрос.

— Конечно наши, — согласились с ним и другие. — Вон «Нахимов», «Аврора» идут, за ними тащится «Александр III».

— «Александр», говорят, вчера утонул.

— Ну, значит, «Суворов» будет.

— А трубы у него откуда взялись? Разве, как грибы после дождя, выросли за ночь?

— Нет, товарищи, вы все обознались, — крикнул гальванер Козырев, только-что спустившийся на палубу из боевой рубки. — Сейчас я сам смотрел в подзорную трубу. Это неприятель к нам приближается.

Глаза матросов впилась в Козырева с такой ненавистью, как будто он стал лиходеем для команды, и раздались угрожающие выкрики:

— Брось трепаться!

— Башку оторвем.

Я побежал в машинную мастерскую, чтобы сообщить новость инженеру Васильеву. Его там не было. Я направился в операционный пункт. Доктора меняли повязки раненым офицерам и матросам, а те стонали от боли или бредили. Занятливо гудел вентилятор, очищая в помещении воздух, пропитанный лекарствами и запахом крови. В углу, на табуретке, опираясь на костыль, понуро сидел Васильев и дремал. Я взял его за локоть.

— На горизонте появились японские корабли.

Мне казалось, что я сказал тихо, но те раненые, которые лежали ближе к Васильеву, вдруг зашевелились, поднимая в тревоге головы.

— Что такое? Какие корабли?

— Несколько дымков показалось вдали, а чьи суда, пока неизвестно, — ответил за меня Васильев таким спокой-

ным голосом, словно сообщил о каком-то пустяке.

И попросил меня проводить его в машинную мастерскую. Мы оставили раненых в неведении, и, пока шли, он говорил:

— Значит, опять мы попали под надзор противника. Скверное наше положение, очень скверное. А главное — ничего не придумаешь, чтобы избавиться от настигающего нас бедствия. Остается только одно — махнуть на все рукой. В прошлую ночь я не мог сомкнуть глаз. Мозг точно чадом пропитан. Устал. Сейчас лягу и усну так, что не проснусь даже и в том случае, если корабль будет тонуть.

— Я постараюсь в случае катастрофы вытащить вас наверх. У меня спрятаны два спасательных пояса. Мы с вами заранее выпрыгнем за борт.

— Спасибо за добрый порыв, но для меня он будет бесполезным.

Я убежал на верхнюю палубу.

На мостике около боевой рубки стояли старший офицер Сидоров, лейтенанты Модзалевский и Павлинов и мичман Саккелари, разглядывая в бинокли японские корабли. Они шли параллельным с нами курсом. По внешним признакам наши офицеры и сигнальщики старались определить типы судов. Это все были легкие, быстроходные крейсера: «Сума», «Чиоде», «Акидусима», «Идзуми». Особенно от них держались еще два какие-то крейсера. Расстояние до неприятеля было более 60 кабельтовых.

На «Николае I» был поднят сигнал: «Боевая тревога», а потом адмирал Небогатов приказал своему отряду повернуть «всем вдруг» на 8 румбов влево. Наши суда пошли строем фронта на сближение с противником, чтобы сразиться с ним, пока не подоспела к нему помощь. Но он понял наш маневр и немедленно отступил, пользуясь огромнейшим преимуществом в ходе. Наш отряд снова лег на прежний курс норд-ост 23°.

Японцы были недостаточно сильны, чтобы задержать нас. В сознании слабо воскресла надежда на спасение. Но сейчас же наступило еще более гнету-

щее разочарование: показались дымки впереди левого траверза. По распоряжению адмирала Небогатова к ним помчался на разведку крейсер «Изумруд». Минут через тридцать, которые показались нам невероятно длинными, вернувшись, он донес, что приближается новый отряд неприятельских крейсеров. Повидимому, японцы, сообщаясь беспроволочным телеграфом, стягивали вокруг нас все свои силы. И действительно, вскоре обозначилось еще шесть судов по направлению на левую раковину. Участь наша была предreshена.

С мостика было отдано распоряжение:

— Команде пить вино и обедать!

Матросы с мрачным видом выпивали свою чарку, а потом, как автоматы, ели сухари с консервами.

Тем временем начали вырисовываться неприятельские суда впереди правого траверза.

После обеда было приказано похоронить убитых. Изуродованные трупы давно уже собрали на ют, разложили в два ряда и накрыли флагами. Боцман Воеводин пошел за священником.

— Ну, боцман, как я буду служить там, коли сейчас стрелять начнут, — плаксиво прогнусавил священник Паисий, когда узнал, зачем его приглашают наверх.

— Ничего, батюшка, не бойтесь.

— Нет уж, ради бога, оставь меня. Я лучше внизу отпою покойников. Значоно я, ну как это, в два раза больше помолюсь за них. А если останусь жив, то и в монастыре буду поминать их.

— Да вы, батюшка, напрасно беспокоитесь. Ведь это к нам наши корабли приближаются.

— Да ну? Вот оно что! В таком случае пойдем. Надо отпеть покойников. Без этого нельзя их хоронить. Ведь они, ну как это, за веру православную умерли.

На юте священник Паисий, отпевая на скорую руку покойников, подозрительно посматривал на японские корабли, грозно окружающие нас с трех сторон. Он, не знавший своей эскадры, никак не мог понять, что происходит. Вздохмаченные рыжие волосы на голове и борода от солнечных лучей как

будто превратились в пламя, охватившее его дряблкое лицо. Путаясь, он бормотал погребальные молитвы. Человек тридцать матросов, слушая священника, угрюмо поглядывали то на приближающегося противника, то на своих убитых товарищей. Среди трупов лежали оторванные руки и ноги, неизвестно кому принадлежавшие. Кто-то из комендоров принес оторванную кисть чьей-то руки и бросил ее в общую кучу покойников. У изголовья их стояло ведро с песком, чтобы перед тем, как выбросить трупы в море, предать их земле. Из кадила струился синий дымок, распространяя запах ладана. Казалось, что вместе с убитыми отпевают и нас, живых, ожидающих огненных взрывов.

Я ушел на шканцы и присоединился к кучке матросов.

Неприятель продолжал окружать нас своим флотом, состоящим из 27 боевых судов, не считая миноносцев. В числе их были и те 12 броненосцев и броненосных крейсеров, которые представляли собою главные силы и с которыми мы сражались накануне. Как эти корабли, так и все остальные поражали нас своим парадным видом. Мы не замечали на них ни снесенных мачт, ни поваленных труб, ни разбитых мостиков. Японцы, разгромив нашу 2-ю эскадру, сами, повидимому, несколько не пострадали, словно стреляли по щитам на маневрах. И теперь, как на смотр, вышли они в полном составе, сжимая нас железным кольцом смерти. Это было неслыханное торжество одних и полное бессилие других. Мы еще в пути знали, что будем разбиты, но едва ли кто предполагал, что разгром эскадры примет такие грандиозные размеры. На нас, случайно уцелевших от вчерашней катастрофы, нашло какое-то оцепенение. Угнетенная мысль отказывалась что-либо понять в этом событии. Матросы, доискиваясь до причин поражения, спорили между собою.

Один артиллерийский квартирмейстер, размахивая руками, возбужденно кричал:

— Разве мы вчера не стреляли в японцев? Мы разбросали в них почти все боевые припасы. Наши погреба опу-

стели. Как же так получилось, что японские корабли остались невредимы?

На артиллеристов все смотрели со злобой, словно они были виноваты в нашем бедствии, и возражали:

— Вы, лопухие черти, стреляли и по щитам при Мадагаскаре. Бухали четыре дня. А что толку? Вытащили из воды свой щит, а на нем ни одной царапины.

Старший боцман, кондуктор Саем, объяснял это по-другому:

— Как видно по всему, братцы, мы вчера сражались с английской эскадрой. А японцы тем временем скрывались за островом Цусима. И только сегодня явились перед нами, чтобы доконать нас.

— Скорее всего так оно и было, — поддакнул артиллерийский квартирмейстер. — Я сам видел, как тонул четырехтрубный корабль. А у японцев, как сказывают офицеры, таких не было. Значит, с англичанами сражались.

Кочегар Бакланов похлопал по плечу артиллерийского квартирмейстера и спросил:

— Послушай, друг, ты хорошо помнишь, чем заряжали орудия? Может быть, вместо снарядов вы вкладывали в них резиновые шары?

— Убирайся ты ко всем чертям! — рассердился артиллерист.

Гальванер Штарев, вздохнув, промолвил:

— Да, выходит так, как будто мы только салютовали японцам.

Кто-то из матросов прохрипел озлобленно:

— Петербургские воротилы нас нарочно послали на убой.

Я смотрел на японский флот и думал: что мы могли противопоставить ему? Жалкие остатки разбитой эскадры: «Николай I», пожилой, с устарелой артиллерией, стреляющей дымным порохом, не способный даже докинуть своих снарядов до противника; «Орел», новейший, но весь избитый, превращенный в руины, да еще с большой убылью самых необходимых в бою людей; два броненосца береговой обороны «Апраксин» и «Сенявин», каждый по 4.500 тонн водоизмещения, такие два броненосца,

для которых достаточно одного хорошего крейсера, чтобы уничтожить их; наконец крейсер 2-го ранга «Изумруд», опасный только для миноносца, но не для крупного судна. Пять кораблей против всего японского флота — это было чудовищное неравенство сил.

Что произойдет у нас, когда вступим в бой? Как только начнут обрушиваться на наш броненосец удары тяжелых снарядов, то от одного только сотрясения корпуса вылетят все втулки и клинья из пробоин, разрушатся прикрывающие их щиты, а от раскаленных осколков загорятся парусиновые пластыри. Нам не выдержать и десяти минут сражения. «Орел» может перевернуться внезапно. Но, пусть даже заранее скомандуют: «Спасаться!», чтобы подняться снизу наверх по стремянкам и штурм-трапам, потребуется много времени, а его не будет при гибели корабля. Почти весь экипаж останется в западне железной громадины. И рев моря, врывающегося внутрь дырявого корпуса, сольется с воплями людей, замурованных в многочисленных отделениях. А те немногие, что успеют выскочить наверх, замечутся, как буйно помешанные, в поисках спасательных средств, замечутся под градом рвущихся снарядов. У нас не осталось в целости ни одной шляпки, ни одного парового катера. Большинство коек, спасательных кругов и пробочных поясов обгорело и было выброшено за борт. Умеющих плавать было в команде не больше одной трети, остальные же и минуты не смогут продержаться на воде, несмотря на то, что некоторые прослужили во флоте по семи лет. Начальство, занятое парадом и внешним блеском, не позаботилось заранее научить своих подчиненных такому простому делу, как плавание.

Раздалась боевая тревога. Матросы вздрогнули, но на некоторое время остались на месте, словно не поверили своим ушам. Потом медленно и нехотя начали расходиться по боевому расписанию, бледные, с мутой в распухших глазах.

Священник уронил кадило и моментально скрылся вниз. Для окончания

обрядности не было больше времени. Полуотпетых покойников начали быстро выбрасывать за борт, как выбрасывали до этого ненужный хлам с корабля.

Я продолжал стоять, словно окаменелый. Неужели наступил конец? Весь наш длинный и тяжелый путь был похоронной процессией. Вчера на наших глазах броненосцы, как черные гробы, опускались в колыхающуюся могилу. Сегодня наступила наша очередь. Через несколько минут исчезнет для меня навсегда и ласковая голубизна весеннего неба, и сияние припекающего солнца, и трепетный блеск водной степи, и все то, что до сих пор сберегалось в моей памяти.

Вдруг в безмолвие вздыхающего моря ворвался гул неприятельского орудия. Это началась пристрелка. Я направился к ближайшему люку, ощущая в себе непомерную тяжесть. А когда начал спускаться по стремянке вниз, то услышал крики, заставившие меня вернуться обратно.

На корабле что-то произошло.

III

Во время сражения 14 мая японцы старались в первую очередь уничтожить наши лучшие броненосцы и мало обращали внимания на «Николая I». По нем стреляли как бы между прочим. И все же он с самого начала боя получил от двух снарядов большую пробину под левой носовой 6-дюймовой пушкой. Эта пробоина, оказавшаяся одним краем ниже ватерлинии, причиняла много хлопот: сколько ни заделывали ее койками и чемоданами, вода продолжала прибывать и залила подшкиперское отделение. Позднее попало еще несколько снарядов. Вышло из строя одно 12-дюймовое орудие. Были пробиты осколками минные и паровые катера и приведены в негодность шлюпки, исключая шестерок и одной двойки. Немного пострадал и личный состав: нашли убитыми лейтенанта Мирбаха и несколько нижних чинов, выбыли из строя командир судна, капитан 1-го ранга Смирнов, и человек двадцать матросов.

«Николай» стрелял довольно исправно, когда расстояние до неприятельских кораблей не превышало дальности его орудий. Для своей устарелой артиллерии он пользовался дымным порохом, и это тормозило дело. После нескольких выстрелов броненосец, словно от пожара, окутывался черным облаком. Противник становился невидим. Орудия замолкали, пока не рассеивался дым. Однако и при таких условиях «Николай» успел расстрелять 1.456 снарядов только крупного и среднего калибра. Его погреба с боевыми припасами так же опустели, как и на других наших кораблях.

Контр-адмирал Небогатов не только командовал своим отрядом, но и взял на себя, когда выбыл из строя раненый командир Смирнов, управление судном. В белом кителе, плотно облегавшем его располневшее тело, в необыкновенно широких черных брюках, он походил скорее на добродушного купца, чем на военного человека. Но вместе с тем все офицеры чувствовали над собою его власть, и никто из них не посмел бы не выполнить того или другого его приказа. В бою он подавал пример другим своей храбростью и часто выходил из боевой рубки на мостик, чтобы лучше разглядеть, что происходит кругом. Неплохой моряк, академик, он не мог не понимать, что кампания наша проиграна, однако ничем не выдавая своего волнения. Его лицо, одутловатое, словно распухшее, в седой заостренной бороде, в запудренных пятнах экземы, было буднично-спокойно. Только изредка вздрагивал в руках блестящий морской бинокль, приставляемый к большим, немного на выкате, глазам.

Адмирал жаловался своим штабным: — Я не получаю ни одного распоряжения со стороны командующего эскадрой. И не знаю, жив ли он? По старшинству его должен бы заменить адмирал Фелькерзам. Но, может быть, и этот погиб вместе с броненосцем «Ослябя»? Такое неведение связывает меня по рукам и ногам. Кто же все-таки командует эскадрой?

— Не исключена возможность, ваше превосходительство, что эскадрой коман-

дует какой-нибудь мичман, — сказал флаг-капитан, капитан 2-го ранга Кросс, подергивая по своей постоянной привычке небрежно свисающие усы.

Небогатов продолжал:

— Мы как будто попали в заколдованный круг. Толчемся в нем и никак не можем выйти из узости пролива. Дело идет уже к вечеру. Если нас застанет здесь ночь, то очень будет плохо от минных атак.

И, приняв решение, распорядился:

— Поднять сигнал: «Курс норд-ост 23°».

Приказ немедленно был выполнен сигнальщиками. За ними наблюдал младший флаг-офицер, лейтенант Северин, худое и безусое лицо которого выразило усердие забитого морского чиновника. Как человек точный, он подождал на мостике несколько минут, а потом, войдя в боевую рубку, доложил:

— Ваше превосходительство, сигнал отретовали только суда нашего отряда. Но, повидимому, поняли сигнал и передние мателоты—«Бородино» и «Орел». Они тоже начинают склоняться на север.

В это время, заметив что-то, быстро выскочил из боевой рубки старший флаг-офицер, лейтенант Сергеев, но скоро вернулся обратно. Рыжий, румяный, оплывающий жирком, он бросил на адмирала бегающий взгляд и отчетливо нежным голосом:

— Только-что прошел по борту один из наших миноносцев. К сожалению, надписи на нем я не успел прочитать. С него передали голосом, что адмирал Рождественский приказал вам идти во Владивосток.

Небогатов, выслушав, живнул седой головой.

— Вот и отлично. Значит, я правильно распорядился относительно сигнала. Теперь по крайней мере выяснилось, что я могу распоряжаться.

Не терял он самообладания и ночью, когда начались минные атаки. Был случай, когда вышущенная неприятелем мина шла на «Николая». У всех, находящихся в рубке, замерло сердце. Небогатов сам скомандовал, громко выкрикнув:

— Право на борт!

Броненосец круто повернул влево, оставляя мину за кормой.

Адмирал, оглядываясь на хвостовые корабли, возмущался:

— Почему они так неистово светят прожекторами? Ведь этим самым они выдают свое местонахождение и привлекают только неприятельские миноносцы. В такую темную ночь ничего не стоит скрыться от противника. Вы посмотрите, в двух кабельтовых едва можно разглядеть судно.

Но каким способом запретить судам второго отряда пользоваться боевыми фонарями? Беспроволочный телеграф на «Николае» испортился, а отдавать какие-либо распоряжения световым semaфором было невозможно без того, чтобы не обнаружить себя. Хотелось скорее скрыться от миноносцев. Небогатов даже запретил стрелять по ним, чтобы вспышками артиллерийского огня не привлекать их внимания. Он всецело положился на бдительность «Изумруда», с успехом отгонявшего противника.

Досадно было, что при броненосцах находился только один крейсер. И возникали опасения за участь «Сисоя Великого», «Наварина» и «Нахимова». Ночью без огней они не привыкли держаться друг за другом, а потому могли отстать. Кроме того, оставалось неизвестным, насколько благополучно удалось им отбиться от минных атак. Может быть, какой-нибудь карабль уже давно пошел ко дну.

Прекратились минные атаки. Стало тихо. Небогатов не ложился спать и вступал по временам в разговор со своим штабом.

— Отряд наших крейсеров ушел на юг. Но я думаю, что адмирал Энквист в конце концов опять повернет за нами. Иначе это было бы преступлением с его стороны. Мне почему-то думается, что мы с ним встретимся на рассвете. Должны обнаружиться и наши миноносцы. Из девяти миноносцев в денном бою, кажется, ни один не пострадал.

— И я держусь такого же мнения, ваше превосходительство, — говоря немного в нос, подтвердил флаг-капитан.

— Вот с транспортами, ваше превосходительство, горе, — всегда дипломатичный, осторожно вставил старший флаг-офицер Сергеев. — Имея тихий ход, они едва ли успеют за нами. Им будет плохо.

Небогатов на это сказал:

— Я не знаю, какие инструкции дал Рождественский командирам транспортов на случай поражения эскадры. Несомненно, что они отстали. Но им лучше всего пробираться к Владивостоку ерассыпную, держась корейского берега.

Помолчал немного и снова заговорил, как бы про себя:

— Это еще не велика беда, что наша колонна частично раз'единится. Курс был дан всем кораблям, а к Владивостоку путь один. Поэтому они не могут разойтись далеко. Утром с помощью «Изумруда» их удастся собрать.

Офицеры соглашались с ним. Всем хотелось, чтобы вышло именно так: наши разрозненные силы снова соединятся, а противник на время поглупеет и не обнаружит их. Но этим только успокаивали самих себя. Прежде всего нужно было иметь в виду, что японцы не оставят без преследования остатков нашей разбитой эскадры. В распоряжении адмирала Того имелись десятки миноносцев, легких и вспомогательных крейсеров. Они, словно стая гончих, бросятся во все стороны хорошо изученного моря на розыски русских. При таких условиях нельзя было рассчитывать на возможность проскочить мимо японцев незамеченными. Адмирал Небогатов сам облегчал им задачу, направляясь во Владивосток кратчайшим путем.

С нетерпением ждали рассвета, а когда он наступил, то увидели, что от эскадры осталось только пять кораблей. Жадно оглядывали горизонт, надеясь увидеть своих отставших товарищей, но встретились снова с противником. И по мере того, как увеличивалось число его кораблей, настроение адмирала падало. Если вчера всей эскадрой не могли нанести вреда противнику, то можно ли сегодня оражаться с ним? Да он и не подойдет на расстояние наших выстре-

лов. Значит, он будет громить русские военные корабли, словно пассажирские пароходы, совершенно безнаказанно.

Адмирал, нервничая, то выходил на мостик, то возвращался в боевую рубку. Он пристально всматривался в очертания появившихся на горизонте кораблей. Никаких сомнений не было, что его окружают японцы. Но он как будто не доверял своим бесцветным глазам и много раз обращался к помощникам:

— Посмотрите хорошенько, не приближаются ли свои с какой-нибудь стороны?

Один и тот же ответ ошарашивал его:

— Никак нет, ваше превосходительство, все неприятельские корабли.

Небогатов наконец замолчал и, нахлобучив на глаза фуражку с большим флотским козырьком, поник седою головой. Он знал, что все взоры обращены к нему, ожидая от него спасения. Но что он должен сказать своим подчиненным, какое отдать распоряжение, чтобы избавиться их от бессмысленного истребления? Ничего. Если бы он держался ближе к берегу, то можно было бы разбить или взорвать свои корабли и вплавь добираться до суши. Но поблизости не было даже полоски земли. И, может быть, он как начальник впервые по-настоящему почувствовал на себе всю страшную ответственность за свои действия. Какое огромное преимущество в жизни давали ему адмиральский чин, блестящий мундир, ордена! А теперь, когда он мысленно уже заглядывал в черную бездну небытия, все стало мучительно постылым. Он сгорбил спину и натужил лицо, как будто красовавшиеся на его золотых плечах черные орлы превратились в двухпудовые гири.

— Да, промазали мы, — ни к кому не обращаясь, промолвил адмирал.

В девять часов к нему приблизился флаг-капитан Кросс и тихо сказал:

— Командир просил передать вам, что нам ничего не остается, как только сдаться.

Это слышали сигнальщики и рулевой и насторожились.

Адмирал вздрогнул всем своим грузным туловищем.

— Ну, это еще посмотрим.

Если бы мнение о сдаче исходило не от командира, а от Кросса, то адмирал, может быть, и не придавал бы этому большого значения. Флаг-капитан отлично знал иностранные языки, складно писал доклады на любую тему, красиво играл на скрипке, с успехом покорял женщин. Способный, он принадлежал к тем баловням судьбы, которым жизнь дается очень легко. Отсюда выработалось у него и несерьезное отношение ко всему и большое самомнение о себе. Все это было известно адмиралу. Но в данном случае Кросс был не при чем, — он являлся только передатчиком чужой идеи. Совсем по-иному относился адмирал к командиру судна, капитану 1-го ранга Смирнову. Это был богатый и образованный моряк, спокойный и рассудительный. Он имел большие связи не только во флоте, но и в дворцовых сферах. С ним нельзя было не считаться. И если этот карьерист решился внести такое предложение, значит, действительно другого выхода нет и остается только сдаться.

Небогатов, тяжело дыша, в упор посмотрел в худое лицо флаг-капитана, удлинненное темной бородкой.

— А вы как думаете?

Кросс, не смущаясь, ответил:

— Я полагаю, что командир прав.

В такой ответственный момент только немедленный арест командира и флаг-капитана мог бы удерживать адмирала от заманчивого соблазна. Но решительность не была проявлена, и отрава, брошенная в сознание, возымела свое действие. Воля начальника отряда ослабла и заколебалась. Закружились беспомощные мысли, как травинки в речном водовороте. Мерешилось мрачное будущее: позор сдавшегося адмирала, железная решетка тюрьмы, военный суд, может быть, смертная казнь. В то же время всем своим существом он протестовал против того, чтобы так глупо погружаться на морское дно или быть разорванным в кровавые клочья. А это произойдет, как только японцы откроют огонь, через десять минут. Во имя чего погибать? Он обязан выполнить свой долг перед государством. На этих бронированных ко-

рытах, именуемых боевыми кораблями? Сердце адмирала закипало обидой против тех главных воротил российского строя, которые послали людей не на войну, а на убой. Если сам он как начальник до некоторой степени виновен в создании этого нелепого флота и должен явиться искупительной жертвой, то при чем же здесь матросы? Они виноваты только в том, что носят военную форму. Нет, он не допустит, чтобы две с половиной тысячи людей ни за что, ни про что утопить в море. Общественное мнение будет на его стороне. И новая человеколюбивая идея, красивая, как синь василькового сорняка среди ржи, заполнила седую голову адмирала. На его лице выступили багровые пятна. Он энергично повернулся к флаг-капитану Кроссу и прохрипел:

— Немедленно вызвать командира в боевую рубку!

— Есть.

Пока рассыльный бежал за командиром, в боевой рубке решалась судьба отряда. Сначала обменялись мнениями штабные чины, а потом и судовые офицеры, находившиеся здесь же и на мостике. Возражений против сдачи не было.

Флаг-капитан Кросс сейчас же разыскал книгу международного свода и, заглянув в нужную страницу, бросился к ящику с флагами. Он сам набрал трехфлажный сигнал: «ШЖД», означавший: «сдача», «сдаюсь». Сигнал был немедленно приостопорен к фалу, и оставалось только поднять его на мачту.

В боевую рубку вошел командир судна, капитан 1-го ранга Смирнов, высокий, статный, с карими глазами, внимательно смотревшими из-под густых, словно нарисованных, бровей. Несмотря на полученную вчера рану, он держал забинтованную голову барственно прямо. Под пушистыми усами резко очерчивался большой, с толстыми и сочными губами рот, созданный как будто только для того, чтобы повелевать и наслаждаться жизнью. Но обычно румяное лицо за ночь побледнело, а струившаяся с него широким потоком светлорусая борода спуталась и, частич-

но попав под бинт, потеряла свой прежний внушительный вид.

Адмирал, увидав командира, обратился к нему:

— Владимир Васильевич, что нам делать?

Смирнов, не задумываясь, убежденно ответил:

— Вчера мы свой долг выполнили. Больше не имеем сил сражаться. Мое мнение — нужно сдать.

И, жалуясь на головную боль, он ушел.

Дальнейшее действие на броненосце «Николай I» развивалось с поразительной быстротой. Зазвенели телефоны, бросились по разным отделениям раскатынные и даже вопреки судовым правилам засвистели дудки капралов, вызывая господ офицеров на передний мостик. Это по распоряжению адмирала созывался военный совет. Сам он, окруженный своим штабом, вышел из боевой рубки на мостик. В это время взвился к ноку фор-марса рея сигнал о сдаче. Торопливо, с растерянными лицами бежали к адмиралу офицеры. Не дожидаясь появления остальных, он поставил перед ними вопрос:

— Я хочу, господа офицеры, сдать броненосец. В этом я вижу единственное средство спасти вас и команду. Как вы думаете?

Что сражаться не было никакого смысла, на этом сходились почти все. Но против сдачи некоторые возражали. Довольно энергично заявил прапорщик по морской части Шамие, юрист по образованию, считавший себя всезнающим философом:

— Если нельзя драться, то нужно кинуться открыть и топиться.

— Взорвать броненосец и спастись, — скромно отозвался мичман Волковицкий, почтительный не только к начальству, но и к старшим товарищам по службе.

Приблизительно то же самое сказал и капитан 2-го ранга Ведерников.

Но те, кто стоял за сдачу, начали приводить убийственные доводы:

— Все орудия неприятельского флота наведены на «Николая», как на флагманский корабль. Японцы взорвут и

потопят его раньше, чем мы соберемся это сделать. Потопят вместе с людьми.

— Вы говорите, надо спастись? На чем? Шлюпки и катера разбиты. Койки приспособлены на защиту небронированных частей судна и крепко снайтовлены. Из сорока спасательных кругов тридцать никуда не годятся. Нас даже не могли снабдить хорошими спасательными средствами.

— А разве японцы не будут подбирать нас? — спросил старший офицер Ведерников.

— Возможно, что и будут, но только тогда, когда уничтожат весь наш отряд.

С марса фок-мачты, где стоял дальномер Барра и Струда, раздавался звонкий голос мичмана Дыбовского:

— До неприятеля 60 кабельтовых!

На мостике появился флагманский артиллерист, капитан 2-го ранга Курош, темнокожий, как мулат, с черной, кудрявой бородкой на сухом, жестком лице. Со вчерашнего дня этот воин запил и до утра не расставался с бутылками. Накрахмаленный воротничок на нем измялся. Шатаясь, он протолкался ближе к адмиралу и, размахивая руками, заорал:

— Сражаться до последней капли крови! Сейчас я прикажу своим молодцам открыть огонь! Я из японцев яичницу сделаю!..

Адмирал приказал:

— Уберите с моих глаз эту пьяную личность!

Офицеры оттолкнули Куроша назад. Он ругал их матерными словами. Матросы подхватили его под руки и увели вниз.

Еще раз пришел командир и снова подтвердил свое прежнее мнение.

На мостике стоял галдеж. Кто-то из офицеров плакал. Другие приводили разные аргументы для оправдания самих себя:

— За эту войну наши войска только то и делали, что сдавались. Вспомните Ляоян, Порт-Артур, Мукден. Ко многим сдачам прибавится еще одна.

Адмирал повернулся к старшему артиллеристу, лейтенанту Пеликану, выделявшемуся среди офицеров своей крупной и сытой фигурой:

— На таком расстоянии мы можем стрелять?

— Бесполезно, ваше, превосходительство. Наши снаряды не достанут до неприятеля.

Адмирал вдруг потерял равновесие, чего с ним никогда не бывало. Из бесцветных глаз брызнули слезы. Он сорвал с головы фуражку и, словно в ней заключалось все зло, бросил ее себе под ноги и начал топтать.

Со стороны неприятеля раздался пристрелочный выстрел, направленный в левый борт «Николая». Офицеры начали разбегаться по своим местам, согласно боевому расписанию. Небогатый вошел в боевую рубку. Флаг-офицеры докладывали ему, что все наши суда отстреловали сигнал о сдаче, а он, не слушая своих помощников, кричал:

— Японцы очевидно не разобрали нашего сигнала. Поднять белый флаг. Быстро! Через пять минут будут уничтожены все мачты.

Но белого флага на броненосце не было. Пришлось заменить его принесенной из каюты простыней. Однако и она, подтянутая к рею фок-мачты, не остановила неприятельских выстрелов. Вокруг броненосца начали подниматься фонтаны. Над головою слышался гул пролетавших снарядов, словно где-то в воздухе был железнодорожный мост, по которому непрерывно проносились курьерские поезда. Раздался взрыв около боевой рубки. Осколками ранено флагманского штурмана, подполковника Феодотьева. Вся боевая рубка наполнилась черными удушливыми газами. Из темноты, как с того света, хриплыми выкриками командовал адмирал:

— Передайте, чтобы наши орудия не отвечали! Спустить наш флаг! Поднять японский! Стоп машина!

Пока выполнялись эти приказы, броненосец получил еще несколько ударов. Снарядом разворотило ему нос. Якорь, сорвавшись с места, бухнулся в море. Появились пробойны с левого борта.

«Николай I», застопорив машины, остановился, и в знак этого на нем вместо уничтоженных накануне шаров подтянули к рею ведро. Японцы прекратили стрельбу. Стало необыкновенно

тихо. Остановились и другие наши броненосцы, повернув носами кто вправо, кто влево. На каждом из них, как на «Николае», развевался уже флаг «восходящего солнца».

Иначе поступил только «Изумруд». Это был небольшой трехмачтовый и трехтрубный крейсер, изящный и стремительный, как птица. Он тоже отстреловал было сигнал о сдаче, но, спохватившись, быстро его спустил. С правой стороны между отрядами неприятельских судов оставался большой промежуток. В этот промежуток, дав полный ход, и направился «Изумруд». Глубоко врезываясь форштевнем в поверхность моря, он вздувал вокруг своего корпуса белопенные волны, поднимавшиеся почти до верхней палубы. Из его труб вываливали три буйно-кудрявых потока дыма и, круто сваливаясь назад, сливались в одну черную тучу. Расширяясь, она тянулась за кормой, как длинный, волнистый хвост, и медленно качалась над кипящей бездной. Японцы очевидно не поняли его замысла и не сразу приняли против него меры. А, когда выдвинули в погоню за ним два крейсера, было уже поздно. Неприятельские снаряды едва долетали до него. А он, имея преимущество в ходе, все увеличивал расстояние между собою и своими преследователями. Со сдвинувшихся судов с замиранием сердца следили за ним, пока он не скрылся в солнечной дали. Его хвалили на все лады, им восторгались. Он действительно проявил исключительный героизм, вырвавшись из круга всего японского флота.

На «Николае» по распоряжению Небогатова была собрана на шканцах команда. Стоя на продольном мостике, он произнес перед нею краткую речь. Несмотря на блеск солнечных лучей, игравших в серебре конусообразной бороды, в золоте погон с черными орлами, в эмали двух крестов святого Владимира, адмирал пожевивался, словно от стужи. Обрисовав причины, заставившие его сдать, он в заключение, волнуясь, сказал:

— Братцы, я уже пожил на свете. Мне нестрашно умирать. Но я не хо-

тел вас губить, молодых. Весь позор я принимаю на себя. Пусть меня судят. Я готов пойти на смертную казнь.

И, сгорбившись, пошел на передний мостик под благодарственные выкрики команды.

На броненосце продолжалась суматоха. Уничтожали шифры, секретные документы, сигнальные книги. Одни из офицеров говорили, что нужно портить орудия, механизмы и выбрасывать за борт разные приборы, другие запрещали это делать. Часть команды была занята своими вещами, а некоторые уже добрались до водки. Кое-где уже начали появляться пьяные.

Из операционного пункта поднялся на верхнюю палубу машинный квартирмейстер Василий Федорович Бабушкин. Это он двадцать три дня тому назад соединил 2-ю и 3-ю эскадры. Но у него тогда раскрылись незажившие раны, полученные им в Порт-Артуре. Попав на броненосец «Николай I», Бабушкин серьезно заболел и пролежал в лазарете до самого сражения. В бою он был бесполезным. Накануне, с появлением на горизонте главных неприятельских сил, его перевели в машинное отделение, где он просидел до позднего вечера. Но и там, в глубине судна, он не переставал дрожать от страсти во что бы то ни стало победить японцев. И, когда ему говорили, что такой-то наш броненосец перевернулся, он упрямо твердил: — Нет! Это, должно быть, погиб «Миказа».

И один, как безумец, начинал кричать «ура».

Ему даже трудно было стоять на ногах. Но он не мог, узнав о сдаче четырех броненосцев, оставаться дольше внизу и появился среди команды, огромный, худой, обросший черной бородой, в нательной рубахе и черных брюках. Опираясь дрожащими руками на костыли, он остановился и взглянул в сторону кормы, — там, на гафеле, развевался японский флаг. То же самое он увидел и на других наших броненосцах. Судорога передернула его лицо с крупными чертами, брови вросли в переносицу, как два черных корня. Задышавшись, он выкрикивал срывающимся басом:

— Братцы! Как же это так получается? Я защищал 1-ю эскадру. А начальство приказало потопить ее. Потопили суда на таком мелком месте, что японцы теперь вероятно уже подняли их. Я стал биться за Порт-Артурскую крепость, живота своего не жалеючи. Получил в сражении сразу восемнадцать ран от осколков разорвавшегося снаряда. Можно сказать, побывал на том свете. А начальство сдало Порт-Артур японцам. В Сингапуре я назвался охотником на эскадру Небогатова. А ее также сдали в плен. Да что же это такое творится?

Над ним смеялись матросы:

— Брось, Вася, надрываться. Иди-ка лучше в лазарет и отдохни.

Бабушкин, стуча костылями, загремел: — Россия опозорена, а вы мне спать предлагаете?

— Вся эта война была позорная, а мы-то тут при чем. Не мы ее начинали.

— Сражаться надо, а вы хохочете.

— За что? За лапти? Таких дураков больше нет.

Бабушкин заскрежетал зубами и, шагаясь, двинулся к люку.

— Пойду в машину и сам открою кингстоны. Сейчас же броненосец пушку ко дну.

— Попробуй только — моментально полетишь за борт.

Бабушкин понял, что его намерение неосуществимо. Возбуждение богатыря сразу угасло. Ослабевший, он тихо побрел в лазарет¹⁾.

К борту «Николая» пристал неприятельский миноносец. С него поднялся

¹⁾ Интересна дальнейшая судьба В. Ф. Бабушкина. Спустя несколько лет после русско-японской войны он окончательно выздоровел от своих тяжелых ран. К нему вернулась прежняя физическая сила. Он стал профессиональным борцом. В качестве борца он выступал не только на русской, но и на заграничной арене. В 1924 году ему захотелось поехать в свою деревню Заструги, Вятско-Полянского района. Там, в собственном доме, он был убит своим подручным из револьвера. Этого подручного будто бы подкупили соперники Бабушкина. Родственник Василия Федоровича, некий Н. Бабушкин, сообщает о нем такие детали: «В. Ф. Бабушкин весил 10 п. 27 ф. Громадный собою, ходил очень быстро, даже успевал за быстро бегущей лошадей».

на палубу броненосца флаг-офицер, посланный адмиралом Того, и передал Небогатову приглашение прибыть к командующему японским флотом для переговоров. Через несколько минут Небогатов и члены его штаба, исключая пьяного Куроша, направились на этом же миноносце к флагманскому броненосцу «Миказа»¹⁾.

Остзейский край насыщал царский флот немалым количеством разных баронов. Были из них хорошие и плохие, умные и глупые. Но все они, как правило, зарекомендовали себя во флоте большими формалистами. Гордясь тем, что предки их когда-то участвовали в Крестовых походах, они относились к русским офицерам, а тем более к матросам с некоторым презрением. Царское правительство однако дорожило ими. Ведь никто так не подавлял всякое стремление моряков к свободе, к критике морских порядков, как эти букведы законов и циркуляров.

¹⁾ Такой сдачей в плен японцам четырех броненосцев был очень разгневан царь. Экипажи этих судов еще не вернулись из плена, а он без предварительного дознания лишил их воинского звания. Впрочем по отношению нижних чинов постановление это было потом отменено.

В ноябре месяце 1906 года бывший контр-адмирал Небогатов и бывшие его офицеры, исключая тяжело раненых, предстали в качестве обвиняемых перед особым присутствием военно-морского суда Кронштадтского порта. Это громкое дело разбиралось в Петербурге, в Крюковских казармах. На суде, вопреки желанию правительства, выяснились все ужасающие недочеты российского императорского флота. Больше всех занимался разоблачением флота сам Небогатов и за это жестоко поплатился. Он был приговорен к смертной казни, но по ходатайству суда ее заменили ему заточением в крепости на 10 лет. Такому же наказанию подверглись и командиры броненосцев «Николай I», «Апраксин» и «Сенявин». Старшие офицеры этих судов, а также и флаг-капитан Кросс были приговорены на несколько месяцев к заключению в крепости. Остальные офицеры были оправданы.

Что же касается броненосца «Орел», то суд признал, что он находился при таких бедственных условиях, когда сдача в плен разрешается военно-морским уставом, а посему вынес постановление: считать временно командовавшего судном Шведе и прочих офицеров в сдаче невинными.

Командир крейсера «Изумруд», капитан 2-го ранга барон Ферзен, также был выходцем из Остзейского края, но он считался лучше своих сородичей. Он снисходил до частных разговоров даже с мичманами. При этом на его круглом и краснощеком лице с белобрысыми бакенбардами, поднимающимися от усов к вискам, играла вежливая, тысячи раз репетированная улыбка. Каждого своего собеседника он обвораживал мягким голосом. Но он становился другим, когда начинал командовать. Голубые глаза отдавали холодным блеском, словно они превращались в эмалевые. В повелительных окриках появлялась особая зычность. Самоуверенный, он не допускал никаких возражений со стороны своих офицеров.

Барон Ферзен в первый день боя и на второй день, вплоть до того, как ему удалось вырваться из цепких лап противника, держался превосходно. Все его распоряжения были разумны. Но чем дальше уходил «Изумруд» от опасности, тем более командир терял самообладание. Неприятельские крейсера гнались за ним не больше трех часов и повернули назад, а ему все еще мерещилось, что он сейчас будет ими достигнут. В особенности он начал нервничать, когда «Изумруд» уже приближался к родным берегам. До Владивостока с избытком хватило бы угля, но по приказанию барона Ферзена ломали на судне дерево и жгли в топках. Он вмешивался в дела штурмана, лейтенанта Полушкина, утверждая, что курс им взят неверно. Страх командира перед японцами заразил сначала офицеров, а потом и всю команду. Все начали ждать страшного часа. Кончилось это тем, что «Изумруд» проскочил мимо Владивостока и попал в бухту Св. Владимира, пройдя на север лишний 180 миль.

Это была первая ошибка.

В бухте Св. Владимира не понравилось командиру, решено было перейти в находящийся рядом залив Св. Ольги. Но и здесь нашли стоянку неудобной и снова направились в бухту. Дело было ночью. Перед людьми стояла задача найти себе временный приют в этой дикой и мало знакомой местности.

Если бы командир сохранил спокойствие духа, то вероятно он не рискнул бы входить в такую бухту сейчас же. Тихая погода давала возможность «Изумруду» продержаться в море до утра. О присутствии здесь японцев не могло быть и речи. Не настолько они были невежественны, чтобы стали разыскивать в обширном просторе моря быстроходный крейсер, ушедший за двое суток неизвестно куда. Это было бы так же нелепо, как нелепо искать блоху, исчезнувшую в куче сена: Однако командир торопился скорее скрыться в бухте. Вдруг крейсер заскрежетал всем своим железным днищем, налетев на каменную гряду мыса Орехова. Барон Ферзен закричал, повторяя одно и то же:

— Полный назад! Полный назад!

Но сколько машины ни работали, крейсер не двигался с места.

Это была вторая ошибка.

«Изумруд» поднялся против своего углубления на один фут. Особой опасности в этом еще не было, тем более, что в днище судна нигде не обнаружили течи. Можно было бы дожидаться следующего прилива воды, чтобы свободно сняться с камней; можно было бы разгрузить крейсер своими силами и таким образом избежать от аварии; наконец можно было бы вызвать по телеграфу помощь из Владивостока, а судно приготовить к взрыву на случай появления противника. Но барон Ферзен, на круглом лице которого дрожали белобрысые бакенбарды, дал иное распоряжение, выкрикивая:

— Японцы находятся где-нибудь поблизости! Каждую минуту они могут

накрыть нас! Я не хочу, чтобы «Изумруд» достался им! Немедленно приготовить судно к взрыву!..

На крейсере началась необычайная суматоха. Все, что можно было расклепать и снять, полетело за борт, а то, что не тонуло и что поддавалось огню, жгли в топках. В бухте утопили все пулеметы и четырнадцать скорострельных пушек. Разбивали молотками вспомогательные механизмы, компасы, приборы управления огнем. Командир считал себя добросовестным человеком и не хотел, чтобы какое-либо добро попало в руки японцев. Он даже потерял голос и с пеной на губах только хрипел, подгоняя своих подчиненных в их разрушительной работе. А те, словно во время пожара, бегали по трапам снизу наверх, сверху вниз, бестолково металась по разным отделениям. Железный корпус судна стонал от грохота, человеческих выкриков. Такого аврала крейсер не испытывал со дня своего рождения. Если бы на все это кто-нибудь посмотрел со стороны, то непременно пришел бы к заключению, что весь экипаж заболел острым психозом.

Наконец все с'ехали на берег, захватив с собою ружья. Приказание барона Ферзена было исполнено: громадное пламя подняло к небу черное облако. Раскатистым эхом откликнулись горы. На камнях вместо крейсера остались лишь железные развалины.

Это была третья ошибка.

Весь экипаж «Изумруда», понурился, головы, пешком направился во Владивосток.

Два стихотворения

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

1. Мужидкая „барыня“

Из цикла о старой деревне

«В трактире он — вольный человек, он — господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит Он приказывает, его слушают.
А. И. Герцен. — «Былое и думы»

Подчас мы представляем
Очень древним
Совсем недавнее,
Что смёл событий вал...

Вот что
О полукрепостной деревне
Товарищ мой

Однажды рассказал:
«В слободке где-то
Коротая вечер,
Зашел в кабак. Зловонье! Мрак.
Тоск

Но вот — зажглись
В пивных бутылках свечи.
И я в углу увидел мужика.

Он долго
Всматривался в дно стакана.
Молчал. Нечесан, неумыт и бос.
И вдруг запел — надрывно, хрипло,
пьяно,

Кивая в такт
Гнедой копной волос.

Между куплетами
В коротких промежутках
Он всхлипывал, немного выпивал.
Мне было как-то необычно жутко
От песни той, что больше не слышал.

В той страшной песне — горя
половодье...

Я записал ее, пометив на листке:
«Барыня»,
Мужицкая рапсодия,
Услышанная мною в кабаке».

«Б а р ы н я»

Сердцу тяжело не под силу,
Проводил жену в могилу.
Взять тебя бы в батога,
Распроклятая цынга,
Помяну-ка женку я:
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя.

Эх ты, счастье! Где ты, счастье?
Сердце рвет тоска на части.
Дай козушку, выпью с горя,
По колена будет море.
Пропадай на смерть, семья,
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя!..

То — закута, то — домище,
Либо — барин, либо — нищий.
Свет построен «по любви»:
Сильный слабого дави.
Под хмельком — богатый я,
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя.

Выпью штоф. И что мне барин!
Я и сам — богатый парень,
Загляни в мои хоромы,
Там постелька из соломы,
В земляном полу скамья...
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя!..

Мне мечталось за обедом:
Скоро буду мироедом.
Стисну в лапы целый свет.
А покуда — хлеба нет.

Голод бьет, как из ружья, —
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя.

Крали нет. Сойдусь с другою,
Не хворала чтоб цынгою.
Как-то там мои ребятки?
С ними смерть играет в прятк
Вспомяну-ка женку я...
Барыня ты моя,
Сударыня ты моя...

2 Из записок моего друга

Подмышкою — мешок.
В мешке — картуз, тужурка,
Белье и сверточек с остатками еды.
По императорскому Петербургу
Двенадцать дней
Печатаю следы.

Вчера я ночевал
В прохладе взморья,
В тиши какого-то из островков.
Дела неважны:
Глубоко в подполье —
Организация большевиков.

Искать нельзя.
Жди случая, и — точка.
А если случай этот далеко?...
Пришлось устраиваться в одиночку,
Что не особенно легко.

Продал мешок,
Картуз, белье, тужурку
И — койку снял...
А также сделал честь
Вышеозначенному Петербургу,
Раз ухитрившись
Досыта поесть.

Хозяин койки,
К счастью, был подрядчик.
И он, без взятки, — прочим не
в пример, —
Работать по нагрузке тачек
В песочный
Взял меня карьер.

Работа сдельная.
Трудился я, потея,
Корпел, чтоб на себя не бросить тень.
Мне удавалось
Пятьдесят копеек,
А то и больше
Заработать в день.

Ну, словом,
Жизнь пошла вперед и выше.
Зацепка есть.
А дальше — наизусть...
И об организации услышу,
И потихонечку
В дела втянусь...

Мне — двадцать лет.
Они голубоглазо
Вонзились в мир, как в дорогой
массив.

При них нужна
Лишь крохотная база
Для самых необъятных перспектив...

Двадцатый век!
Не ты ли веком ломки
И обновления веком призван стать?...
Мне — двадцать лет...
Веселые потомки!
И эту ломку
Я успел начать.

Во мне
Восторгом дышит каждый атом.
Пусть сам я, точно атом, в мире
мал, —

Я все же
Революции солдатом
За ваше счастье воевал.

Эй, вы,
Далекие и радостные дети
Страны, разделанной
Вам под родной очаг!
Не называйте
Черным лихолетьем

Лет,
Вынесенных нами на плечах!

Об этом я
Готов поспорить с вами
И доказать смогу наверняка,
Что не сияло бы
Над миром наше знамя
Без трудных лет
Борьбы большевика!

Конец Петлюры

Рассказы

А. ГАРРИ

1. Смерть Просвирина

Во дворе поповской усадьбы пьяные кубанцы пороли шомполами какого-то еврея. Пронзительный визг истязуемого вызывал у генерала Перемыкина изжогу. В расстегнутой на груди шелковой варшавской рубашке, в английских диагональных брюках, в ночных туфлях на босу ногу, генерал восседал за обеденным столом в поповском доме и заканчивал письмо Борису Савинкову, который, по слухам, находился в «действующей армии», при штабе атамана Булак-Балаховича.

Генерал Перемыкин писал:

«Итак, мое мнение — дело наше проиграно безнадежно. Проклятая петлюровская рвань драпает почем зря, не принимая ни одного боя. Котовский добирает нас попрежнему: этот каторжник буквально вездесущ. Правда, командир киевской дивизии, генерал Тютюник, недавно хвастал, будто пощипал Котовского под Дубровкой. Но я думаю, что этот желто-блакитный выскочка и бандит по обыкновению врет, и дело обстояло как-раз наоборот. В общем, плохо, господин Савинков, очень плохо...»

Надвигалась зима. По небу плыли тяжелые, серые тучи, предвещающие снег. Зловещие украинские черноземные лужи затянулись солидной коркой льда, с северо-запада, из российских степей, дул пронзительно холодный ветер.

Закончив письмо, командующий третьей демократической армией (третьей и последней, как острили в варшав-

ских кафе) генерал Перемыкин вышел на крыльцо и глубоко задумался. Кубанцы, увидев генерала, оттащили свою жертву за ногу куда-то в глубь двора. Упитанные поповские куры сновали у коновязи между лошадиными копытами. Под ногами у коней, остывая, замерзал навоз, перемешанный с липкой, черной грязью. Из поповской кухни потянуло удушливым запахом прелой квашеной капусты.

Генерал Перемыкин вздохнул еще раз; Борису Савинкову он не написал о самом главном: бело-петлюровской армии, как таковой, уже не существовало. Армия развалилась. Накануне сечевики киевской дивизии отбили перемыкинский обоз со снарядами, а кубанцы ночью перехватили где-то в лесу петлюровский лазарет, изнасиловали сестер и добили раненых. Кавалерийская бригада есаула Яковлева — «краса и гордость» третьей демократической армии, — не приняв ни одного боя с красными, рассыпалась по деревням, грабила, насиловала и жгла. Рекой текла еврейская кровь, мешаясь с кровью украинской бедноты.

Зловещим молчанием встретила деревня «освободителей», когда после перемирия, наступившего между большевиками и поляками, ринулись они пьяной ордой через демаркационную линию. Генерал Перемыкин когда-то окончил николаевскую академию генерального штаба, он знал, что согласно законам малой войны победу решает отношение к армии местного населения. Глядя на

грязный поповский двор, генерал подумал, что эту последнюю кампанию он проиграл еще до первого боя.

Генерал вспомнил роскошный номер варшавской гостиницы, горничную в белой наkolке, кофе с густыми сливками, фарфоровый унитаз, пышные банкеты с участием западных военных атташе, прощальную речь самоуверенного Савинкова. Все было кончено, впереди предстояла трагедия беспорядочного отступления, затем безотрадное существование в эмигрантском боте.

Письмо генерала Перемыкина господину Савинкову не дошло по назначению. Письмо это получил Котовский.

Громадный кубанец с сергой в ухе, который вез секретный пакет, запечатанный синим сургучом, в штаб атамана Булак-Балаховича, уже в двадцати километрах от села, где расположился генерал Перемыкин, встретился с разездом Котовского. Перед тем, как отправиться в далекий путь, кубанец выпил для храбрости еще одну бутылку самогонки.

Угрюмо плелась, помахивая хвостом, необранная лошаденка. Выводный третьего эскадрона, Ванька Кучерявый, подехал к ординарцу генерала Перемыкина вплотную и, тряхнув чубом, ударил его кулаком в висок. Казак вылетел из седла, как тюк с мукой: он был мертвецки пьян.

Гонца обыскали — нашли секретный пакет, золото, несколько пар часов, бриллиантовую сережку, вырванную вместе с мочкой уха. Казак был пьян, возиться было некогда, его расстреляли, не допрашивая.

Ранним зимним вечером Котовский, сидя у раскрытого окна (командир бригады любил свежий воздух), читал письмо генерала Перемыкина господину Борису Савинкову. На западе небо очистилось от туч, громадное, багровое солнце медленно тонуло в украинском полесьи. Читая письмо, Котовский бормотал, что-то себе под нос, улыбался и утвердительно кивал головой: все обстояло так, как и должно было обстоять. Когда командир бригады дошел до того места письма, где Тютюник хва-

стался, что «пощипал котовцев», командир бригады громко расхохотался. Конечно прав был генерал Перемыкин, — дело обстояло как-раз наоборот.



Несколько дней тому назад первый полк, сотнями вырубая по пути улепетывающих во все стороны петлюровцев, на спине у противника ворвался в деревню Дубровку. В плен угодил весь штаб командира четвертой киевской дивизии генерала Тютюника, денежный ящик его дивизии, архив, секретная переписка, горничная жены Тютюника и личное имущество неудачливого атамана. Первый полк остановился передохнуть, второй полк с батареей продолжал преследование. Оставив батарею с прикрытием в овраге, Криворучко развернул полк подковообразной лавой, стремясь охватить противника с флангов. Петлюровская пехота, бросая оружие, сдавалась. В это время сзади, у батареи, раздалась ружейная и пулеметная стрельба. На всем скаку повернув своего Копчика, Криворучко, предчувствуя беду, понесся обратно к батарее. Спешейные артиллеристы и конное прикрытия, эскадрон, схватились за винтовки: батарея была окружена неизвестно откуда вынырнувшими конными сечевиками, — их было несколько сот человек. Они были в добротных синих жупанах, ветер развевал пестрые бархатные «оселедцы» на их папахах. Обнажив шашку, Криворучко высоко поднял ее над головой, приказав батарейцам прекратить стрельбу. Затем, вложив шашку в ножны, он поехал к противнику навстречу.

Они сошлись у неширокой канавы, в ней еще журчала быстрая вода какого-то подземного родника; по краям канавы обросла молодым ледком. По ту сторону выстроились петлюровцы. Криворучко, подехав, вежливо взял под козырек.

— Сдавайся, большевистский холуй! — сказал веселый петлюровский полковник. — Узнаем тебя, господин товарищ вахмистр Криворучко! Сдавайся, пока голова на плечах!

Надвигался вечер, по оврагу полз молочный туман. Напрягая слух до боли в ушах, каждую секунду ожидая прибытия полка, Криворучко приступил к переговорам. Переговоры были шедевром партизанской дипломатии. Они продолжались не более трех минут, но этого времени было достаточно для того, чтобы полк подошел, в абсолютном молчании вытянувшись вдоль канавы за спиной своего командира.

Два полка стояли друг против друга с развернутыми знаменами. Их отделял всего лишь какой-нибудь метр. Разговаривало только двое. Бойцы молчали, но и у людей, и у коней нервы были натянуты, как струны, — в этом зловещем молчании предчувствовались топот атаки, свист шашек, пулеметная трескотня, кровь и смерть.

Петлюровцев было примерно вдвое больше, чем котовцев. Но толстый полковник уже перестал улыбаться, на него подействовала зловещая тишина, он начал чутять недоброе.

— Довольно дурака ломать, Криворучко! — крикнул он. — Кладите оружие, а то сейчас передушим вас, как кроликов!

Туман сгущался. Как-раз в эту минуту к Криворучко подехал начальник пулеметной команды, краснощекий Брик. Его всегда выпученные глаза искрились огоньками неподдельного веселья. Криворучко буркнул нечленораздельную команду, фронт котовцев треснул пополам, и лава раздвинулась, как театральный занавес. В образовавшемся прорыве весело застрекотали в упор по противнику двадцать станковых пулеметов, и где-то совсем близко раздался хриплый голос старого командира батареи, «папаша» Просвирина.

— Ка-рте-ечь! Пе-е-рвая! Ого-о-нь!

Казалось, что в овраг обрушилось небо. Сразу же стало впереди за канавой синих жупанов. Выхватив шашки и налетая друг на друга в невероятной толкотне, котовцы, сомкнувшись к флангам, «брали» канаву и рубились уже на той стороне. О таких схватках кавалерийские командиры мечтают годами: это был настоящий конный бой лицом к лицу, сражение, в котором ни один

из бойцов не имел ни времени, ни возможности прибегнуть к огнестрельному оружию. Около двухсот лошадей и семь пестрых петлюровских бунчуков захватил в этот день Криворучко, прежде чем он вернулся в Дубровку.

Вот как выглядел тот бой, в котором, по словам атамана Тютюника, ему удалось «пощипать» котовцев.



Гражданская война низвергла с пьедестала тактику, которую мудрецы военной науки составляли в течение нескольких столетий.

Котовский находился в глубоком тылу у противника, связь с дивизией была эпизодической. Его окружали вражеские силы, превосходящие его в несколько десятков раз. Конечно, нужно было быть очень осторожным, но противника все же он не боялся: он обдумывал операцию, подобную своей исторической операции под Тирасполем. Операция эта заключалась в таранном ударе в гущу неприятельского фронта с глубоким заходом в тыл, с захватом переправ и конечной атакой с тыла противника по его отступающему фронту. Сидя над картой, Котовский думал, и даже помощник начальника штаба, бывший штабс-капитан Садаклий, за три года работы с Котовским растерявший все свое штабс-капитанство, не осмеливался высказывать своих стратегических познаний.

В бывшем будуаре поповской дочери горело две копилки: у попа не было керосина, в бригаде — тоже. На полу, на подушках, стонал и бредил раненный в голову навывлет начальник пулеметной команды первого полка Слива. Накануне проказница-пуля угодила ему в переносицу и вышла через затылок, но уже через десять дней счастливчик Слива сидел снова в седле.

У полевого телефона дремал телефонист, адъютант Котовского невероятно засаленными картами раскладывал пасьянс, за дверью, в сенях, комиссар бригады, фыркая и всхлипывая, умылся. Была ночь, тишина, фронт: где-то далеко громыхали орудия.

Разведка привела подозрительного: обыкновенный украинский парень в рваных сапогах, с посиневшими от холода руками, в кафтане из домотканного коричневого сукна. Подозрительный признал Котовского и широко улыбнулся. Запустив руку глубоко за пазуху, достал он пропитанный потом пакет. Подозрительный оказался гонцом из дивизии, переодетым в вольное платье. Минувя свои и неприятельские раз'езды, под'езжая где на крестьянской, где на петлюровской подводе, лавируя, притворяясь и обманывая встречных и поперечных, расспрашивая обывателей, заговаривая зубы подвыпившим казакам, прошел он за двое суток шестьдесят километров через несколько фронтов. Пока оживившийся Садаклий расшифровывал дивизионный приказ, замечательный этот гонец заснул, стоя у стены.

Командир дивизии писал, что, по сведениям разведки, конница есаула Яковлева начала обход дивизии с правого фланга, угрожая разгромом тылов и захватом основных коммуникационных линий. Командир дивизии просил Котовского либо немедленно отступить на линию фронта, разыскать Яковлева и разбить его, либо проделать какую-либо другую операцию, могущую надолго отучить противника от активных действий.

Гонца уложили на пол, подложив ему под голову седло: разбудить его оказалось невозможным. Принесли еще две коптилки, попадья бесшумно хозяйничала в комнате, испуганно, как борзая, поджав уши. Встрепенувшийся телефонист возился у аппарата, крутя ручку; дребезжал звонок, — Котовский созывал командиров на военный совет.

Положение дивизии и резервной стрелковой бригады при ней было несомненно очень серьезным. Шестьдесят километров для котовцев — один плёвый переход. Не в этом дело. Но Котовский не умел и не любил отступать.

Бригада расположилась в двадцати километрах от Проскурова, в Проскурове, по слухам, находился полевой штаб бело-петлюровской армии, обозы есаула Яковлева и несколько эшелонов

пехоты и артиллерии. Котовский рассчитал так: если сейчас захватить Проскуров, неприятель, в панике, отзовет есаула Яковлева для защиты переправ у Волочиска.

Командиры плохо поняли доводы Котовского, но слово «наступить» было для них всегда приятнее слова «отступить». И поэтому через пятнадцать минут горнисты играли сбор.

Ночью сильно подморозило, в деревне причудливыми узорами смерзлась грязь. Небо было облачно. На востоке рождался фиолетовый рассвет. Со всех сторон окликающая друг друга в темноте, носились конные ординарцы. В сумерках рассвета раздавались протяжные слова кавалерийской команды, командиры строили эскадроны. Где-то вдали, по кочкам мерзлой грязи, загромыхали орудия.

На дворе поповского дома разожгли костер. Котовский, в меховой куртке и алых брюках, во все горло распекал командира батареи Просвирина.

Широкоплечий Просвирин сутулился. Широко раскрытые ладони мясистых, толстых рук он держал за спиной, растерянно шевеля большими пальцами; изредка правая рука отрывалась и прикладывалась, дрожа, к козырьку под выцветшей защитной фуражкой.

Папаша Просвирин в бою казался гигантом, в мирных служебных отношениях труслив был необычайно и Котовского боялся, как огня. Когда в бригаде что-либо случалось и Котовский начинал метать громы и молнии, умудренные опытом командиры под тем или иным предлогом всегда подсовывали Котовскому Просвирина. Седоусый комбат молча стоял перед взбешенным командиром и моргал добрыми глазами. Отругав Просвирина, Котовский обычно сразу же успокаивался. В данный момент Просвирину влетало за то, что у него громыхают орудия.

Составив из обозных и легко раненых сводный пеший эскадрон (дорог был каждый человек) и оставив его вместе с обозом в селе в качестве прикрытия, Котовский вывел бригаду в поле. Бойцы двигались в абсолютном молчании переменным аллюром, запре-

щено было курить. Орудия пустили по целине, чтобы меньше было грохота, слышен был лишь глухой топот копыт, да изредка еще зазвенит кто-нибудь шашкой. Выслали только головной дозор и незначительное боковое охранение.

В пяти километрах от Проскурова поймали двух казаков. Они сообщили, что в Проскурове сосредоточено несколько воинских соединений и громадное количество обозов. Казаков связали и уложили на пулеметные тачанки. Больше не встретили никого.

На подступах к городу у железнодорожного переезда Котовский остановил бригаду. По эту сторону насыпи дома железнодорожников утопали в фруктовых садах, здесь было много темнее, чем в поле. Эскадронный Вальдман пошел пешком на станцию и вернулся через несколько минут. Рассказал, что успел разглядеть: на станцию Проскуров только-что пришел с востока эшелон, гетляуровские солдаты бегали по перрону, звеня котелками и громко перекликаясь. Мимо бригады прошла группа петляуровских офицеров.

— Какая часть? — спросил один из них.

Котовцы молчали. Офицер плюнул и присоединился к своим: он был заметно навеселе.

Стараясь возможно меньше греметь, папаша Просвирин расставил у самого шлагбаума свои четыре пушки. Артиллеристы бесшумно окопали их, передки отъехали.

Держа растопыренную пятерню у козырька, Просвирин подошел к Котовскому. Теперь это был совсем другой Просвирин, чем в поповском дворе: хладнокровный, весь какой-то подобранный. Нагнувшись к нему с седла, Котовский вполголоса отдал приказание:

— Два орудия — картечь! Два — высокие разрывы над городом! Круши, папаша!

Второй полк тихонько снялся и пошел обходить город справа, отрезая отступление. Криворучко в белом гусарском ментике и черной папаше с красным верхом покусывал усы, дрожа от нетерпения.

— Сто снарядов, — добавил Котовский. — Круши, папаша, не томи!

Штаб сехался тесной кучкой позади батареи. Новый комиссар бригады, необстрелянный еще Борисов (впоследствии краснознаменец), взволнованно смотрел на Просвирина влюбленными глазами. Старый комбат как будто бы сразу стал выше на голову. Рваненький его серый френч распахнулся на груди, сбоку на шее болтался бинокль. Широко расставив ноги, папаша Просвирин впился глазами в темный вокзал, правая рука его, высоко поднятая кверху, сжимала белоснежный сигнальный платок.

На перроне попрежнему звенели котелками и чайниками петляуровцы. Два раза прогудел маневренный паровоз. Мимо батареи, пугливо озираясь, пошел сцепщик с фонарем в руках и двумя флагами подмышкой. Где-то в глубине потрепанного осенью фруктового сада зазвенел придушенный женский смех.

Просвирин с размаху опустил руку, — оглушительным залпом батареи разорвалась тишина.

— Вторая! — крикнул Просвирин протяжно. И снова все кругом окрасилось пламенным отблеском выстрелов.

На вокзале творилось что-то невообразимое. Мимо орудий пронеслось несколько петляуровских двуколок, закусив удила, сверкая обезумевшими от ужаса глазами, порвав построшки и сбивая деревянную ограду чьего-то сада, серые лошади умчались в ночь. Запутавшись ногой в построшках, выпучив глаза и раскрыв рот, волочился за задней двуколкой, головой по камням, какой-то зазевавшийся петляуровский ездовой. Орда обезумевших людей с котелками в руках, выплескивая себе на ноги кипяток, с перепугу ринулась с перрона по направлению к батарее. Веселый, пучеглазый Брик встретил их свинцовым огнем своих пулеметов.

Казалось, в этом шуме ничего нельзя было разобрать, но Котовский все же разобрал. Нагнувшись с седла, он тряс за плечо помощника командира батареи Продана, — из-под алой бархатной фу-

ражки на бледный лоб Продана выбилась иссиня-черный чуб.

— Почему только три орудия стреляют? — хрипел Котовский, пытаюсь перекричать пулеметную трескотню. — У-у-у! Мать вашу... Ста выстрелов не можете сделать, вороний корм!

— Третий номер заело, — оправдывался Продан. — Разрешите досыпать гильзу?

Снова орудийный залп, ничего не слышно. Потом относительная тишина, только дикие вопли на вокзале да трескотня пулеметов.

— Делай, как знаешь, только чтобы мне все четыре орудия били, а то как бы я тобой гильзу не досыпал, — ответил Котовский, выпуская плечо помощника командира батареи.

Взяв под козырек, Продан побежал к орудиям. Снова залп.

Потом — взрыв, страшный, невероятный взрыв, как будто бы лопнула труба мощного компрессора. Котовский медленно встает с земли, отряхивает с колен пыль. Конь его лежит подле, у него оторвана нога. Без фуражки, страшный, с потемневшими глазами, Котовский выхватывает маузер и кричит. Кричать сейчас легко, орудия замолкли, пулеметы тоже, только с вокзала несется неясный гул да в городе раздаются одиночные ружейные выстрелы.

— Где командир батареи? Что случилось? Почему не стреляете? Командира первого полка сюда!

От батареи, еще издали взяв под козырек, бежит Продан. Лицо его перекошено, подбородок прыгает.

— Товарищ командир бригады, — говорит он, запинаясь, — разрешите доложить: третье орудие разорвало, пятеро убитых, семнадцать раненых, лошадей еще не подсчитали, папаша Просвирина... в живот... кончается...

В эту самую минуту далеко за вокзалом раздается громовое «ура», гремят выстрелы: это второй полк ворвался в город с тыла.

К спешенному Котовскому подъезжает изящный командир первого полка Шинкаренко. На его каменном лице нет ни тени волнения. Зубы крепко стиснули

потухшую папиросу. Выплюнув ее, Шинкаренко берет под козырек и спрашивает со спокойным достоинством:

— Прикажете атаковать! Криворучко уже в городе...

— Давай, атакуй! — бросает ему на ходу Котовский. — Сейчас догоню! Оставь мне один эскадрон!

И, спеша к Просвирина, бросает на ходу батарейцам:

— Все три орудия на высокий разрыв. Довольно картечи, чего раззевались, растяпы!

Рядом с Котовским идет Продан. Левую часть лица он закрыл рукой, из-под пальцев сочится кровь. И тотчас же за своей спиной Котовский улавливает знакомый голос старшего фейерверкера Наговечко:

— Батарея, слушай мою команду! Третью орудью оттащить! Номера — по местам! Угломер — тридцать ноль! Уровень — десять! Трубка — пять! Орудия, прав-о-й огонь!

Просвирина лежал на сене, высоко закинув голову. Около него были фельдшер и врач. Седая грива командира батареи была растрепана, ее медленно колыхал ветер, фуражку его держал в руках опечаленный политрук. Папаша Просвирина прикусил от боли ус, но молча переносил страдания. Когда подошел Котовский, он пытался подняться, но потом, обессилев, успокоился и, лежа, приложил растопыренную пятерню к обнаженной голове. Всклипнув, Котовский нагнулся к нему.

— Товарищ командир, — пробормотал Просвирина, и сразу же тонкая струйка крови хлынула у него из рта. — Товарищ командир... Попутал грех на старости лет... По уставу... полагается разряжать... пятьдесят шагов канаг... Не доглядел... мальчишки... обделался на старости лет... погубил орудия... Расстреляйте меня, товарищ командир...

Котовский заплакал и поцеловал Просвирина в губы, измазавшись в крови. Потом вскочил на ноги и, не оглядываясь, пошел прочь. Черный, как жук, Черныш — его ординарец — уже подводил ему свежую лошадь, Орлика. Золотистый конь равнодушно потряхи-

вал огрызком хвоста. Узнав Котовского, он уткнулся ему в затылок теплой мордой.

В городе пьяная офицерня заканчивала дебош в шантане. Развеселившиеся люди не слышали ни паники, ни шрапнели, ни стрельбы. Разухабисто гремел румынский оркестр, звенели разбитые стекла, хлопали пробки от шампанского, раздавался женский визг. Перекосив лицо, краснощекий Брик выпустил в окна шантана две пулеметные ленты, дополнив их несколькими ручными гранатами, — возиться было некогда.

Вальдман, приставив дуло маузера к груди стражника, уже отпирал тюрьму.

— Которые у вас тут политические?

— А чорт их разберет, тут все за контрразведкой числятся!

— Выпускай всех к чортовой матери да пошевеливайся!

Котовцы хозяйничали в городе около часа. Из расспросов выяснилось, что гарнизон, не считая штабов и обозов, состоит из пяти с лишним тысяч человек. Все, кто успел, конечно разбежались. Преследовать их было бы безумием. Выведя из строя станционные пути и, таким образом, отрезав от переправ все неприятельские грузы, оказавшиеся восточнее Проскурова, Котовский приказал играть отбой.

Вокзал был неузнаваем, когда бригада возвращалась обратно. На перронах и на путях валялись винтовки, котелки, фуражки, шинели, окоченевшие трупы людей и лошадей. Нигде не было ни души. Будка стрелочника была наполовину снесена взрывом. Лафет разорвавшегося третьего орудия глубоко ушел в землю, кругом валялись куски человеческого мяса.

Когда выбрались из города, пошли на рысях. Молоденький офицер с черными корниловскими погонами, придерживая раненую руку, выскочил из кустов и подсел на пулеметную тачанку первого полка. От него пахло перегаром, у него стучали зубы от ужаса.

Он оказался помощником начальника проскуровской контрразведки и сообщил на допросе много интересных сведений. Его пришлось, правда, предва-

рительно довольно долго урезонивать, — он все время думал, что попал к своим.

Офицер рассказал, что в городе в эту ночь стояла казачья бригада есаула Яковлева и что она на рассвете должна была выйти в рейд, в тыл нашей дивизии. Таким образом, расчет Котовского оказался правильным.

Собрав командный состав, командир бригады приказал накормить лошадей и готовиться к выступлению на Волочиск, на захват переправ. Снова в бывшем бударе поповской дочери, чады, горели копилки. Возмужавший за эту ночь комиссар бригады строчил некролог Просвирину в дивизионную газету. Еще в Проскурове старый командир батареи впал в беспамятство и, не доезжая до села, тихо умер, не приходя в сознание.

Других потерь, кроме артиллеристов, пострадавших от взрыва, в эту ночь у бригады не было.

2. Машинист Кулябко

Прекратились последние осенние дожди, они сменились мокрым снегом. На заброшенных полях замерзал гниющий, неубранный хлеб. У коней бригады высоким узлом были подвязаны хвосты, хвосты эти били коней по ляжкам, хвосты слиплись, заскорузли замерзшими комьями грязи: чиститься было некогда.

Бригада вышла в летнем, — далеко не у всех были даже шинели, у всех изорвались сапоги. С начала польской кампании, вот уже около года, бойцы ни разу не видали своего обоза второго разряда, где были сапожники, портные, отдел снабжения. С обозом первого разряда, и то видались раз-два в месяц. Эскадронные добровольцы-разведчики, те, что бессменно несли дозорную службу, не раздевались неделями, месяцами. Бойцы обросли грязью, нужна была передышка. Котовский сказал, что передышка будет дана тогда, когда наступит конец Петлюре. За этим долгожданным концом бригада переменным аллюром шла на Волочиск, переходами по шестьдесят километров в сутки.

Объединенные армии Петлюры и Савинкова неудержимо катились на запад, теснимые пехотными частями красных. В тылу у неприятеля хозяйничал Котовский, появляясь неожиданно в тех местах, где его меньше всего можно было ожидать. Налет на Проскуров скончательно деморализовал противника. После Проскурова бригада двинулась вперед, не встречая на своем пути ничего, кроме брошенных обозов и неуспевших отступить заслонов, которые сдавались, не оказывая ни малейшего сопротивления. Котовский спешил: у него из-под носа через волочисскую переправу уходили громадные силы противника, много оружия, большие материальные ценности. Котовский спешил.

В тридцати километрах от переправы через Збруч бригада в последний раз перешла на правую сторону железной дороги. Стоял морозный день ранней зимы, багровое солнце, в зените, плавало в молочном облаке. На высокой насыпи командиры остановились с биноклями у глаз. Килметрах в десяти к западу двигался большой отряд пехоты. Не видно было ни конных, ни знамен. Пехота шла большой извивающейся змеей цвета хаки, растянувшись от неведомой деревушки до опушки леса у железнодорожного полотна.

Горнисты сыграли сбор, бригада рассыпалась лавой. Пушки ехали сзади, им не приказано было окапываться. Потрясенный смертью командира, Продан был тише воды, ниже травы. На левом виске его зияла незажившая еще, неперевязанная рваная рана, — последнее воспоминание о злополучном взрыве. Продан был сумрачен, Котовский с ним не разговаривал.

Когда горнисты сыграли атаку и, отбрасывая шипами подков комья грязи, вырвался вперед куцый, золотистый Орлик, пехота противника выкинула белый флаг. С пиками наперевес, помчалась к ней первая шеренга первого полка. Задние придержали коней, боя, повидимому, не было, но озабоченный Брик на всякий случай снял чехлы с пулеметов, и недоверчивый Криворучко, вытянув полк узкой ленточкой, стал тихонько охватывать противника с фланга.

Цвет хаки оказался обманчивым. Пехота противника была в одном белье, от грязи ставшем землистого цвета. Пехотинцы были босы, в кровоподтеках и ссадинах, с изнуренными лицами, посиневшими от холода.

Польское правительство подарило генералу Перемыкину полторы тысячи пленных красноармейцев из Каттовичского лагеря с тем, чтобы он вооружил их и отправил на фронт. Но генерал Перемыкин не доверял бывшим красноармейцам, тем более, что, когда они прибыли в его распоряжение, армии его, как таковой, уже не существовало. Пленных решили обмундировать и вооружить только в последний момент перед боем. Их загнали, как скот, в бывший холерный карантин в Подволочиске и не кормили в течение пяти дней. Пленные, стуча зубами, грелись друг о друга на голых иарах, голодные и измученные, не зная, зачем их пригнали сюда, не зная, что с ними будет завтра. Тесной кучей обступили они сейчас Котовского и наперебой рассказывали ему о своих злоключениях.

Бойцы тихонько спешили, и те, у кого были шинели, стали снимать их.

— Шинели будут сегодня к вечеру, — скавал мрачно Шинкаренко, — ох, и много же, братва, будет шинелей!

В обоих пулеметных командах было немного хлеба и консервов. Всех накормить конечно было невозможно, но самых слабых все же накормили.

Пленные рассказали, что вот уже три дня, как через волочисский мост днем и ночью непрерывно движутся пехота, конница, артиллерия и обозы. На станции Волочиск стоит поезд Петлюры, злополучный председатель Украинской народной республики ждет своей очереди, чтобы переправиться в Польшу. Но на путях железной дороги образовалась пробка, большинство железнодорожников разбежалось, те же, которые не успели, работают под дулами револьверов. Этой ночью сбежал караул холерного карантина. Пленные, увидя, что их никто не охраняет, тихонько вылезли из баряков, построились и вышли пешим на встречу своим.

Самого расторопного из пленных Котовский назначил командиром и дал ему записку в обоз первого разряда, к начальнику снабжения, — на довольствие и обмундирование. Потом серая колонна раздетых людей поплелась дальше на восток, бригада же на рысях двинулась на запад.

Дорога шла в гору, но бригада продолжала двигаться на рысях. Противника не было нигде. Истоптанный проселок был усеян брошенными повозками, рваной сбруей, разбитыми ящиками, колесами, артиллерийским снаряжением. В кустарнике у дороги обнаружили целый артиллерийский парк: двести ящиков со снарядами, сложенными штабелями, как дрова. Продан тотчас же заприходовал находку, оставив возле нее двуколку и одного ездового.

Стали взбираться на последний холм, за этим холмом лежали река Збруч, переправы, Волочиск. Над бригадой появился крылатый разведчик. Серебристый «фоккер» плыл большими кругами, то снижаясь, то уходя в недосыгаемую высь. Командиры приказали рассыпаться, но «фоккер» и не подумал стрелять: ему было не до этого, а может быть, и неисправен был пулемет. Когда Котовский, пустив Орлика в размашистый галоп, выбрался на гребень холма, перед ним открылась незабываемая картина. Как-раз в эту минуту над бригадой разорвалась, звеня, первая шрапнель: «фоккер» сделал свое дело.

По бригаде из четырех орудий шрапнелью бил бронепоезд. Бронепоезд тихо поднимался из ложбины к гребню холма, он был совсем близко, в каких-нибудь восьмистах шагах. Внизу — ложбина, города Подволочиск и Волочиск, переправы, дороги и улицы кишели людьми, повозками и орудиями. Широкая черная лента беглецов тянулась через оба моста и мимо мостов, прямо по льду. Возле самой реки взводной колонной стояла большая группа конницы. Котовский оглянулся, бригада подходила, командиры уже разворачивали лаву.

Сзади бригады раздался адский грохот. Не ожидая приказа, стремясь, повидимому, загладить досадный случай

со взрывом третьего орудия, Продан по мерзлой целине обводил карьером оставшиеся у него три орудия. Пушки с грохотом обогнали конницу, Котовский, сощурившись, наблюдал.

Когда батарея вылетела на открытое поле, бронепоезд застрекотал пулеметами. Шрапнелей над бригадой больше не было. Огонь шести блиндированных вагонов обрушился на артиллеристов.

Продан потерял фуражку, его иссиня-черные волосы трепались по ветру. Стоя на стременах, спиной к противнику, а лицом к скачущей за ним батарее, он, обнажив шашку, неся один, на отлете, далеко впереди, под свирепым свинцовым дождем, в грохоте лопающихся стальных стаканов. Командир увлекся немного, старый фейерверкер Наговечко в трехстах шагах от бронепоезда остановил батарею и стал окапывать орудия. Следом за батареей широкой лавой — шашки наголо — понеслись бойцы второго полка. И уже через несколько мгновений визгливый голос Продана прокричал первые слова команды:

— Кар-р-течь! Оче-е-редь! Батар-ре-я! Ог-о-нь!

Бронепоезд ударился было на-утек, но Продан очевидно подбил паровоз: блиндированные вагоны застыли на месте. Стреляло уже только одно орудие и несколько упорных пулеметов. Развернувшись редкой цепью, второй полк шел в атаку на стальные коробки. Первым эскадром командовал Свириденко. После проскуровского налета Котовский произвел пересортировку лошадей по мастям, в первом эскадроне были одни только гнедые кони. Свириденко стало жалко коней, — приказание командира бригады гнало его эскадрон на убий прямо под свинцовый дождь, льющийся из пулеметов.

Жалея коней, Свириденко стал тихонько и почти незаметно уводить эскадрон влево, стремясь обойти бронепоезд с фланга.

— Прямо держи! — крикнул ему случайно обернувшийся Криворучко. — Прямо держи, сукин сын, зачем юлишь!

Свириденко взмахнул шашкой в знак того, что он понял приказание, но все

же продолжал неуклонно отводить эскадрон от линии лобовой атаки.

Махнув рукой на бронепоезд, Котовский с первым полком стал спускаться в долину Збруча. Впереди всех карьером мчалась батарея, под прикрытием четырех пулеметов. Подходя вплотную к сплошному месиву из неприятельских повозок, людей и коней, Продан оборачивал орудия и стрелял картечью. За батареей вокачь мчались сорок станковых пулеметов. Они останавливались через каждые сто метров, выпускали ленту, оборачивались и — снова мчались вперед. И только за шеренгой пулеметов — шашки наголо — скакало двести пятьдесят бойцов первого полка.

Сзади, на гребне холма, второй полк заканчивал операцию с бронепоездом. Свириденко упрямо не хотел атаковать в лоб, в дело пришлось вмешаться Криворучко. Подскочив сбоку к своему эскадронному, командир полка ударил его плетнем шашкой по голове, и эскадронный кубарем скатился на землю.

— Эскадрон, — крикнул Криворучко, — слушай мою команду! Прямо, к бронепоезду! У-р-р-а!

В блиндированных вагонах нашли трех застрелившихся офицеров и незначительную часть команды: все остальные разбежались после первой же карточки Продана. Захватив бронепоезд, второй полк стал спускаться в ложбину, обходя Волочиск слева. Оглушенного Свириденко подобрала санитарная двуколка, Криворучко даже не оглянулся и не поинтересовался, что с ним.

На переправах через Збруч был адкромешный. Кавбригада есаула Яковлева врубилась в свой собственный обоз и оружием пробивала себе дорогу через лед. Петлюровская артиллерия неслась вскачь по шоссе, ломая деникинские повозки, топча ногами обмятых паникой обозных. Несколько тысяч обезумевших от ужаса людей, готовых на все, лишь бы прорваться на польский берег, билась на берегу Збруча в истерической свалке. Слева раздавалось громовое «ура», Криворучко очевидно вступил в рукопашную схватку с противником.

Багровое солнце спустилось к западу. В толпе потерявших голову белогвардейцев замелькали алые брюки котовцев. Расталкивая грудью своего коня беглецов, Криворучко выскочил наконец на мост, кованые копыта Копчика застучали по деревянному настилу. Вслед за командиром полка на громадном вороном жеребце скакала знаменосец, над головой беснующейся толпы развевался краснознаменный, алый с золотом, штандарт бригады. Выскочив на польскую сторону, Криворучко повернулся лицом к противнику, скрестив руки на груди и всунув шашку подмышку:

— А ну, — сказал он, слегка запыхавшись, — заворачивай обратно, — долго еще тут мне за вами гоняться?

Какие-то люди в офицерских погонах прыгали прямо на лед, в пролеты моста. Лед был тонкий, люди проваливались, плыли, тонули, хватаясь за льдины. На мосту бойцы рубили тех, кто пытался оказывать сопротивление.

К командиру полка подошел польский офицер. Рука его дрожала у посеребренного козырька, отчетливо стучали зубы.

— Проше, пане пулковник! — пробормотал он подобострастно. — Прошу пана до дому! Здесь есть польская территория!

— А почему я знаю, что это польская территория, — огрызнулся Криворучко. — Я, видишь, пан, воюю, мне некогда тут территориями заниматься.

Польский офицер указал стэком на столб за мостом. В столб была воткнута пика, на пике болтался пестрый уланский значок с черным польским государственным гербом.

— А-а! — пробормотал Криворучко сокрушенно. — Это, значит, и есть ваше знамя. Ну, что ж, айда, братва, до дому.

И, выталкивая на советскую сторону сгрудившуюся на мосту человеческую массу, котовцы шагом двинулись обратно.

На станции в это время хозяйничал Котовский с первым полком. Пути и тупики были туго набиты вагонами, ва-

гоны ломались от продовольствия, оружия, снаряжения и всяческого добра. Двигаясь шагом между путями, где только-что раздавались одинокие выстрелы отдельных белых храбрецов, штабные под'ехали к составу из бывших царских вагонов. Котовский спешился и, вынув маузер из кобуры, поднялся в салон. В столовой был сервирован роскошный обед, суп разлит по тарелкам, над изящной фарфоровой миской еще клубился редкий пар. Петлюра, повидимому, успел закусить, но как только был разлит суп, ему пришлось поспешно спастись бегством.

В вагонах правительственного поезда был страшный беспорядок: валялись раскрытые чемоданы, разбросанные вещи, обувь, оружие. Повидимому, последнему правительству Украинской народной республики пришлось основательно поспешить. Усмехаясь, Котовский прошел состав из конца в конец. Комиссар и начальник штаба аккуратно складывали в пустой чемодан бумаги, брошюры, переписку.

Возле самого моста, повидимому, произошло крушение. Товарный паровоз врезался в большой, груженный артиллерийским снаряжением эшелон. Несколько вагонов было разбито. Из покосившихся ящиков высыпались на мерзлую землю большие буханки белого хлеба.

У одного из разбитых вагонов, у груды щепок и железного лома, нас окликнул человек. Человек этот был в форме железнодорожника, он стоял, перевязанный пулеметной лентой, и крепко держал в руках винтовку с примкнутым штыком. Рядом лежал другой железнодорожник, навзничь, с изуродованным, окровавленным лицом. Он был мертв.

Штабные спешили. Станный часовой не двинулся с места. Он только еще крепче сжал винтовку и снова окликнул пришедших.

— Кто идет?

— А ты что за человек? Я — Котовский.

— Машинист Кулябко, охраняю рабоче-крестьянское имущество!

Машинист Кулябко рассказал котовцам замечательную историю. Труп, который лежал возле него, был трупом кочегара Ковальчука. Кулябко и Ковальчук своим паровозом вызвали крушение и прекратили эвакуацию белых эшелонов. В течение последних десяти дней все железнодорожники волочискского узла работали под угрозой оружия, многие из них были расстреляны за саботаж. Когда произошло крушение, сечевики убили кочегара Ковальчука, машинист Кулябко, оцарапанный пулей, успел спрятаться между вагонами. Паника в этот момент была так велика, что петлюровцы не стали его разыскивать. Услышав первые звуки атаки, Кулябко вылез из своего убежища и, взяв винтовку, стал охранять разбитый эшелон. В связи с военными действиями в местечке был жестокий голод, — Кулябко боялся, что население растащит то, что, по его мнению, принадлежало только Красной армии, государству.

— Что же теперь государство должно сделать для тебя? — спросил Котовский. — Ты ведь герой, товарищ Кулябко. Ты понимаешь это?

Машинист попросил буханку хлеба для семьи и последнюю советскую газету, которую комиссар тут же достал из полевой сумки. Потом, спросив разрешения захватить с собой винтовку, он вытер нос рукавом и, махнув фуражкой, пошел между вагонами к себе в поселок, домой, к семье.

Кочегара Ковальчука на другой день хоронили вместе с убитыми котовцами в братской могиле. Комиссар бригады приказал обернуть его труп в алое знамя.

Штабные под'ехали к самому Збручу. На той стороне поляки разоружали белых. Котовский взял бинокль. Возле станции, в тупике, стоял роскошный поезд в составе нескольких спальных вагонов. Несколько десятков важных генералов с биноклями в руках оживленно переговаривались, обозревая поле битвы. Это были военные атташе европейских государств.

Европа в бинокль наблюдала конец Петлюры.

Выставив сторожевое охранение, бригада расположилась на ночлег. Справа к Збручу подходили части червоного казачества, телеграфисты упорно работали над восстановлением потерянной связи с дивизией.

Ночью по реке зажгли костры. Патрульный польский офицер перешел на нашу сторону через мост и присел к костру потолковать с красноармейцами. Два месяца назад поляки еще воевали с котовцами, сейчас с поляками был мир. Польский офицер пригласил на свою сторону взводного Симонова. Симонову интересно было побывать за границей, он пошел. В залитом электричеством буфете галицийского вокзала взводный Симонов выпил за стойкой рюмку коньяку и закусил сардинкой. Кругом стойки образовалась пустота, по углам буфета теснились любопытные, со всех сторон сбежались люди — вольные и военные — для того, чтобы рассмотреть поближе страшного котовца.

— Где ты шатался? — спросил взводного, когда он вернулся обратно к костру, дежурный по бригаде эскадронный командир Вальдман.

— Да за границей, в гостях, — ответил Симонов небрежно.

Дежурный на всякий случай вlepил ему десять суток при исполнении служебных обязанностей, но рапорта обещал не писать.

Ночью к заставе польский патрульный привел трех важных офицеров. Это были поляки, штабные, они хотели переговорить с Котовским.

Штабных посадили на тачанку и отвезли в город. В столовой большого панского дома, за белоснежной скатертью, Котовский и его штаб закусывали котлетами с капустой. Один из польских офицеров вынул бутылку коньяку из кармана, осторожный Криворучко прежде всего налил гостям, подождал, пока они выпили, и лишь потом пригубил свою рюмку.

Мучительно подбирая интеллигентные слова, Криворучко вел с польскими офицерами светский разговор, Котовский смеялся и говорил почему-то о... польской литературе.

Офицеры рассказали, что около десятка военных атташе все время наблюдали за боем, что тактика Котовского разрушает все то, что до сих пор было известно о тактике конницы, что наблюдением военных атташе за волачискской операцией будет обогащена военная литература.

Один из польских офицеров, кавалерист, спросил задумчиво:

— Никак я не могу понять, почему бригада есаула Яковлева не оказала вам сопротивления. Ведь они же были в состоянии прикрыть эвакуацию по крайней мере в течение нескольких часов?

— Это вас об этом нужно спросить, — ответил, хитро сощурившись, Котовский. — Ведь вы же Яковлева вооружали, инструктировали, вы же его послали к нам!

В бригаде есаула Яковлева, как узнали котовцы, было полторы тысячи сабель. Котовский же в момент прихода гостей засунул в карман гимнастерки рапортчку, в которой было написано, что у него в строю — четыреста шестьдесят бойцов. Польские гости, попрощавшись, уехали, выпросив на дорогу мешок сахара.

Гостей провожали адъютант Котовского и дежурный по бригаде Вальдман. Гости страшно развеселились, мешок с сахаром они положили себе в ноги.

Уже у самой заставы польский кавалерист, притворившись пьяным, спросил:

— Сколько же сабель было в сегодняшнем бою?

— Три тысячи, — соврал Вальдман, не моргнув глазом.

Польские офицеры громко расхохотались.

Ночью пришел приказ из дивизии — отступить на пятнадцать километров, создав между фронтом красных и поляками демаркационную полосу. Котовский отошел, уводя сотни груженных вагонов, два десятка паровозов, бронепоезд, тысячи пленных и тысячи подвод, груженных разным добром.

3. Романтика

Котовцы отдыхали после боя. Ночью выпал снег. Он лег ровной пеленой на

мерзлую землю, укрыв белым саваном перевернутые орудия, разбитые повозки, трупы людей и лошадей, разбросанные там и сям в долине Эбруча. Фантастическими пугалами, воздвигнутыми неведомыми ребятишками, выглядели под снежным покровом угрюмые остатки вчерашнего боя. Ярко светило морозное солнце, улыбались и зубоскалили девушки, жизнь была прекрасной, как всегда.

Улицы села были забиты трофеями — орудиями, зарядными ящиками, двукорками и арбами. Веселье каптенармусы, занятые на инвентаризации, ходили между повозками с записными книжками в руках, вскрывая и перекаладывая ящики, подсчитывая бочки. Бойцы, умытые и повеселевшие, в новеньких английских шинелях, мирно покуривали, сидя на крылечке.

На площади, у коновязи, вахмистр Митрюк менял у батарейцев новенькую двукорку на рыжего жеребца. Торгующиеся стороны шумели и спорили, расходились и сходились снова. Кругом тесным кольцом стояли бойцы, издеваясь и над вахмистром, и над артиллеристами, — это еще больше разжигало страсти. Молодой комбат Продан, подойдя на шум, разогнал торг; он был угрюм, все еще не мог притти в себя после гибели командира.

В штабной комнате трое лежали на постелях, наслаждаясь покоем: командир, комиссар и адъютант — весь полевой штаб. Бывший штабс-капитан Садаклий еще из Волочиска отправился в тыл с личным докладом о ликвидации Петлюры, о победе.

Адъютант курил английскую сигарету, упиваясь душистым дымом. Так как остальные не курили, адъютанту разрешалось зажигать не более одной папиросы в час, поэтому он старался уж надымить во-всю.

— Удивительно подло ты куришь, — говорил ему обычно командир, — прямо фугас, а не человек. Назло, что ли? Тебе и курить-то, небось, не хочется?

Покой в штабной комнате был однако же внезапно нарушен. Дежурный по бригаде ввел в комнату женщину с грудным младенцем. Женщина была в

дорогой меховой шубе, в кремовом кружевном платке. Тонкие ее пальцы были в изобилии покрыты перстнями. Это была женщина из потустороннего мира, и командир бригады, неуловимым движением пхнув под постель грязную портянку, тотчас же сел на кровать. Женщина с грудным младенцем на руках тоже уселась. Козырнув, дежурный по бригаде на цыпочках вышел вон.

Командиры в абсолютном безмолвии разглядывали женщину. Она тоже молчала.

Командир бригады, как всегда, когда он смущался, потянул себя за нос и довольно нерешительным тоном нарушил молчание:

— Что вам угодно, сударыня?

Женщина подняла на него большие, измученные глаза со слегка подведенными ресницами. Лицо ее было необычайно красиво, несмотря на обилие косметики, уложенной впрочем с большим вкусом. Она заговорила очень тихим голосом, как будто выдавливая из себя каждое слово.

— Я просила вас о себе доложить, генерал... Вы ведь — Котовский, не правда ли? Я — ваша пленная... Я — жена брата главнокомандующего украинской народной армией, Омельяновича-Павленко...

— Я вас слушаю, — перебил ее Котовский, сдвинув брови.

— Я — ваша пленная, — продолжала женщина, — но вряд ли у вас есть необходимость... меня задерживать... Даже между врагами существуют определенные законы чести... Я прошу вас отпустить меня вместе с ребенком и няней через демаркационную линию к моему мужу!.. Я знаю своего мужа... Я убеждена, что он в аналогичных обстоятельствах не стал бы задерживать вашей жены или жены вашего брата!..

Котовский молчал. То, что говорила женщина, было страшно. Суровые люди, сидевшие перед ней в комнате, в боях не знали пощады, не ведали нелепых сентиментальных заблуждений. Но сейчас, после боя, они были обыкновенными людьми очень большой революции, и человеческие чувства были им стнюдь не чужды.

То, что говорила женщина, было страшно потому, что брата главнокомандующего украинской народной армией, генерала Омеляновича-Павленко младшего, уже не существовало в живых. Когда авангард второго полка выскочил на волочисский мост, бойцы Котовского увидели, как высокий юноша в синем жупане, опущенном серым каракулем, с огненно-красным оселедцем на серой же папаше, размахивая шашкой, пытался навести какой-то порядок в обезумевшем от ужаса человеческом месиве. Богатейшее золото его вооружения сразу же выдавало высокую должность, которую он очевидно занимал во вражеской армии. Взводный Небененко, затоптав нескольких человек, прорвался к петлюровскому командиру и ударил его шашкой плашмя по спине. Лошадь петлюровца споткнулась, он перелетел через ее шею и упал на деревянный настил моста. Тогда Небененко тотчас же соскочил с коня и схватил врага за ногу. Но было уже поздно.

Скользнув сквозь пролеты парашюта, петлюровский командир, изогнувшись рыбкой, выбросился на лед. Подхватив шашку, Небененко мгновенно спрыгнул за ним: не такой был у взводного характер, чтобы упустить изумительное, окованное золотом кавказское оружие.

Так они бежали по льду несколько шагов. Чувствуя, что его настигают, петлюровец выхватил из заднего кармана брюк никелированный браунинг и, не оборачиваясь, выстрелил себе в висок.

В результате этого инцидента в донесении о победе, которое усатый Садаклий отвез накануне в штаб дивизии, фигурировал и следующий пункт:

«... Что касается брата главнокомандующего так называемой украинской народной армией, генерала Омеляновича-Павленко (младшего), то он, спасаясь от преследовавших его по льду Эбруча бойцов, застрелился в десяти шагах от польского берега. Найденные на нем документы, а также шифр второго отделения польского генштаба одновременно с сим препровождаются».

Омелянович-Павленко был счастливым. Бездельный юнкер, он в течение

нескольких месяцев сделал головокружительную карьеру: от ординарца командира корпуса сечевых стрельцов атамана Коновальца — до командира корпуса «синих жупанов». В последней петлюровской интервенции он, любимец Петлюры, фигурировал уже в штабе главнокомандующего, при брате. Погиб он едва ли тридцати лет отроду.

Котовский, насулив брови, обдумывал. Потом он спросил вдруг, как будто бы это имело какое-либо отношение к вопросу:

— Вы давно замужем?

Мы услышали обыкновенную повесть о женской жизни, закрученной вихрем Октября, гражданской войны. Петербург, Смольный институт; отец — камергер, мать — фрейлина. Война, Октябрь, большевики. Родители неизвестно где, родные разбежались. Молоденькая институтка пробирается через четыре фронта в родовое имение под Черниговом, потому что туда еще не добрались большевики, потому что там — кажущийся покой, детские воспоминания о старом фольварке, о тихом пруде, о тенистой липовой аллее. Но фольварк сожжен, родня разбежалась, в фольварке пирует пьяная петлюровская орда. Среди странных военных людей, ничем не напоминающих тех, которых ей до сих пор приходилось видеть на балном паркете, в звоне шпор, в сиянии золотых гвардейских вензелей, институтка различает одного, самого красивого, самого трезвого и конечно самого храброго. Утомленная путешественница находит покой в объятиях ординарца атамана Коновальца. Все остальное известно.

Котовский молчал, молчали и другие. Перед глазами командиров в рассказе пленницы прошла вся история разгромленного класса, его поражения и позора. В суровую семью революционных бойцов эта чужая женщина пришла с нелепым требованием, навеянным ее большой фантазией, институтом, чтением романов, романтикой фальсифицированной истории аристократических родов.

— Ну, хорошо, — сказал Котовский, — но почему же этот самый ваш

муж бросил вас, молодую и... — тут Котовский хотел сказать «красивую», но потерхнулся этим словом, — молодую и... с грудным ребенком на руках женщину... на произвол судьбы?

— Мой муж — солдат, — ответила женщина очень уверенно. — Он должен был до последнего момента спасти честь украинской армии! А я... я оставалась в обозе с нянькой... Ну, меня-и захватили вместе с другими...

— Как с вами обращаются? — спросил поспешно комиссар.

— Благодарю вас, — сказала женщина, неожиданно улыбнувшись. — Обращаются с нами хорошо. Да я иного и не ожидала от солдат Котовского, хотя много слышалась про них страшных рассказов... Но я вообще слышала про Котовского и другое... Ну, про старое... еще до революции...

Комиссар хотел, кажется, задать еще один вопрос, но тут неожиданно встал во весь рост Котовский, тяжело ступив на крашенный пол босыми пятками. Женщина схватилась, испуганно подняв плечи.

— Ваш муж — мальчишка, — сказал Котовский, — и бросьте эти глупости про честь украинской армии. Армия ваша — сброд! А у меня слишком много дела, чтобы заниматься еще вдобавок и экспортом жен бандитских атаманов!

Ауденция, казалось, была закончена. Но тут случилось неожиданное: заплакал ребенок, и мать заплакала тоже, уткнувшись в пеленки.

Существовала одна вещь на свете, которой суровый характер Котовского не выдерживал. Это — детский или женский плач. Снова в штабной комнате воцарилось молчание, прерываемое только заглушенным плачем. Адютант, опустив голову, чистил спичкой ногти, комиссар что-то внимательно разглядывал в окне.

Котовский опешил. Схватившись за нос, он прошелся несколько раз по комнате, шлепая босыми ногами. Затем он остановился против плачущей женщины и обратился к ней голосом, который он старался сделать как можно ласковей:

— Но в общем вы не волнуйтесь. Мы здесь обсудим это дело, а вы пока

идите. Идите же, будет плакать. У вас еще вся жизнь впереди!

Как из-под земли, появился дежурный по бригаде. Очевидно он все время стоял за дверью и слушал. С тяжело-весной грацией человека, не привыкшего обращаться с женщинами, он подхватил плачущую об руку и почти вынес ее из комнаты.

— Полегче, жлоб! — буркнул ему вдогонку Котовский.



Пленные женщины содержались в здании прогимназии. Их обслуживали сестры и санитарки полковых лазаретов. На карауле стояли удалыцы из личной охраны Котовского. Хотя котовеццы никогда не «баловались» с пленными женщинами, но все-таки это был фронт, — мало ли что могло случиться, а честь бригады Котовский оберегал, как зеницу ока. Своей же личной охране он доверял абсолютно. Личная охрана Котовского почти поголовно состояла из многолетних спутников его бурной жизни, в бригаде этих бойцов называли «вольноопределяющимися», потому что они не становились в строй, хотя и числились рядовыми бойцами в списках того или иного эскадрона. «Вольноопределяющиеся» были замечательно подобранными бойцами-одиночками, в сражениях они рубились, как звери, в первых рядах, стараясь не отставать от Котовского. В случае нужды, они использовались командиром также и в качестве ответственных ординарцев, передающих на словах важнейшие оперативные поручения.

Пленных женщин в школе было больше сотни, из них — очень немногие с детьми. Имущество пленниц было собрано во дворе: старинные фаэтоны, попавшие сюда, к польской границе, из далеких поместий, брички, тачанки, щегольские ландо и простые деревенские повозки. Повозки были загромождены подушками, матрацами, корзинками и тюками, словом, теми предметами, по которым безошибочно можно среди дедового обоза солдатских вещей опознать женский багаж. За истекшие сутки

пленницы уже несколько освоились со своим положением: на веревках сушилось пестрое женское тряпье, в кухне школы стоял кастрюльный чад.

Соскочив с коня и бросив ординарцу поводья, ад'ютант направился к прогимназии. Дежурный «вольноопределяющийся» у входа, пожав ему руку, молча посторонился и ехидно бросил след:

— Что, выбирать пришел?

Ад'ютант в ответ только оскалил зубы и, толкнув внутреннюю дверь, вошел в широкий, светлый коридор. Старшая сестра лазарета как-раз производила перепись. Женщины толпились вокруг крошечного столика, на котором сестра под их диктовку заполняла несложную анкету. Молоденькая санитарка Маруся, по кличке «Маруся с дырочкой», увидев ад'ютанта, подмигнула ему и громко крикнула:

— Встать, смирно!

Галдеж вокруг стола старшей сестры мгновенно прекратился, пленные женщины замерли на месте.

Марусю так странно прозвали в результате происшедшего с ней за несколько месяцев до этого траги-комического инцидента. Еще во время боев с поляками, под Кременцом, в монастырском фруктовом саду Маруся, забравшись на дерево, стряхивала яблоки. Сорвавшись, она упала на землю, лицом на торчащий из земли острый пенек. Рана вскоре зажила, но у Маруси посреди щеки образовалась аккуратная, круглая едва ли не сквозная дырка. Рана зажила так чисто, что из'ян этот на румянном Марусином лице казался врожденным. Вот и стала она — «Маруся с дырочкой».

Ад'ютант, позвав за собой сестру, прошел мимо расступившихся женщин в кабинет старшего врача. Плотнo заперев за собою дверь, он заговорил вполголоса:

— У вас тут должна быть жена петлюровского генерала, черненькая такая, с грудным ребятенком. Знаешь?

Сестра усмехнулась.

— Как же не знать, молоденькая девчонка, хорошенькая такая. То-то вы больно интересуетесь ею: то в штаб во-

дили, то ты сам прискакал; так тебя в лазарет и на веревке, небось, не прищипишь!

Сестра многозначительно погрозила ад'ютанту пальцем. Ад'ютант же хмурился, изо всех сил стараясь не улыбнуться.

— Ну, ладно, — сказал он. — Глуposti потом... Так вот насчет этой женщины командир приказал: если ей что нужно будет — удрветворять! В крайнем случае запрашивайте меня или комиссара. Теперь дальше: дайте отдельную комнату!

— Да я и так уж дала: ребенок чего-то болен. Жаль ее, бедняжку, такая молодая, а сколько горя натерпелась. Муж-го ведь убит. Она, небось, ничего не знает?

— Так вот и насчет этого, — вспомнил ад'ютант. — Командир приказал изолировать ее так, чтобы она об этом ничего не узнала. Под твою личную ответственность! Поняла? А где она, кстати, эта самая «генеральша»?

Она снова вышла в коридор и открыли дверь комнаты. На двери красовалась надпись: «Учительская». В комнате стоял большой стол, накрытый зеленой скатертью, два книжных шкафа, этажерка с какими-то папками. Ад'ютант забыл постучаться, женщина как-раз кормила ребенка грудью. Увидев вошедших, она смутилась и накрылась с головой тем же самым, уже знакомым ад'ютанту, кремовым кружевным шарфом. В стороне, у окна, окаменела — руки по швам — нянька.

— Я на вас не гляжу, — сказал ад'ютант. — У вас болен ребенок? Сейчас вам пришлют врача. Если что-нибудь нужно будет, обращайтесь к старшей сестре. А насчет своего дела не беспокойтесь. Мы запросили дивизию, — соврал ад'ютант неожиданно и, круто повернувшись на каблуках, вышел вон.

Проходя мимо двери, он заметил, что небольшой столик на тонких ножках, на котором вероятно во время заседания педагогического совета стоял графин с водой, — на выцветшем от времени сукне образовался вдавленный темный круг, — уже приспособлен под туалет.

Вокруг небольшого зеркала были расставлены духи, пудра, шпильки и прочая женская дребедень. К стене, над столиком, английской булавкой была приколота фотография молодого, чернобрового военного, в котором адъютант мгновенно опознал злополучного петлюровского генерала, труп которого он обыскивал вчера на льду Збруча. Адъютант пошел по коридору так быстро, что старшая сестра едва поспевала за ним. Уже входя в лазарет, он поймал себя на мысли, что присутствие портрета на стене было ему неприятно.

Не замедляя шага, он прошел по большой классной комнате, приспособленной под хирургическое отделение. В спешке, последовавшей за боем, пленные были уложены на койках, вплережку с котовцами. Часовых не было.

На крайней койке он опознал раненного шашкой в голову петлюровского пулеметчика. Пулеметчик лежал, перевязанный так плотно, что из-под бинтов виднелись только глаза и нос, но эти глаза он узнал бы среди тысячи других. Пулеметчик этот был единственным неприятельским солдатом, оказавшим серьезное сопротивление вчера на мосту. Из последних сил он наводил по наступающей коннице свой пулемет и прекратил огонь только тогда, когда свалился внутрь тачанки, сшибленный шашкой адъютанта.

— Что, поправляется? — вполголоса спросил он у сестры.

— Да, если сотрясения мозга не будет, через неделю встанет! А что такое?

— Да ничего, — сказал адъютант задумчиво. — Лихой парень; если не сволочь, заберем в первый полк, там вчера много номеров выбыло.

В сенях, у выхода, адъютанта догнала «Маруся с дырочкой».

— Что, скоро баб от нас заберете? — спросила она. — Надоели до смерти: галдеж, ссоры. Делать ничего не хотят, возимся с ними, а тут и без этого с ранеными с ног сбились!

— Заберем, заберем. Завтра, послезавтра, проверим и отпустим на все четыре стороны, пусть катятся...

— Да вы их разделили бы по полкам да позабирали бы замуж?

— Тут от одной тебя шуму сколько, а ты нам хочешь еще сто баб на плечи взвалить! Шутить, детка...

И, вскочив в седло, адъютант поехал обратно в штаб. Проезжая под окном, которое, по всем данным, было окном пленной «генеральши», он совершенно инстинктивно подобрал поводья, и вороной конь под ним заиграл. В окне было знакомое лицо, и, увидев его, адъютант тотчас же отвернулся.

Он ехал шагом по мощеной улице полуразрушенного местечка. Вчера здесь еще была война, и люди прятались по подвалам или за закрытыми ставнями. Сегодня улицы были полны народу, — в эти годы самая возможность безопасно дышать воздухом казалась праздником. Встречные, глянув на богатую серебряную насечку адъютантского оружия, на всякий случай ломали шапки. Вороной конь шел широким, размашистым шагом хорошо выезженной кавалерийской лошади. Небо попрежнему было ясно, воздух — морозен, чист и приятен.

У заколоченной казенной винной лавки стоял на часах «вольнопределяющийся» с обнаженной шашкой. Во внешности часового не было ничего замечательного, но адъютант сразу же по глазам определил, что «вольнопределяющийся» навеселе, и тотчас же придержал коня.

— Ты что, пулю в лоб захотел? — спросил он вполголоса, нагнувшись с седла.

— Да нет, — ответил часовой поспешно. — Я — ничего... чуть-чуть, да и сейчас сменяюсь.

Мимо сахарного завода адъютант свернул к штабу, в узкую деревенскую улочку. Он опустил поводья и лениво покачивался в седле, задумавшись о странной судьбе женщины в гражданской войне.

Украина воевала фактически уже свыше трех лет. Быт мирного населения теснейшим образом был увязан с поло-

жением на фронтах. Почти все способные носить оружие мужчины дрались под знаменами самых разнообразных цветов: красными, желто-блакитными, зелеными, оранжевыми и черными. В деревнях, городах и местечках почти прекратились браки. Вся Украина жила как бы на бивуаке.

Приходили и уходили полки и банды, населенные пункты еженедельно попадали под случайный перекрестный огонь, на больших дорогах грабили и убивали дезертиры и мародеры. Выбитые войной из житейской колеи девушки деревень и городов не имели другого выхода из создавшегося положения, как присоединяться к какому-нибудь проходящему отряду. Страх, нежелание бесцельно истратить молодость, отсиживаясь в подвале от шальных пуль, заставлял их бросаться в объятия первого встречного вояки. Учиться все равно нельзя было, промышленность стояла, работы не было никакой, даже на поле выходить было опасно.

Жительницы мещанских домиков, гимназистки, старые офицерские жены, крестьянки и поповны таскались за войной по шоссе и проселкам, теряя одних мужей и находя других, переходя от красного командира к петлюровцу, от махновца к бандиту какого-нибудь другого цвета. Старые и молодые, красавицы и уроды, они плелись в хвосте войны со своими подушками, тюками и корзинками, очень немногие — с детьми, потому что дети рождались редко, а родившись, не выживали.

Лишь в бригаде Котовского было несколько иное положение. Самый стиль тактики Котовского был против военных браков: бойцы неделями не видали своих обозов, и поэтому для того, чтобы женщина таскалась за своим мужем, нужно было нечто большее, чем мимолетная связь. У этих немногих котовцев жены были «настоящие».

Командир первого полка похитил свою жену из местечка Шепетовка, где он взял ее в семье мелкого служащего, поляка. По предварительному оговору с невестой он подехал ночью к дому, вытаскивал ее из окна, закутал в просты-

ню и ускакал, держа невесту поперек седла.

Командир второго эскадрона первого полка в одном из боев потерял жену: она осталась в каком-то селе, захваченном двумя батальонами польской пехоты. Котовский отказал в посылке эскадрона для того, чтобы выручить жену командира, считая эту операцию безумной. Тогда расстроенный муж навербовал пятнадцать добровольцев, главным образом из числа «вольноопределяющихся», и совершил налет на деревню, занятую поляками. Горсточка храбрецов в течение получаса вела бессмысленный бой с двумя батальонами пехоты, трое из смельчаков были убиты, поляков вырубали и постреляли больше сотни и вообще выбили противника из деревни, но жену командира все же выручили и доставили в бригаду. Котовский сначала решил расстрелять эскадронного за эту проделку, стоившую трех человеческих жизней, но потом рассудил, что бой, в сущности, был очень красивый. Поэтому он ограничился тем, что разжаловал его в рядовые.

Были и женщины, вошедшие в историю бригады самостоятельно, помимо своих мужей. Такой была Шурочка, сестра милосердия, впоследствии награжденная орденом Красного знамени. Такой была и «Маруся с дырочкой», и две, три других. Но в общем женщин в бригаде, сравнительно с другими частями, было мало, да и вообще для того, чтобы жениться бойцу или командиру, нужно было получить личное разрешение Котовского, а такие разрешения он выдавал только за выдающиеся боевые заслуги. Быт бойцов Котовского был суров и аскетичен, да и не до того было, чтобы обзаводиться женами: переходы, бои и снова переходы и бои, иногда даже несколько боев в день. Точно также не могло быть ни измен, ни ревности, — совсем иное было у людей в голове. Да и стоило ли думать о таких вещах, когда ни жена, ни муж не знали, будут ли они завтра живы. Браки в бригаде Котовского обрывались только смертью в бою, они были продолжительны и постоянны, в основе их всегда лежала большая любовь.

Когда адъютант вернулся в штабную комнату, спор о судьбе «генеральши» был в полном разгаре. Комиссар, полулежа на кровати, излагал свою точку зрения.

— Мы не имеем права отпустить ее без разрешения центра, а центр конечно этой глупой мелодрамы не разрешит. Да и, кроме прочего, муж-то ведь убит? К чему же тогда канитель разводиться?

— Какое дело нам до ее чувств, — огрызнулся Котовский, — муж убит, но труп поляки перетащили к себе, если сегодня она поедет, может попасть на похороны. Затем, при чем здесь дивизия, да и на чорта нам сдалась эта баба?

Адъютант тоже вставил свое слово:

— Пусть тогда сам комиссар ее вызовет и объявит ей о смерти мужа. Хотел бы я посмотреть на него в этот момент, — небось, сам слюни распустит!

Комиссар рассердился. Было совершенно очевидно, что он лишь формально поддерживал свою точку зрения, а в действительности определенного мнения по этому вопросу не имел.

— Ты не валяй дурака, — рассвирепел он. — Тут не до шуток, дело серьезное и, если даже хочешь, политическое дело.

— Не знаю, в каком ты там месте политику нашел, — пробормотал Котовский и начал ходить из угла в угол, подняв кверху сморщенный нос.

— Романтика, глупая романтика, — сердился комиссар. — И рассуждаете вы не как большевики, а как гимназисты.

— Ну, хорошо, — спросил вдруг Котовский, остановившись посреди комнаты, — ты скажи толком: возражаешь ты или нет? И потом знаешь ли, насчет романтики... Ты, брат, еще молодой, не обстрелянный и потому чушь городишь. А я вот считаю, что война без романтики — это зверство, да и революция, пожалуй, не может быть без романтики!

Комиссар окончательно рассердился. Он вскочил с постели и стал, сердито сопя, натягивать сапоги.

— Я не возражаю, — сказал он. — Делай, как знаешь. Ничего в общем страшного нет, но все-таки я думаю, что вы политически не обстреляны. И дело тут не столько в романтике, сколько в совершенно излишней сентиментальности!

После этого комиссар вышел вон и хлопнул дверью так, что задребезжали стекла. Котовский же сел к столу писать письмо. Писал он так:

«Ко всем рабочим и крестьянам, ко всем солдатам и офицерам петлюровской и белогвардейской армии! Я, Котовский, настоящим довожу до вашего сведения, что те из вас, которые в прошлом не имеют серьезных контрреволюционных преступлений против рабоче-крестьянского государства, могут оставить свои заблуждения и явиться в расположение вверенной мне части. Именем и честью своей отвечаю, что всем добровольно явившимся жизнь будет сохранена. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Генеральше» это письмо было вручено, она обещала передать его своему мужу или кому-нибудь другому, хотя, прочтя манифест Котовского, и покачала недоверчиво головой. В первые минуты после того, как командир бригады объявил ей о своем решении, она даже как-то не поверила в свое счастье. Потом конечно заплакала, посмеялась и снова заплакала. Суровые бойцы Котовского, стиснув зубы, наблюдали за смеющейся женщиной, которая ехала к мертвому мужу, думая застать его живым. После длительного совещания решено было не открывать ей истины, тем более, что никто не решился взять на себя эту тяжелую обязанность.

Расщедрившийся командир бригады подарил пленной «генеральше» желтую бричку и двух лошадей. «Генеральша», нянька и ребенок уселись. Адъютант сел на козлы, привязав сзади брички своего вороного коня. Пленницу решено было конвоировать до польской границы.

Котовский вышел на крыльцо, — проводить уезжающих, — комиссар же демонстративно ушел куда-то гулять.

— Ну, если не поиравится там, возвращайтесь к нам, — сказал он много-

значительно. — Письмо мое не забудьте передать.

Бричка тронулась. Ад'ютант правил лошадьми плохо, но старался по возможности скрыть это от пассажирки. Он сосредоточенно молчал, отклоняя все ее попытки разговаривать с ним.

Уже в черте демаркационной линии бричку остановили какие-то вооруженные люди. Их было трое. Внешность их не предвещала ничего доброго. Переодетые ли польские разведчики, бандиты ли, дезертиры ли, или просто мародеры, постоянно болтающиеся между фронтом и тылом, — неизвестно.

«Генеральша» испуганно прижала ребенка к груди, нянька на всякий случай пустила слезу.

Вооруженные люди хотели произвести обыск. Жена петлюровского генерала уже начала осторожно, под одеялом, в котором был закутан ребенок, стягивать с пальцев кольца: она решила, по видимому, добровольно откупиться от грабителей.

Но ад'ютант хорошо знал, что вид золота может только разжечь бандитские аппетиты. Нужно было спасти положение и как можно скорее, потому что малейшая оплошность могла закончиться трагически. Он соскочил на землю, и трое грабителей молча окружили его. Тогда ад'ютант быстро сказал «генеральше» по-французски:

— Сидите смиренно. Ничего не предпринимайте. Если меня убьют, гоните во-всю лошадей, до границы не больше километра. А они тут со мной еще повоюют.

Держа правую руку на деревянной кобуре маузера и медленно отходя к краю дороги — так, чтобы иметь за спиной толстый ствол старого бука, — ад'ютант левой рукой протянул бандитам пропуск. Внизу пропуска красным карандашом, большими буквами, было подписано страшное имя Котовского.

— Знаете эту подпись? — спросил ад'ютант спокойно. — Если вы тронете меня, Котовский вас и на том свете найдет. Все равно не сносить вам головы!

И, почувствовав спиной шероховатую поверхность бука, ад'ютант осторожно открыл кобуру и взялся за маузер.

Бандиты переглянулись и стали отходить, пятясь задом, скаля зубы, как псы. Добыча была очень заманчивой, да и вороной конь был неплох, но с котовцами шутить было опасно. Грабителей было всего трое, а человек, который с ними разговаривал, по видимому, собирался сопротивляться до последнего патрона.

Быстро пройдя к бричке, ад'ютант отвязал лошадь и вскочил в седло. На коне он все-таки чувствовал себя уверенней. Нянька же взяла вожжи в руки, и бричка тихонько покатила по широкому шоссе. Ад'ютант остался на месте, подобрал коня, держа вынутый уже из кабуры маузер в поднятой руке.

Когда бричка исчезла из виду, скрывшись за поворотом дороги, ад'ютант поскакал вслед за ней. Он ожидал последствий, но ни один выстрел не раздался за его спиной: бандиты основательно перетрусили.

— Скажите, пожалуйста, — сказала «генеральша», — где вы научились говорить по-французски?

Этого вопроса он не ожидал, и меньше всего ему хотелось на него отвечать. Ни за какие блага мира он не допустил бы, чтобы эта женщина хотя бы на минуту сочла его «своим» человеком.

— Я плавал юнгой на французском корабле, — соврал он так неожиданно и вдохновенно, что даже сам удивился своей сообразительности.

Когда показался мост и польская застава, ад'ютант обнажил шашку, нацепив на острие клинка носовой платок. Бричка остановилась, к ней бежало двое польских солдат с винтовками наперевес.

Не сходя с коня, он протянул польскому сержанту документ, в котором Котовский сообщал, что он передает пленную жену петлюровского генерала польскому командованию.

Бричка поехала к мосту, рядом с ней, по обе стороны, шли польские легионеры.

Когда он от'ехал от заставы сотню шагов, сзади раздался залп, и мимо его ушей, жужжа, пронеслись пули. Выругавшись страшным божьим матом, ад'ютант прилег к луке и пустил вороного в карьер, свернув с шоссе в поле. Еще несколько залпов раздалось сзади, но это уже было не опасно. У ад'ютанта бешено колотилось сердце — не от скачки, не от страха, а от обиды.

Женщина не обманула Котовского: через несколько дней в бригаду явилось несколько десятков перебежчиков. Манифест Котовского, как оказалось, среди интернированных белогвардейцев ходил по рукам в списках.

Как узнала вдова генерала о гибели своего мужа и как в дальнейшем она устроила свою жизнь, котовцы так и не услышали.

Москва.

Январь — июль 1933 г.

Когутэй

Поэма

Сказитель **М. ЮТКАНАКОВ**

Перевод с алтайского Г. Токмашева

Редакция и предисловие **В. ЗАЗУБРИНА**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ориенталист академик Б. Я. Владимирцов в своем введении к собранным им героическим сказаниям монголо-ойратов пишет, что в эпосе этих народов воспеваются подвиги степных аристократов, князей. Известный путешественник и исследователь Востока Г. Н. Потанин также утверждает, что богатыри у алтайцев (народов, входивших в состав Ойратского государства и ныне называющих себя ойратами) обычно — богатые и знатные люди. В. И. Вербицкий — один из первых краеведов Алтая — приходит к тем же выводам.

Сказка о бобренке, таким образом, занимает на Алтае особое место. В ней главными и положительными героями являются бедняк Когутэй и его приемный сын — бобренок. Оба они ведут упорную борьбу с могущественным и богатым Караты-ханом и его шестью знатными зятьями. Длительная борьба кончается полной победой бобренка, его торжеством и гибелью Караты-хана со всеми зятьями.

В сказке события разворачиваются с убеждающей последовательностью. Робкий бедняк Когутэй по настоянию своего сына-бобренка несколько раз приезжает к Караты-хану сватать его дочь за своего приемыша. Караты-хан остается глух к просьбам бедняка, зло издевается над ним и каждый раз умерщ-

вляет неудачливого свата. Бобренок оживляет своего отца и снова посылает его к гордому и жестокому хану. После двукратного умерщвления и воскрешения забитый бедняк Когутэй становится смелым и сильным. Он уже не с просьбами приезжает к Караты-хану, а с требованием, подкрепленным угрозой. Караты-хан, убедившись, что сила, действительно, на стороне бедняка, уступает ему, не отказываясь от борьбы, скрытой, замаскированной притворной покорностью. Однако никакие хитрости, никакие обходные маневры Караты-хану не удаются, и он вынужден принять в зятья бобренка. После свадьбы вспыхивает борьба между богатыми зятьями с одной стороны и бедным и нелюбимым зятем — бобренком — с другой. Караты-хан конечно на стороне знатных и богатых. В увлекательных картинах этой борьбы очень убедительно показано, что богатые ханы-феодалы без своих подданных бедняков — ничто. Они не умеют самостоятельно ничего сделать, не могут даже прокормить себя охотой. Все их благосостояние покоится на труде бедняков, и, как только эти бедняки обертываются против своих угнетателей, угнетатели гибнут.

В сказке перед читателем пройдет жизнь кочевника и в бедной юрте пастуха, и в богатом дворце хана. В ней он увидит скотовода-алтайца, с ласко-

вой иронией и теплотой рассказывающего о себе и о своей огромной и кра-сочной родине.

Сказка о бобрёнке в своей образ-ной оснастке, своими «общими места-ми» не выпадает из ряда обычных алтайских сказаний. В ней только с большим искусством собраны все наи-более типичные и выразительные обра-зы богатого языка алтайской народной поэзии. Сказка о бобрёнке вместе с тем превосходит все другие произведе-ния подобного рода на Алтае своим сложным и совершенным сюжетным по-строением. В ней читатель найдет и знакомые мировые сказочные сюжеты, но, повторяем, вплетены они необы-чайно искусно. Если ко всему этому добавить исключительное содержание, то читатель должен будет признать, что перед ним—один из редкостных и пре-краснейших образцов алтайского народ-ного творчества.

Очень хорошим рассказчиком сказки о бобрёнке на Алтае был талантли-вейший сказитель М. Ютканаков. С его слов, под его диктовку она и была за-писана Г. Токмашевым в Аюне, на Катунь, в 1914 году. У переводчика-алтайца (ойрата) знания в области русского литературного языка оказались недостаточными, поэтому его труд нуж-дался в обработке. Необходимо сказать, что редактор делал те или иные исправ-ления только после того, как русский и алтайский тексты были тщательно сличены. Г. Токмашев не передавал

ритма сказки. Его перевод был сугубо прозаическим. Ритм теперь введен в со-ответствии с подлинником. В пределах возможного конечно. Работа редактора, таким образом, заключалась в том, чтобы сделать русский перевод наибо-лее близким к алтайской записи. Пере-вод конечно не лишен недостатков, при чем некоторые из них прямо неустра-нимы. Например смысл одной алтай-ской строки иногда надо было переда-вать двумя русскими. Никак нельзя было выполнить и требования алтай-ского стихосложения, по которому на-чальные буквы 1-й, 3-й, 2-й и 4-й строк или 1-й и 2-й, 3-й и 4-й почти всегда должны быть одинаковыми (начальная рифма). Поэтому такие вот четыре строки:

Ат ёлбёскё алтын-ба,
Эр ёлбёскё мөнку-ба.
Аттын соёги алтай талдап јадарба,
Эрднн соёги јер тал талдап јадарба.

приходилось переводить так:

Лошадь когда-нибудь да подыхает,
Потому она не золотая.
Человек не может жить вечно,
Я когда-нибудь да умру.
Кости павшей лошади
Места себе не выбирают,
Кости умершего человека тоже
Землю не ищут.

Редактор тем не менее надеется, что и его труд, и работа переводчика Г. Ток-машева не были напрасными.

Москва, 1 июня 1933 года.

БОБРЕНОК

(Когутэй),

У черной горы
Со ста водопадами,
На берегу синего моря
Со ста заливами
Жил Когутэй,
Ездивший на синем быке.
Старость его
Близко была.
Крепкие кости его
Ослабели.
Зубы его,
Как бобер, пожелтели.
Голова его,

Как лебедь, побелела.
Годы его
К концу подходили.
Прошедшие дни его
Удлинились.
Предстоящие дни
Укоротились.
Так жил Когутэй
Со своей старухой.
Детей у него
Не было.
Пасущихся стад у него
Не было.

Вокруг аила трижды обежала,
 Бобренка поймать не могла.
 Бобренок старухе кричит:
 — Мать, не бей меня,
 Отца моего Когутэя
 Я оживлю.
 Старуха говорит:
 — Если можешь оживить,
 Иди отца оживи.
 Бобренок говорит:
 — Ты опять меня бить будешь.
 — Иди, мой сын,
 Тебя бить не буду.
 Старуха в сторону отошла.
 Бобренок через труп Когутэя
 Взад и вперед
 Широко скакнул.
 Кости Когутэя соединились.
 Когутэй руками и ногами зашевелил,
 Медленно встал.
 Бобренок вокруг Когутэя бегаёт,
 Его спрашивает:
 — Что вы видели у Караты-хана?
 Что у него слышали?
 Нашу хлеб-соль Караты-хан
 Принял или нет?
 Тяжело вздохнул Когутэй и сказал:
 — Такого грозного хана
 Не видывал,
 Такого народа
 Не слыхивал.
 Больше к нему
 Никогда не поеду.
 Только и помню,
 Как шесть знатных зятёв Караты-
 хана

Меня взяли.
 В свой старый, дырявый аил
 Когутэй вошел,
 В аиле на бок лег.

Бобренок из аила вышел,
 На черную гору со ста водопадами
 По белым ложбинам
 Стал подниматься,
 На вершину ста водопадов залез.
 С верховьев ста водопадов
 Золотой ташаур принес,
 Красный китайский чоочой достал.
 Все в зубах приташил.
 — Отец и мать мой, —
 Говорит, — вставайте,
 По одному чоочою выпейте.

Отец и мать встали,
 По одному чоочою выпили.
 У старика со старухой
 Кровь и тело разгорелись,
 От вина большие пальцы и ногти
 загорелись,

Разговор их стал громче и больше.
 Когутэй говорит:
 — Хоть и постарел я,
 Но к Караты-хану
 Еще раз с'ездить хочу.
 Пусть я умру.
 Лошадь когда-нибудь
 Да пропадет,
 Потому она не золотая.
 Я — простой человек,
 Потому когда-нибудь
 Да должен умереть.
 Синего быка своего
 Когутэй оседлал,
 Золотой ташаур
 К торокам привязал.
 К Караты-хану
 Снова отправился.
 Старуха с бобренком
 Дома осталась.
 Обе полы халата
 Под себя подоткнула.
 Обе руки
 До локтей поглаживала,
 Из остатков пищи
 Обед готовила.
 На синем быке своем
 Когутэй едет
 По степи голой,
 Которую вороны не пролетают,
 Вниз спускается.
 Через желтый Алтай,
 Которого сороки не перелетают,
 Проехал.
 Его таловые стремяна трещат,
 Гнилое седло у него скрипит,
 У быка под брюхом
 Ветхая подпруга рвется.
 В руке Когутэя
 Плеть посвистывает,
 Синий бык бежит,
 Язык на сажень высунул.
 Сам старик Когутэй
 Изношенную, дырявую кошемную
 шапчонку
 Набок надел.
 Так Когутэй ехал.
 Караты-хан издалека Когутэя узнал.

Старуха говорит:

— Дитя мое, оживи его.

Бобренок кости Когутэя собрал,
В черный мешок обратно сложил,
Мешок завязал,
В мешке их начал толочь.
Старуха увидала,
В десять раз сильнее заплакала и
запричитала:
— Костей моего Когутэя теперь не
останется,

Не на что будет мне поглядеть.

Старуха слезы остановила,
По двум косам руками проводит,
Ногами топает,
Под ногами землю рушит,
Руками хлещет,
Кругом все сотрясает.

— Горе мое лучше бы мне не видеть.

Ой, Алтай мой!
Бобренок вниз побежал,
К синему морю о ста заливах.
Старуха останки мужа обнимает,
В мешке один пепел остался.

Жена плачет и говорит:

— Старика моего

Незадавленного задавил,
Несъеденного съел,
Друга моего дорогого
Теперь мне больше не видеть.
Трое суток старуха плакала.
Через трое суток бобренок из синего
моря вылез.

Старуха ему сказала:

— Дитя мое, ко мне подойди.

Бобренок не подходит, говорит:

— Ты меня бить будешь.

Старая старуха отвечает:

— Буду бить.

Сама в сторону отошла.
Бобренок к мешку подскочил,
Пепел Когутэя на землю высыпал,
Черный мешок дочиста опорожнил,
Со дна синего моря принесенной
Синей целебной водой
Прах Когутэя обливает,
Взад и вперед через него скачет.
Из пепла кости появились,
Бобренок их сложил,
На кости мясоросло,
На лице румянец загорелся,
Когутэй, как живой, лежит,
Только не дышит.
Бобренок говорит:

— Как мне отца моего воскресить?

Нет у меня больше сил.

На глаза у него слезы навернулись.
Не сумев оживить старика, заплакал.

Старая старуха к нему подошла,
Две косы свои поглаживая, говорит:

— Можешь ли ты его оживить?

Сама ходит около бобренка и плачет:

— Отца твоего Когутэя оживи.

Бобренок говорит:

— Я лекарство искать ухожу,

Мужа своего карауль,

Ни птиц, ни червей

До него не допускай.

Бобренок на черную гору со ста
водопадами побежал,
Белую целебную воду из источника
в рот набрал,

Домой обратно прибежал,

Когутэя целебной водой облил.

Когутэй встал,

Руки и ноги свои разминает и говорит:

— На родину Караты-хана

Никому не советую ездить.

Он живого меня умертвил,

Неубитого меня убил,

Никогда больше к нему не поеду,

Никогда больше на его землю не
веду.

В старый свой аил входит и плачет,
Огню, разложенному из гнилых дров,
радуется.

Свои старые кости лег отогреть.

Огонь, раскладываемый бобренком,

Никогда не угасает.

Пища, которую он варит,

Никогда не стынет.



Однажды бобренок опять

На вершину черной горы со ста
водопадами поднялся.

Из-под корней двух богатых берез

Два черных ташаура достал,

Две китайских чашечки

В зубы забрал,

Домой принес.

А старик со старухой спят.

Бобренок из аила прогнивший
потничок вытащил,

Когутэя изгнившее таловое седло
взял,

Коня — синего быка — оседлал,

Две китайских чашечки араки налил,

Между отцом и матерью их поставил,
 А сам запел.
 От песни его обнаженные деревья
 Листьями покрывались,
 Голые земли
 Травой покрывались,
 Цветы зацвели,
 Кукушки-певуньи заиграли,
 Алтай весь развеселился,
 Все стало прекраснее в сто раз.
 Старик со старухой проснулись.
 — Милый наш сын-бобренок, —
 сказали.

Бобренок говорит:
 — Отец мой и мать моя,
 По одному чоочою араки выпейте,
 Вам хорошо будет спать.
 Старик со старухой по первому
 выпили,
 Тело и кровь у них разгорелись,
 Пальцы и ногти загорелись.
 Бобренок еще по одному чоочою
 налил.

Старики по второму выпили.
 Мысли их закружились,
 Пьяными стали,
 Разговор у них увеличился.
 Бобренок говорит:
 — Старый отец мой, еще раз
 В страну Караты-хана съезди.
 Когутэй громко засмеялся и отвечает:
 — Лошадь когда-нибудь да поддыхает,
 Потому она не золотая.
 Человек не может жить вечно,
 Я когда-нибудь да умру.
 Кости павшей лошади
 Места себе не выбирают.
 Кости умершего человека тоже
 Землю не ищут.
 Если умереть придется,
 Пусть умру.
 Если нужно исчезнуть,
 Пусть исчезну.
 Бобренок два черных ташаура
 На синего быка навьючил.
 Как с Караты-ханом поступать,
 Старику наказывает.
 — Мой отец Когутэй, слушайте,
 Теперь, не как в первые разы,
 поезжайте,
 Теперь не попрежнему разговоры
 ведите.
 На синего быка-коня садитесь,
 Девять горстей таловых прутьев

В одну плеть завейте,
 Сами так злобно-горько кричите и
 свистите,
 Чтобы вас все боялись,
 Синего быка таловыми прутьями в
 девять горстей
 По обоим бокам стегайте,
 Чтобы он в два раза быстрее
 прежнего бежал,
 В десять раз быстрее прошлого
 бежал.

Когда к Караты-хану приедете,
 Его шесть славных зятьев подойдут,
 С коня сойти станут помогать,
 Вы им скажите:
 — Довольно и того, что вы раньше
 мне помогали,
 За мной и моим быком ухаживали.
 Всех шестерых их за косы возьмите,
 Всех их за шесть гор перебросьте.
 Когутэй-старик говорит:
 — Мой сын, ты вздор мелешь.
 Не под силу мне, старику, молодцов
 бросать.

У них нет крови,
 Их не убьешь.
 Нет у них душ,
 Они умереть не могут.
 Бобренок говорит:
 — Губы себе закуси,
 Зубы стисни,
 Сильным себя вообрази,
 Всех их за косы
 Возьми и швырни,
 Чтобы они за шесть гор улетели,
 За семь морей улетели,
 Потом к дверям Караты-хана
 подойди,
 Быстро их раздерни,
 Медные двери против солнца открой,
 Старую свою войлочную шапку
 Набок гордо надень,
 Араку в черном ташауре
 За пазуху не прячь,
 В руках держи,
 У входа не садись,
 Вперед проходи,
 Рядом с Караты-ханом садись,
 Смело ему говори:
 — Будешь ли больше со мной
 шутить,
 Или будешь серьезно говорить?
 Караты-хан, ездящий на вороном
 иноходце,

Ты же должен меня накормить,
 Мне выкуп заплатить.
 Семь суток они араку пили.
 Караты-хан Когутэю говорит:
 — Досыта я наелся,
 Допьяна напился,
 Теперь невесту выкупай.
 Сто ташауров полных
 Араки принеси,
 Сто баранов белых, ровных,
 Как один, пригони,
 Сто шуб новых,
 С воротниками одинаковыми привези,
 Сто байталов белых и молодых
 С черными кончиками ушей мне дай,
 Все в семидневный срок мне доставь.
 Тогда и зятя-бобра привози.
 Я волосы дочери моей
 Тэмэнэ-Коо расчешу.
 Свадьбу устроим.
 Непосильную задачу выслушав,
 Старик Когутэй говорит:
 — Вскормленных табунов у меня нет,
 Но с мира все соберу.
 Когутэй из айла вышел и видит —
 Шесть славных зятьев Караты-хана
 Из-за шести гор,
 Из-за шести морей
 Только вернулись.
 Караты-хан на своих знатных зятьев
 крикнул.

Крик его, как небо, загремел,
 Как железо, зазвенел.
 — Шесть ташауров араки возьмите,
 Старика Когутэя
 До его айла проводите.
 Шесть славных богатырей
 Шесть ташауров взяли,
 На шесть бархатных вороных коней
 сели,

Когутэя провожать отправились.
 Когутэев синий бык
 Бежит и ревет.
 Шесть славных богатырей
 Догнать его не могут.
 Когутэя, домой возвращающегося,
 На расстоянии месячного пути
 Бобренок увидел,
 Матери говорит:
 — Мать, должно быть,
 Мой отец Когутэй теперь погиб,
 Неушедший теперь ушел,
 Шесть зятьев Караты-хана
 Наш Алтай едут разрушать,

Нас, справедливых, едут убивать.
 Старуха из айла вышла,
 На дорогу посмотрела —
 Шесть славных зятьев Караты-хана
 едут,
 С ними вместе старик ее Когутэй
 едет.

Она бобренку говорит:
 — Над моей старостью не смейся,
 Меня не испытывай.
 Шесть славных своих свояков
 Бобренок встречает,
 Отца Когутэя встречает.
 Они к коновязи под'ехали,
 У шести славных богатырей
 Бобренок поводья берет.
 Шесть славных богатырей
 Друг на друга взглянули,
 Рассмеялись и сказали:
 — Славный свояк у нас.
 Над бобром посмеиваясь,
 В старый аил вошли.
 Бобренок белую кошму разостлал,
 Отца своего Когутэя расспрашивает:
 — У Караты-хана что видели?
 Что слышали?
 Старик Когутэй еле-еле говорит,
 Слова изо рта еле-еле выпускает.
 — Жестокий выкуп нам нужно
 За невесту платить.
 Откуда мы его возьмем?
 Сто новых одинаковых шуб
 с воротниками нужны,
 Сто одинаковых ташауров араки
 нужны,
 Сто белых баранов, как один, равных
 ростом, нужны,
 Сто белых байталов с черными
 верхушками ушей нужны.
 Бобренок на кровать заскочил,
 Шесть ташауров араки из-под
 подушки достал,
 Шести славным своякам их подал,
 Сам из айла выбежал.
 На черную гору со ста водопадами
 Стал подниматься.
 Старик со старухой,
 Когда в сторону отвергивались,
 Потихоньку плакали.
 На знатных ханских послов
 Когда смотрели,
 Посмеивались и говорили:
 — Что нам делать?

Где нам такой выкуп за невесту
найти?
Бобренок на вершине черной горы
со ста водопадами
Из-под развесистой, богатой березы
Сто парных ташауров достал,
Сто шуб с воротниками достал,
Оттуда же сто белых баранов
вышли,
Сто белых байталов выбежали,
Все они одинаковы были,
Всех он домой пригнал,
Всех к аилу Когутэя пригнал.
Красная, как десны, заря загорелась,
Солнце, встрепенувшись, поднялось,
Шесть славных зятьев Караты-хана
говорят:
— Выкуп за невесту давай,
Хану жестокою дань вези.
— Готово, — бобренок сказал.
Шесть богатырей из аила вышли —
Дань за невесту готова была.
Богатыри, на выкуп смотря,
удивлялись,
Головами качали.
Своего коня — синего быка —
Старик Когутэй оседлал,
Сто шуб с воротами,
Сто ташауров араки
На него навьючил,
Сто белых баранов,
Сто белых байталов
Погнал.
Бобренок позади Когутэя
На синего быка заскочил.
Шесть славных богатырей
На бархатных конях,
Когутэй с бобренком
На синем быке
В путь отправились.
Через три мэргэ поехали
К Караты-хану, ездящему на вороном
иноходце.
Стада ханские, как каргана,
Землю покрывали,
Народы его, подобно черным лесам,
Землю покрывали.
К ним они под'ехали.
На синем быке позади Когутэя
Испуганный жених-бобренок сидит.
К золотому дворцу Караты-хана
под'ехали.
Много народов там собралось.

Много лошадей у коновязей
навязано,
Лица богатырей, как пламя, горят,
От дыхания коней туман
поднимается,
Острые пики, как вершушки
пихтового леса, торчат,
Сабли, как лед, на солнце сверкают,
Лучшие кони на привязи стоят,
Лучшие богатыри у входа ждут.
Тэмэнэ-Коо из отцовского дворца
вышла,
К черному дворцу из девяти крыльев
идет.
Бобренок ее увидел,
Со спины синего быка соскочил,
За ней поскакал.
Псы запаха бобра учуяли,
За ним погнались.
Семь черных псов Караты-хана
Тут же бобренка догнали,
Бобренок в испуге кричит,
Все над бобренком смеются.
Шесть зятьев Караты-хана
Семь черных псов разозленных
поймали,
От бобренка их оттащили.
Девуца Тэмэнэ-Коо
Бобренка к себе повела.
Над ним смеющимся
Она говорит:
— Если вам он не нужен,
То мне нужен.
Хотя и бобер,
Но хозяином моим будет.
На руки бобра взяла,
К себе в аил унесла.
Когутэй, едущий на синем быке,
Жестокий выкуп Караты-хану
доставил,
Когутэя в передний угол посадили.
Араку ташаурами пить стали,
Оба свата пьянеть понемногу стали,
Разговоры у них прибавляются
начали.
Семь суток араку пили,
Когутэй спрашивает:
— Детей наших свадьбу
Где будем устраивать?
Караты-хан отвечает:
— Детей наших свадьбу
Здесь, у себя, хочу устроить,
В моем Алтае хочу их поселить.
Когутэй, остатки араки

Свагу своему в руки передав,
 Домой отправился.
 Караты-хан свадьбу устроил.
 Из телят худших убил,
 Из скота опаршивевших убил,
 На свадебный пир
 Старых и слепых приглашал.
 Лучшие люди и настоящие джигиты
 Над свадьбой бобра смеялись.
 Народы раз'ехались,
 Окраинные народы разошлись.
 Бобренок на ханской дочери женился,
 У тестя-хана жить остался.

Однажды бобренок жене говорит:
 — Тэмэнэ-Коо, жена моя,
 К Караты-хану, отцу твоему, сходи.
 Чем занят он, узнай.
 Тэмэнэ-Коо подумала:
 «Хоть и бобренок,
 А муж,
 Надо итти».
 К Караты-хану, отцу своему,
 Она отправилась.
 В аиле отца,
 Когда она вошла,
 Шесть хороших ее сестер,
 Шесть славных зятьев
 Лучшую пищу ели,
 Самую крепкую араку пили.
 На Тэмэнэ-Коо
 Никто не посмотрел,
 Никто, хотя бы косо, не взглянул.
 Только мать спросила:
 — Как живешь, моя дочь?
 Хорошо ли?
 Плохо ли?
 Хоть ты и жена бобра,
 А моя родная дочь.
 Отец ее, Караты-хан, сказал:
 — Что ты со своим бобром
 Дома не сидела?
 Зачем ко мне пришла?
 Тэмэнэ-Коо сказала:
 — Бобер выкуп за меня заплатил,
 Он — муж мой теперь.
 Караты-хан сказал:
 — Шесть славных моих зятьев
 На охоту едут,
 Потому мы веселимся,
 А ты домой иди.
 Твой муж — бездельник,
 Ни на что не способен.

Со слезами Тэмэнэ-Коо
 Домой возвратилась.
 Бобренок жену спрашивает:
 — Почему ты плачешь?
 Тэмэнэ-Коо отвечает:
 — Караты-хан, отец мой,
 Меня из аила своего выгнал.
 Мне сказал:
 «На что годен муж твой бобер?
 Мои шесть славных зятьев
 На охоту собираются».
 С этими словами
 Меня прогнал.
 Бобренок говорит:
 — Если мои свояки на охоту едут,
 Я вместе с ними поеду.
 К Караты-хану, отцу твоему, сходи,
 Лошадь для меня у него попроси,
 Пищу на дорогу попроси.
 Хотя я и не умею стрелять,
 Но за их лошадыми
 Ухаживать смог бы,
 Пищу охотникам
 Варить бы стал.
 Тэмэнэ-Коо мужа не послушалась,
 К Караты-хану, отцу своему,
 отправилась,
 В аил к нему вошла и говорит:
 — Ваш зять-бобер у вас просит
 Лошадь на охоту ехать.
 Караты-хан, как небо, загремел,
 Как железный, зазвенел.
 — Мужу твоему, бобру,
 На охоту не придется ехать.
 У меня моим славным шести зятьям
 Лошадей нехватает,
 У меня для славных моих шести
 зятьев
 Пищи нехватает.
 Шесть славных зятьев Караты-хана
 Лучших коней седлали,
 Лучшую пищу с собой брали.
 Караты-хан свою дочь
 Тэмэнэ-Коо из аила прогнал.
 Жена Караты-хана
 Алтын-Тана — красавица —
 Мужа своего уговаривает:
 — Почему одни любимы,
 А другие нелюбимы?
 Все ведь они — твои дети.
 Если хорошей лошади нет,
 То разве и плохой нет?
 Тэмэнэ-Коо со слезами
 Из отцовского аила вышла.

Мать ее Алтын-Тана
 Под полу кусок курута спрятала,
 Дочери своей Тэмэнэ-Коо вынесла.
 Тэмэнэ-Коо с плачем ушла.
 В своем аиле мужу своему сказала:
 — Вскормивший меня мой отец
 Ни коня, ни пищи
 Мне не дал.
 Из аила своего
 Меня с руганью выгнал.
 Бобренок ей говорит:
 — Тэмэнэ-Коо, жена моя,
 Не плачь.
 Без коня и без пищи
 На охоту отправлюсь,
 От своих свояков не отстану.
 На огонь медный котел поставь,
 Воду в нем вскипяти,
 С добычей с охоты меня поджидай.
 Бобренок из аила ушел,
 Через семь хребтов Алтая перевалил,
 Своих славных шесть свояков догнал.
 С вершины черной горы видит —
 Шесть его славных свояков
 Ничего не убили.
 Спины и шеи шести вороных коней
 В кровь растерли,
 Раны их сороки и вороны клюют.
 Пища у свояков вся вышла,
 Корни травы они копают,
 Корнями питаются.
 Бобренок в белую ложбину
 заскочил,
 По-маральи закричал.
 Шесть черных маралов вышли.
 Бобренок их убил.
 Шесть черных маралов с горы
 К стану славных овояков скатились,
 Шесть славных богатырей заспорили.
 Один говорит:
 — Я убил.
 Другой говорит:
 — Я убил.
 Спорили, спорили, —
 Каждый по маралу взял.
 Бобренок к шести славным своякам
 подошел.
 — Могучие стрелки,
 Вы убили шесть маралов,
 Вы к вашим родителям с добычей
 вернетесь,
 Мне, не умеющему стрелять,
 С чем домой вернуться?
 На мою долю марала дайте.

Так славных шесть свояков своих
 Бобренок просил,
 Пай свой у них выпрашивал.
 Шесть славных свояков сказали:
 — Ты тело твоего отца,
 Мерзавец, покушай.
 Если угодно,
 На, бери.
 С этими словами свояки
 Бобренку нес'едобные
 Маральи потроха швырнули.
 Бобренок сказал:
 — Хотя и потроха,
 А возьму.
 Шести маралов кишки стал очищать.
 Шести маралов мясо навьючив,
 Шесть свояков домой отправилась.
 Бобренок вслед им плюнул:
 — Мясо шести маралов
 Отравой пусть будет для вас.
 Потроха шести маралов,
 Которые вы, как отраву,
 Мне бросили,
 С изюмом и сахаром по вкусу
 Станут пусть равны.
 Бобренок маральи кишки
 На себя навьючил,
 Домой пустился.
 К своей жене Тэмэнэ-Коо пришел,
 О своих шести славных свояках
 Ее расспрашивает.
 Тэмэнэ-Коо говорит:
 — Они про тебя спрашивали,
 Домой ты вернулся ли?
 Они шесть черных маралов убили.
 Мясо маралье сварили,
 Наверно теперь уж наелись.
 Потроха шести маралов
 Тэмэнэ-Коо сварила.
 Бобренок ей говорит:
 — В чашку вареные потроха положи,
 Отцу с матерью отнеси.
 На золотое блюде Тэмэнэ-Коо
 Маральи потроха положила,
 К отцу с матерью отнесла.
 Когда она в аил вошла,
 На мужской стороне
 Мужчины сидели.
 Слюни у них
 Губы и подбородки покрывали,
 Сало маралье
 Шеки покрывало.
 На женской стороне
 Женщины сидели —

По-маральи закричал.
 Из черной тайги
 Шесть черных маралов выскочили.
 Бобренок одной стрелой
 Всех шестерых убил.
 Шесть маралов
 По горе скатились
 К самому стану
 Шести богатырей.
 Шесть богатырей заспорили.
 Один говорит:
 — Я убил.
 Другой говорит:
 — Нет, я убил.
 Спорили, спорили, —
 По маралу каждый взял.
 Бобренок к ним подошел.
 — Мои славные свояки,
 Здоровы ли вы?
 Шесть славных свояков
 На бобра краем глаза не взглянули,
 Ни одного слова не сказали.
 — Славные мои свояки,
 Вы — хорошие стрелки,
 Вы шесть маралов убили,
 А я не умею стрелять.
 В свою артель меня примите,
 Охотничий пай мне дайте.
 Пусть будто и я марала убил,
 Тестю и теще домой
 Маральего мяса понесу,
 Жене моей Тэмэнэ-Коо
 Маралины принесу.
 Шесть славных свояков сказали:
 — Если хочешь,
 Мясо маралов бери,
 Мы внутренности возьмем
 Со вкусом изюма и сахара.
 Шесть славных свояков
 Шесть черных маралов выпотрошили,
 Внутренности на коней навьючили,
 Домой поехали.
 Шести маралов мясо
 Бобренок на себя навьючил,
 К своей жене пошел.
 Домой пришел —
 В медном котле вода кипит,
 В котел мясо шести маралов спустил.
 Муж и жена мясо сварили,
 Досыта, доотвала наелись.
 Бобренок жене говорит:
 — Отцу с матерью
 Мяса унеси,
 Их угости.

Тэмэнэ-Коо маралье мясо
 На золотое блюдо положила,
 К отцу с матерью отправилась.
 В отцовский аил вошла, сказала:
 — Вашим зятем-бобром
 Мясо добытое попробуйте.
 Караты-хан говорит:
 — Нам не до мяса,
 Мы сладкие внутренности,
 Нашими славными зятьями
 принесенные,

За один раз
 С'есть не сможем.
 Горькое мясо маралов
 Нам не нужно,
 Обратное свое дрянное мясо неси,
 Из моего аила убирайся.
 Мать Алтын-Тана говорит:
 — Свою дочь не ругай,
 Можешь не есть,
 Но отчего не попробовать?
 Сама немного взяла —
 Мясо маралье было,
 Как изюм и сахар, вкусно.
 Алтын-Тана мука угостила.
 Караты-хан жадно есть стал.
 У Алтын-Таны из рук вырывать
 стал.

Тэмэнэ-Коо домой вернулась,
 С мужем-бобром
 Остатки мяса доела.



Однажды бобренок жене говорит:
 — К Караты-хану, отцу твоему, сходи.
 Чем заняты мои шесть славных
 свояков, узнай.

Тэмэнэ-Коо отправилась.
 Шесть славных зятьев
 С отцом, ее вскормившим,
 Хороших коней ловили,
 Хорошую пищу навьючивали.
 Разговор Караты-хана с зятьями
 Тэмэнэ-Коо подслушала.
 Караты-хан своим зятьям говорил:
 — Кобылицу чубаро-пегую,
 Девять лет не жеребившуюся,
 Должны вы поймать.
 Тому, кто ее поймает и приведет,
 Половину своего скота отдели,
 Половину своего имущества отдам.
 Тэмэнэ-Коо домой вернулась,
 Мужу сказала:

— Мой муж-бобер,
 С тобой хочу поговорить,
 Меня будешь ли слушать?
 Бобер ответил:
 — Тебя послушаю.
 Тэмэнэ-Коо говорит:
 — Мой отец Караты-хан
 Своим славным шести зятям
 Лучших коней дал,
 Лучшую пищу для них приготовил.
 Он их послал
 Не приносившую девять лет плода
 Чубаро-пегую кобылицу ловить.
 Поймавшему эту кобылицу
 Караты-хан обещает
 Половину скота своего отделить,
 Половину имущества отдать.
 Бобер жене своей говорит:
 — К отцу твоему сходи,
 Мне коня попроси.
 Со своими славными свояками
 Хочу поехать.
 Коней им хоть подавать буду,
 Пищу им хоть варить буду.
 В пути им товарищем буду.
 Тэмэнэ-Коо к отцу пошла,
 Отцу своему говорит:
 — Зять ваш, бобер,
 Коня у вас просит,
 Чубаро-пегую кобылицу
 Хочет ловить.
 Караты-хан сказал:
 — Шести моим славным зятям,
 За чубаро-пегой кобылицей
ухававшим,
 У меня коней нехватает.
 Зятю-бобру
 Лошади дать не могу.
 Алтын-Тана мужу сказала:
 — Хороших коней
 Если нет,
 То беззубых и старых
 Разве не стало?
 У тебя дети,
 Одни милые,
 Другие постылые,
 Ведь все они твои.
 Тэмэнэ-Коо сказала:
 — Коня не дадите —
 Муж пешком уйдет.
 На дорогу ему
 Хоть пищу дайте.
 Караты-хан свою дочь Тэмэнэ-Коо,
 Из аила вон выгнал.

У Тэмэнэ-Коо слезы из глаз,
 Как вода из озера, пролились.
 Из носу, как из ледяной горы,
 Холодные реки вытекли.
 Рыдая, домой она возвратилась.
 Бобер ее спрашивает:
 — Отчего ты плачешь?
 Тэмэнэ-Коо говорит:
 — Мой отец и мать
 Коня мне не дали,
 Пищи мне не дали,
 Меня прогнали.
 Бобренок говорит:
 — Не плачь,
 Не горюй.
 Я пешком уйду,
 Без пищи пойду.
 Из своего аила бобренок вышел,
 За своими славными свояками
 Следом отправился.
 Семь гор перевалил,
 Семь морей переплыл,
 Шесть славных свояков своих увидел.
 Чубаро-пегую кобылицу
 Они не догнали.
 У шести славных свояков
 Кони пристали,
 Копыта у них ослабели,
 Пища у них истощилась.
 У коней спины сбиты,
 В ранах черви шевелятся.
 В степи, где вороны не летают,
 В конце болотистого лога
 Они стан свой раскинули,
 Около самой смерти живут,
 Корни трав копают.
 На след чубаро-пегой кобылицы
 Бобренок напал,
 По следу за ней погнался.
 Алтай шесть раз обежал,
 Землю семь раз обошел.
 Семи суток не прошло,
 Бобер кобылицу поймал,
 В повод ее взял,
 Домой отправился.
 К стану шести славных свояков
пришел,
 Шесть славных свояков закрычали:
 — Ты огонь наших глаз,
 Дорогой наш младший свояк!
 Будем говорить,
 Что все вместе
 Мы кобылицу поймали.
 За это от нас

За шестью горами
 Бархатно-вороной жеребец ходит.
 Караты-хан тебе советует
 Жеребца того поймать,
 На нем ездить.
 Тэмэнэ-Коо бобра предупреждает:
 — Мой муж, не вздумай
 Бархатно-вороного жеребца ловить.
 Не вороной жеребец он, —
 Темная, злая сила земля и вод он.
 Немало таких, как ты,
 Дерзких смельчаков,
 Ловить его пытавшихся,
 Он погубил.
 Бобренок жену выслушал,
 Небывало возмутился.
 Он так ловко прыгнул,
 Так сильно встряхнулся,
 Что шкура бобра
 С него свалилась.
 Могучим богатырем
 Бобер сделался.
 Шкуру свою бобровую
 Он берет,
 Жене своей Тэмэнэ-Коо
 Ее отдает и наказывает:
 — Мою шкуру спрячь,
 Моего возвращения жди,
 Никому ее не показывай.
 Если твои старшие сестры
 Любопытствовать будут,
 Тебя уговаривать начнут
 Шкуру мою показать,
 На уговоры их не склоняйся,
 Им наотрез откажи.
 Тэмэнэ-Коо шкуру бобровую взяла,
 В золотой ящик со ста замками
 заперла.
 Бобер из аила вышел,
 Неизвестно куда ушел.
 Он шесть гор перевалил,
 Шесть морей переплыл,
 За бархатно-вороним жеребцом
 погнался.
 Годовое расстояние,
 Его от жеребца отделявшее,
 В одно мгновение пробежал.
 На месячном расстоянии
 Топот жеребца услышал.
 От его топота
 Земная пыль к небу поднималась,
 Облака с неба на землю спускались,
 Черные туманы закипели,
 От толстой пыли свет померк,

Копытами он горы швыряет,
 Моря колыхает.
 Поднятую руку
 Не успеешь опустить,
 Открытые глаза
 Не успеешь закрыть,
 Как бобренок
 Бархатно-вороного жеребца уж
 догнал.
 У бархатно-вороного жеребца
 Из-под черных копыт
 Пламя летит.
 Из носа
 Горючий туман пышет.
 Его четыре клыка оскаленных
 От злобы кровью налились.
 Из глаз у него
 Огонь искрами рассыпается.
 Он навстречу бобренку мчится,
 Затаптать его хочет.
 Бобренок увернулся.
 Бархатный жеребец мимо пролетел,
 Бобренок за гриву его схватил,
 Мгновенно на нем очутился.
 Бархатный жеребец расшвирипел,
 Как жеребецок, завизжал,
 Как дикий зверь, зарычал,
 Копытами забил —
 Деревья с корнями полетели,
 Камни со своих мест покатались.
 В глазах у него
 Небесные звезды замелькали,
 От топота его
 Земная пыль к небу поднимается
 Небесные облака на землю падают.
 Бобренок с коня свалился.
 Бархатный жеребец на восход солнца
 поскакал.
 Бобренок снова за ним погнался.
 Бархатный жеребец из глаз у него
 скрылся.
 Только от топота жеребца
 За шестьдесятю морями,
 За шестьдесятю горами
 Черная пыль вскипела,
 Черным туманом свет затянулся.
 Бобренок не успел
 Рукой пошевелить,
 Не успел
 Глазом моргнуть,
 Как навстречу к нему
 Другой бархатный жеребец выбежал.
 Седло на нем богатырское заседлано,

В тороках одежда и доспехи
 богатырские завьючены —
 Кольчуги сложные,
 Стрелы богатые, сосновые.
 Жеребец стрелой летит,
 С торкким визгом кричит:
 — Бобер-богатырь,
 За конем убежавшим
 Не гонись!
 Не конь он, —
 Злая сила земля и вод он.
 Тебя она погубит.
 Я — твой конь,
 Я — богатырский конь,
 На мне ты ездить должен.
 Меня зовут —
 Бархатный вороной конь.
 Бобренок одним махом
 На коня садится,
 Богатырские поводья крепко схватил.
 Бобренок с конем
 Друг другу обещание дали —
 Неразлучными друзьями быть,
 Вместе жить,
 Вместе умереть.
 Бархатный конь говорит:
 — Мой хозяин, на плетевой стороне,
 В моем арчимаке,
 Письмо есть,
 Его достань,
 В нем написанное прочитай.
 Богатырь письмо достает,
 В письме читает:
 — Ты, богатырь, на третьем небе
 Тремя Курбустанами назван
 Ездящим на бархатном вороном коне.
 Твоя красная кровь
 Никогда не прольется,
 Ты никогда не умрешь.
 Всех семьдесят мудрых хитрецов
 Ты победишь.
 Шестидесяти алтайских мудрых
 хитрецов
 Ты сильнее.
 Имеющие губы не посмеют
 Словами тебе противиться.
 Имеющие челюсти не посмеют
 Тебя ругать.
 Имеющие большой палец не смогут
 Тебя победить.
 Носящие воротники не решатся
 Тебя за ворот взять.
 Твои плечи никогда и никем не будут
 К земле придавлены.

Ничья сабля
 Тебя не коснется.
 От тебя никто не скроется.
 Пусть слава твоего коня
 За пределами Алтая будет услышана,
 Пусть твоя слава
 Всю землю покроет.
 Имя твое будет:
 Кускун Кара Маатыр,
 Ездящий на бархатном вороном коне.
 Твой отец —
 Черная гора со ста водопадами.
 Твоя мать —
 Синее море со ста заливами.
 Так было дано ему имя.
 Бархатный вороной конь стоит,
 Кускун Кара Маатыр
 В богатырские доспехи одевается,
 Могучие штаны одевает,
 Крепким узлом их затягивает,
 Обувь железную с подошвами
 в девять слоев одевает.
 На сто пуговиц застегивается,
 Ворот горностаевый застегивает,
 За который в битве
 Другой богатырь будет держаться.
 Ворот соболиный застегивает,
 За который в борьбе
 Другой богатырь будет браться.
 Как свет-месяца, светлым,
 Золотым поясом шесть раз
 опоясывается.
 Как алмаз, блестящие и крепкие
 Стальные сабли на луку склад
 кладет.
 Девятигранную черную пику
 В одну руку взял,
 Девятигранную черную плеть
 В другой руке крепко держит.
 Железный лук со ста затворами
 На спину себе одел.
 Славные стрелы в шестьдесят рядов
 В один колчан сложил.
 Славные стрелы в семьдесят рядов
 В другой колчан сложил.
 Стрелы за его спиной,
 Как черная тайга, торчали.
 На голову он одел
 Черную бобровую шапку
 С семьюдесятью лентами.
 Ноги в стремя вдел,
 На три стороны покачиваясь,
 поехал.
 Звон его доспехов,

— Как ваши имена?
 Какого вы рода?
 Откуда приехали?
 Куда путь держите?
 Шесть славных свояков отвечают:
 — Мы — зяття Караты-хана,
 Ездящего на вороном иноходце.
 В небесные страны
 Мы путь держим.
 В земли царь-птицы Каан-Кэрэдэ
 Все мы направляемся.
 Каан-Кэрэдэ семь чубарых жеребят
 У нашего тестя похитила.
 Мы выручать их должны,
 Нашему тестю доставить должны.
 Кускун Кара Маатыр говорит:
 — Печально.
 Птица эта и у меня
 Семь белых жеребят похитила
 Шесть богатырей просят
 Кускун Кара Маатыра
 К птице Каан-Кэрэдэ
 Вместе поехать.
 Кускун Кара Маатыр отвечает:
 — Можно и вместе,
 Я согласен.
 Только вам
 До царь-птицы не добраться.
 Шесть богатырей снова просят:
 — Нас не оставьте.
 С собой возьмите.
 Кускун Кара Маатыр говорит:
 — Вам до нее не дойти.
 Семь неведомых стран
 Нужно проехать,
 Через основание неба
 Нужно проникнуть.
 Железная челюсть неба
 На одно мгновение открывается
 Нужно суметь проскочить.
 Лучше я один поеду.
 Вы меня здесь дожидайтесь,
 Я вашу просьбу исполню.
 За это вы на своих ногах
 Большие пальцы отрежьт'
 Мне их отдайте.
 Ваших семь чубарых жеребят
 Я тогда приведу.
 Шесть свояков на ногах у себя
 Большие пальцы отрезают,
 Кускун Кара Маатыру
 Их отдают.
 Кускун Кара Маатыр
 Пальцы свояков забрал,

В карман положил.
 Шесть своякам своим велел
 Зверей на него загонять,
 На белую гору с шестьюдесятью
 отрогами

Сваяков кричать послал.
 Шесть славных богатырей
 На гору залезли,
 На Кускун Кара Маатыра
 Зверей погнали.
 От крика и шума маралы
 Теплые лежки свои покинули,
 В долины побежали.
 Кускун Кара Маатыр
 Шестьдесят маралов убил.
 Шкуры с них снял,
 Мясо своякам отдал,
 Из шкур маралых
 Большой аил сделал.
 Семь дзеренух поймал,
 Сваякам сказал:
 — Дойте,
 Молоком питайтесь.
 Семь сохатых поймал,
 Сваякам, отдавая, сказал:
 — Дойте,
 Пыштак делайте,
 Питайтесь.
 Семь лет меня ждите,
 Я уезжаю.
 Мои славные свояки,
 Вы меня наверно теперь узнали?
 Мой отец —
 Черная гора со ста водопадами.
 Моя мать —
 Синее море о ста заливах.
 Я — Кускун Кара Маатыр,
 Ездящий на бархатном вороном коне.
 Я ваш младший свояк — бобер.
 Оставайтесь,
 Меня ждите,
 Счастливой дороги
 Мне пожелайте.



Кускун Кара Маатыр так сказал,
 На восход солнца уехал.
 Через моря волнистые
 Он переправляется,
 Через горы буранистые
 Он переваливает.
 Через желтые степи,
 Которых орлы не перелетают,

Только вместе с тобой.
 В ночной езде
 Ты — мой друг.
 В дневной езде
 Ты — мое крыло.
 Что ты почувял?
 К чему ты прислушиваешься?
 Не смерть ли мою почувял?
 Или долгую жизнь мне видишь?
 Отвечай.
 Конь отвечает:
 — Не судьбу твою слушаю,
 Другое слушаю:
 Подмышкой у серебряной горы,
 На берегу синего моря,
 Которое течет,
 Семь раз извиваясь,
 На верхушке серебряного тополя,
 В семь обхватов толщины,
 Птица Каан-Кэрэдэ
 Гнездо свое свила,
 В том гнезде
 Два птенца сидят.
 Семиглавый лютый змей
 Каждый год
 У Каан-Кэрэдэ
 Птенцов поедает.
 Это я узнал,
 Больше ничего не узнал.
 Если все это — правда,
 То мы добьемся того,
 Что ищем.
 Если я ошибся,
 То, значит, нам
 Здесь суждено умереть,
 Тут кости свои суждено сложить.
 Кускун Кара Маатыр
 Дальше поехал.
 Издалека увидел,
 За морями разглядел
 Серебряную гору.
 У подножия ее,
 Семь раз извиваясь,
 Синее море течет.
 Кускун Кара Маатыр
 К морю под'ехал,
 С коня слез,
 Бархатно-вороного друга своего
 Он сильно встряхнул,
 В камешек от огнива
 Его превратил,
 В кисет положил.
 По берегу синего моря пошел,
 Сам нетерпеньем томится —

Скорее через море переправиться,
 К гнезду птицы Каан-Кэрэдэ
 попасться.

Долго по берегу моря ходил,
 Переправы не нашел.
 К шуму в гнезде,
 Из-за моря слышимому,
 Кускун Кара Маатыр
 прислушивается.

Один птенец
 Горько плачет,
 Другой птенец
 Громко смеется.
 Первый, рыдая, говорит:
 — Семиглавый лютый зверь
 Меня сегодня с'ест.
 Второй, смеясь, говорит:
 — Я сегодня день проживу,
 Меня только завтра змей есть будет.
 Над птенцами Каан-Кэрэдэ
 Кускун Кара Маатыр сжалился.
 Гнев свой на царь-птицу забыл,
 Не вспомнил, что сам
 Ехал ее побить,
 Чубарых жеребят, ею похищенных,
 У нее отнять собирался.
 Свой железный лук о ста затворах
 Он взял.
 Стрелу смертоносную о семи остриях
 На тетиву положил,
 К земле прилег,
 Змею семиглавую стал поджидать.
 Вечерняя красная заря запылала,
 Синее море закачалось,
 Из глубин морских
 Семиглавая змея вышла,
 К серебряному тополю
 В семь обхватов подползла,
 Вокруг дерева
 Семь раз обвилась,
 К гнезду начала подниматься.
 Кускун Кара Маатыр
 Стрелу пустил.
 Стрела все семь голов
 У змеи отсекала,
 Змея с тополя вниз скатилась.
 Птенцы Каан-Кэрэдэ встрепенулись,
 От радости с гнезда вспорхнули,
 Золотыми крыльями за солнцем и
 месяц задели.

— Погибшие, мы спасены,
 Умершие, мы ожили,
 Наша жизнь потухшая

Снова зажглась.
 Кускун Кара Маатыра
 Через море к себе
 Они приглашают.
 Младший птенец
 Крыло свое через море протянул,
 Немного до берега не достал.
 Старший птенец
 Через синее море
 Крыльями взмахнул,
 Кускун Кара Маатыр
 Через синее море
 По птичьему крылу переправился.
 К царь-птице Каан-Кэрэдэ
 На гнездо вошел.
 Птенцы расспрашивать стали:
 Как его зовут?
 Откуда он родом?
 Куда путь держит?
 Кускун Кара Маатыр отвечает:
 — Черная гора со ста водопадами —
 Мой отец.
 Синее море со ста заливами —
 Моя мать.
 Ездящий на бархатно-вороном коне
 Кускун Кара Маатыр —
 Мое имя.
 А где ваши отец и мать?
 Птенцы говорят:
 — Есть на свете страна —
 Алтай с золотыми хребтами.
 Они туда улетели,
 Тому краю послужить отправились.
 — Когда они вернуться?
 — Если сегодня не вернуться,
 Утром должны прилететь.
 — Как вы о прилете
 Вашей матери узнаете?
 — Когда наша мать летит,
 Частый, громкий дождик льет.
 Это наших родителей слезы.
 Когда наша мать крыльями замашет,
 Ветры вихревые подуют.
 Мать вернется —
 Тебя, чужого на гнезде,
 В злобе проглотит.
 Богатырем не сиди,
 Как сидишь,
 В ребенка маленького обратись,
 Под крылья к нам спрячься.
 Кускун Кара Маатыр
 В ребенка с голень человека
 обратился,
 Между птенцов сел.

Птенцы его пушистыми крыльями
 прикрыли.
 Вихревые ветры подули,
 Частый дождик застучал.
 Птенцы говорят:
 — Наши мать с отцом летят.
 В глубине неба,
 Как серые пташки,
 Они показались.
 Не прошло времени,
 Чтобы протянутую руку опустить,
 Открытые глаза закрыть,
 Как птицы Каан-Кэрэдэ
 Над своим гнездом закружились.
 Большие их крылья
 На солнечном свете засверкали,
 Свет месяца заслонили.
 В когтях они
 По шестьдесят маралов несли.
 Под серебряным тополем
 Семиглавую змею убитую увидели,
 От радости когти разжали
 Маралов в море уронили.
 Сами сверху,
 В синеву неба, взвились.
 Совсем их видно не стало.
 Сверху, как стрелы,
 Вниз, на землю, упали.
 Сильными когтями,
 Труп семиглавой змеи схватили.
 На семь частей его разорвали.
 — Кто нашего вечного
 Злого врага уничтожил? —
 Птицы спросили.
 Птенцы ответили:
 — Мать и отец, успокойтесь,
 Вы сейчас слишком сердиты,
 Вы сейчас разгорячены.
 Богатыря, семиглавую змею убившего,
 Можете сгоряча проглотить.
 Пока не успокоитесь,
 Его вам не покажем.
 На золотую гору летите,
 На самую вершину садитесь,
 Рты ваши на солнце раскройте,
 Солнцем горячим их очистите,
 Тогда мы все скажем,
 Того, кто змею убил,
 Вам покажем.
 Каан-Кэрэдэ к золотой горе полетели,
 На самую вершину сели,
 Против солнца и луны
 Клювы свои раскрыли.
 Потом птенцы им сказали:

— Мать и отец, теперь
 Под серебряным тополем
 Кол железный воткните,
 Чтобы он
 Сквозь землю и воду прошел.
 На свои ноги
 Железные цепи наденьте,
 К железному колу
 Себя прикуйте.
 Ключи себе
 Железными кольцами зажмит
 Каан-Кэрэдэ
 Под серебряным тополем
 Железный кол вбили,
 Железный кол
 Сквозь землю и воду прошел.
 Птицы железные цепи
 На свои ноги надели,
 К железному колу
 Себя приковали.
 Ключи свои
 Железными кольцами защеми и.
 Только тогда
 Птенцы им сказали:
 — Богатырь, семиглавую змею
 убивший,
 Родом из нижних земель.
 Его отец —
 Черная гора со ста водопадами.
 Его мать —
 Синее море со ста заливами.
 Его зовут —
 Ездящий на бархатно-вороном коне
 Кускун Кара Маатыр.
 Птенцов своих слушая,
 Птицы Каан-Кэрэдэ обрадовались,
 От радости рванулись,
 Железные цепи в девять рядов
 С ног сорвали,
 Железные кольца
 С ключей сбросили.
 Кускун Кара Маатыр встряхнулся,
 Снова настоящим богатырем стал.
 Каан-Кэрэдэ в сторону отлетели,
 Ему говорят:
 — Каждый год семиглавая лютая
 змея
 наших птенцов поедала,
 Каждый год в наше отсутствие
 Из глубин синего моря
 Она выходила.
 Теперь мы счастливы,
 Тебя благодарим,
 Ездящий на бархатно-вороном коне

Кускун Кара Маатыр.
 Друзьями золотыми
 С тобой будем.
 Умирать будем,
 Свои кости
 Вместе с твоими положим.
 Умерших, нас
 Ты оживил,
 Потухших, нас
 Ты зажег.
 Каан-Кэрэдэ и Кускун Кара Маатыр
 Золотыми друзьями сделались,
 Клятвенными друзьями быть
 Друг другу слово дали.
 Кускун Кара Маатыр говорит:
 — На всю землю прославленных
 Цари-птицы Каан-Кэрэдэ,
 Вы тестя моего Караты-хана
 Семь чубарых жеребят взяли.
 Я прибыл сюда
 Об их участи узнать.
 Живы они
 Или мертвы,
 Мне расскажите.
 Каан-Кэрэдэ говорят:
 — Жеребят мы взяли,
 В золотых хребтах Алтая
 Пастись их пустили.
 Жеребят мы похитили,
 Чтобы себе облегченье найти,
 Мы угадывали,
 Что через них
 Нам избавленье придет
 От семиглавой лютый змеи —
 наших птенцов похитительницы.
 На золотые хребты Алтая
 Каан-Кэрэдэ слетали,
 Семь чубарых жеребят привели.
 Кускун Кара Маатыр
 Жеребят переловил,
 Каждого над землей потряс,
 Жеребята уменьшились.
 В свой правый карман
 Всех их он положил.
 Цари-птицы Каан-Кэрэдэ
 Из крыльев своих
 По одному перу вынимают,
 Кускун Кара Маатыру дают.
 — Наши перья возьми,
 По ним ты знать будешь,
 Живы мы
 Или погибли.
 Если погибнем —
 Перья осыплются,

Пух на них исчезнет.
 Если живы будем —
 Перья наши
 Золотом станут сверкать.
 Кускун Кара Маатыр из колчана
 Железную стрелу достал,
 Царям-птицам ее отдал.
 — Если жив буду —
 Стрела бронзой блестеть будет.
 Если умру —
 Стрела желтой ржавчиной покроется.
 Кускун Кара Маатыр
 Царям-птицам Каан-Кэрэдэ
 Счастья пожелал,
 Домой отправился.



Шесть славных свояков
 С черными желаниями
 Кускун Кара Маатыра ждали.
 Они сговорились
 Его убить.
 Яму в шестьдесят саженей
 В земле выкопали.
 На дне ее укрепили
 Кровавую пику и стрелы.
 Над страшной ямой
 Белый хороший аил поставили.
 Кускун Кара Маатыра
 С добычей от Каан-Кэрэдэ
 Встретить готовились.
 С ханскими почестями решили
 В белый аил его ввести,
 Над ямой посадить,
 В яму чтобы он свалился,
 На кровавую пику и стрелы
 накололся.

Кускун Кара Маатыр
 Домой возвращается.
 Его конь летит
 В глубине синего неба.
 От копыт коня,
 Когда они твердой земли коснутся,
 Синие огни взметываются,
 Камни сгорают,
 В пепел обращаются.
 Когда копыта мягкой земли коснутся,
 В следах черные озера образуются.
 К своему Алтаю,
 С черными, как сажа, корумами,
 Он прилетел.
 Семь чубарых жеребят
 Перед собой пригнал.

Шесть славных свояков
 Его встречают,
 С коня сойти помогают,
 Богатырские поводья у него берут,
 Коня привязывают.
 Из молока семи дзеренух
 Семь полных мешков чегеня
 Они приготовили,
 Пыштаку много наготовили.
 От коновязи
 До передних стен белого аила
 Кошемную дорожку постлали.
 У шести свояков
 Кони жир нагуляли,
 Сами они жиром заплыли.
 Друг на друга,
 Как быки, глядят.
 Кускун Кара Маатыра
 Под руки взяли,
 В аил повели,
 В почетный угол,
 На белую кошму,
 Его посадили.
 Кускун Кара Маатыр
 Только и помнит,
 Как на кошму сел.
 В яму он провалился,
 На кровавую пику и стрелы,
 Стоя поставленные,
 Богатырь напоролся.
 Шесть славных свояков
 Бархатно-вороного коня
 К железному столбу подвесили,
 Ни задние, ни передние ноги
 У него до земли не доставали.
 Семь чубарых жеребят
 Шесть славных свояков
 Домой, к Караты-хану, погнали.



Птица-царица Каан-Кэрэдэ
 Друга своего вспомнила,
 Правое крыло раскрыла,
 Кускун Кара Маатыра
 Стрелу достала.
 Стрела заржавела, почернела,
 Ржавчина ее изела,
 Она совсем тонкой стала,
 С иголку толщиной стала.
 Птица-царица Каан-Кэрэдэ,
 Увидев стрелу, затужила.
 — Мой золотой друг,
 Кускун Кара Маатыр,

Не своей смертью умер,
 Не с того места свалился.
 Золотого друга,
 Кускун Кара Маатыра,
 Мертвые кости искать
 Она полетела.
 Она месяцами летала,
 Годами летала.
 Бархатно-вороного коня нашла,
 К железному столбу подвешенного,
 На дне ямы,
 На глубине шестидесяти саженей,
 Самого Кускун Кара Маатыра нашла.
 К белому морю слетала,
 Целебной воды принесла.
 Богатыря с пики кровавой снимает,
 Целебной водой опрыскивает.
 Кускун Кара Маатыр встает,
 В обе ладони бьет.
 Царицу-птицу
 Каан-Кэрэдэ благодарит.
 Ей говорит:
 — Живым буду —
 Твою услугу не забуду.
 Друг другу здоровья
 Они пожелали.
 В разные стороны разошлись.



Кускун Кара Маатыр на своего
 Бархатно-вороного коня сел,
 В страну Караты-хана поехал.
 Месячный Алтай перевалил,
 Годовой Алтай перевалил,
 Шесть своих славных свояков догнал,
 Мимо них,
 Как муха, прожужжал,
 Как ветер, прошумел.
 Шесть славных свояков не заметили,
 Как он их обогнал.
 Кускун Кара Маатыр
 К жене своей Тэмэнэ-Коо приехал,
 К коновязи под'ехал,
 С бархатно-вороного коня слез,
 Бархатно-вороного коня привязал.
 Черную девятигранную плетъ,
 В сильной руке свернув, зажал.
 Двери аила распахнул.
 В аил вошел, говорит:
 — Женщина ты поганая, червивая,
 Зачем мою бобровую шубу
 Сестрам своим показала.
 Ее мне сейчас же достань.

Тэмэнэ-Коо испугалась,
 Жалобно заплакала,
 Из золотого ящика,
 Из-под ста замков,
 Бобровую шубу-шкурку достает,
 Мужу ее подает.
 Кускун Кара Маатыр
 Шубу разглядывает.
 В одном месте едва заметное
 Прожженное пятно нашел.
 Жену спрашивает:
 — Зачем шубу мою
 Ты прожгла?
 Тэмэнэ-Коо со слезами говорит:
 — Друг мой,
 С молодых лет
 Судьбу свою
 С твоею судьбой
 Я соединила.
 Единственный проступок
 Мне прости.
 Не из любопытства
 Шубу твою
 Я посмотрела.
 Мои сестры были
 В гостях у меня,
 Меня просили
 Бобровую шубу твою
 Им показать.
 Я наотрез отказала.
 Они меня били,
 Шубу показать требовали.
 Я не показала.
 Однажды они с аракой
 Ко мне в гости пришли.
 Я араки выпила,
 Немного опьянела,
 Любопытство их удовлетворила, —
 Бобровую шубу твою показала.
 В руки ее
 Я им не дала.
 Из моих рук
 Они на нее посмотрели.
 Одна сестра
 Искру из трубки
 На шубу твою
 Нечаянно обронила,
 Ее чуть заметно прожгла.
 Так Тэмэнэ-Коо
 Кускун Кара Маатыра,
 Мужа своего, умоляла.
 Бархатно-вороной конь
 Ему говорит:
 — Хозяин мой славный,

Сам к жене своей
 Тэмэнэ-Коо вернулся,
 Ей говорит:
 — Тебя проклинать
 Не буду.
 Тебя бить
 Не стану.
 Одна оставайся.
 От тебя уезжаю.
 Если хочешь меня найти —
 Догони.
 Если не догонишь,
 Не найдешь —
 Вместо меня головы
 Твоих семи отцов найди.
 Если захочешь меня искать —
 С трудом, может быть, найдешь.
 Если меня с трудом не найдешь —
 Головы семи твоих матерей найди.
 Так сказав,
 Кускун Кара Маатыр
 Коня повернул и уехал.
 Было место,
 Где его конь стоял,
 Но, куда он уехал,
 Никто не заметил.
 Тэмэнэ-Коо заплакала,
 Слезы ее лились,
 Как вода из озера,
 Из носу воды потекли,
 Как река с ледяной вершины.
 Тэмэнэ-Коо заплакала,
 От мужа своего
 С плачем и рыданием осталась.

Кускун Кара Маатыр
 Скалы огибает,
 Перевалы переезжает,
 В страну своего отца Когутэя
 Он едет.
 К старому аилу стариков
 Он под'ехал,
 С коня не слезая,
 Мать и отца
 В горсть захватил,
 В руке их потряс,
 Во множество юношей и девушек
 Их обратил.
 Руку в боковой карман сунул,
 Золотое кольцо достал,
 На землю его бросил.
 Кольцо в сто аилу новых обратилось.

Конский повод достал,
 На луг его бросил,
 Повод в сто табунов лошадей
 обратился.

Кускун Кара Маатыр
 Дальше отправился.
 Место,
 Где его конь стоял,
 Осталось,
 А, куда он уехал,
 Никто не знает.
 Ни один живущий
 Не заметил,
 Ни один дышащий
 Не видел.

Тэмэнэ-Коо видит:
 Земли отца ее
 Караты-хана
 Глубоким снегом покрылись,
 Снег выше лесов лег.
 Страшные болезни появились,
 Народы отца в три дня погибли.
 Ни одного живого существа
 На землях Караты-хана
 Не осталось.
 Ничто не промелькнет,
 Никто не покажется.
 Семи дней не прошло,
 Как Караты-хана
 Шесть славных зятьев умерли.
 Сам Караты-хан,
 Ее отец, умер.
 Алтын-Тана,
 Ее мать, умерла.
 Тэмэнэ-Коо
 По следу мужа,
 Кускун Кара Маатыра,
 Итти собирается.
 «Где он живет,
 Я хочу жить.
 Где он умрет,
 Я хочу умереть» —
 Так она себе сказала,
 Полы за пояс заткнула,
 Рукава засучила,
 В поиски отправилась
 Весь Алтай обошла,
 Всю землю обходила,
 Следа своего мужа не нашла.
 Она его ищет,
 Ни лета, ни зимы

Не зная.
 Слезами заливаётся.
 — Мой милый муж,
 Я с тобой соединила
 Жизнь свою с малых лет.
 Мой добрый друг,
 Я с тобой живу
 С малых лет,
 С тех пор,
 Как мы с тобой были
 Не выше большого пальца,
 Не больше ладони.
 От тебя мне
 Только горе осталось,
 От спины твоей
 Печаль осталась.
 Семь лет так
 Она его искала.
 На седьмом году
 Она видит:
 Черная гора стоит,
 Через ее вершину
 Белые облака плывут,
 За нее задевают,
 На ней останавливаются.
 К этой черной горе
 Она прямо пошла.
 Как дошла,
 Увидала,
 Что не гора это стоит,
 Черный горный козел стоит.
 Его рога
 В небо синее врезались,
 Его борода
 До земли спускается.
 Черный козел спрашивает:
 — Тэмэнэ-Коо, откуда ты пришла?
 Зачем пришла?
 Тэмэнэ-Коо отвечает:
 — Мужа своего ищу,
 Кускун Кара Маатыра,
 Ездящего на бархатно-вороном коне.
 Черный козел,
 Ты, хозяин земли и вод,
 Не слыхал ли,
 Куда он уехал?
 Не знаешь ли,
 Где он находится?
 Черный горный козел говорит:
 — Тэмэнэ-Коо,
 По моему рогу
 Вверх заберись,
 Может быть, мужа
 Своего увидишь.

Ты на любом расстоянии
 Его узнаешь.
 Если на рог мой
 Не полезешь —
 Я тебя в бисер растопчу,
 Тонкую душу твою,
 Как шелк, разорву.
 Угрозу козла
 Тэмэнэ-Коо выслушала,
 Больше прежнего опечалилась,
 Больше, чем прежде,
 В десять раз заскорбела.
 Беззащитная, поневоле полезла
 На голову козла.
 За его бороду подтягиваясь,
 С головы на рог поднялась.
 Выше и выше карабкается,
 Выше белых облаков забралась,
 Дальше лезть было некуда.
 Она кругом посмотрела,
 Мужа нигде не увидела.
 Сильнее прежнего заплакала,
 Обратнo вниз спускаться решила.
 Черный козел рогами взмахнул,
 Тэмэнэ-Коо из сознания вышла,
 Опомнилась и видит —
 По Алтаю она идет,
 Где белые цветы
 Повсюду рассыпаны.
 На солнечной стороне и
 На месячной стороне
 Золотые и дребряные горы
 раскинулись.

Вершины их —
 Как сосцы девиц.
 Удобные перевалы кругом —
 Как богатые седла.
 Среди прекрасных гор
 Два белых дворца стоят,
 Ханские айлы поставлены.
 Вышитые золотые узоры на них
 Под солнцем горят.
 Невиданные табуны,
 Как черный лес,
 Алтай покрывают.
 Народы, там живущие,
 Всю землю наполнили.
 Скот там с золотой шерстью.
 Люди там в золотых шубах.
 На восток они протянулись
 До восхода солнца,
 На запад они растянулись
 До заката солнца.
 Тэмэнэ-Коо на все

Смотрит и удивляется.
 Из двух золотых дворцов-аилов
 Две молодых женщины вышли.
 Они ее встречают,
 Ей говорят:
 — Ты — наша тетка,
 Тэмэнэ-Коо.
 С обеих сторон
 Они ее под руки берут.
 — Ты — свет наших глаз,
 Ты — кровь наших спин,
 В наш аил войди.
 Тэмэнэ-Коо говорит:
 — Я вас не знаю,
 Дела у меня к вам нет,
 Своего мужа,
 Кускун Кара Маатыра,
 Я ищу.
 Женщины говорят:
 — Приказаня Кускун Кара Маатыра
 Слушай:
 Мы — его жены.
 Одна из нас — дочь луны,
 Алтын-Тана,
 Другая — дочь солнца,
 Кутуз-Тана.
 Кускун Кара Маатыр отправился
 За дочерью царицы-птицы
 Каан-Кэрэдэ,
 Если не сегодня вернется,
 Завтра вернется.
 Тэмэнэ-Коо в золотой аил
 Они повели.
 Голодную, ее кормят,
 Отощавшую, поправляют,
 Тэмэнэ-Коо ест
 Из золотого блюда
 Вкусный вареный сычуг.
 Две женщины с нее
 Шубу и обувь обветшалую сняли,
 Обувь новую,
 Шубу шелковую
 На нее одели.
 Шелковый чегедек
 На нее одели.
 На голову шапку
 Черную соболиную одевают.
 Тэмэнэ-Коо в новых нарядах
 В десять раз красивее стала.
 Брови ее,
 Как две радуги, изогнулись,
 Щеки ее,
 Как утренняя заря, покраснели.
 Грудь поднялась,

Как круглые горки.
 Лицо ее,
 Как луна, стало кругло,
 Как солнце, ярко.
 Алтын-Тана и Кутуз-Тана говорят:
 — Нашей старшей сестрой будь,
 Нам дорогу показывай,
 Нашей старшей теткой будь,
 Нас учи,
 Тэмэнэ-Коо дорогая.
 Небо утренней зарей загорелось,
 Солнце взошло,
 Жилами свет по земле заиграл:
 Кускун Кара Маатыр
 На бархатно-вороном коне
 Домой вернулся.
 Дочь царицы-птицы Каан-Кэрэдэ
 Он привез.
 Ее звали —
 Алтын-Кустук.
 Кускун Кара Маатыр
 Со всеми делами покончил,
 На своем Алтае успокоился,
 Свадьбу справлять стал.
 За дальними гостями
 Конных гонцов послал,
 За ближними гостями
 Пеших гонцов послал.
 Гости со всех сторон собираются,
 Старые и малые,
 Молодые и пожилые,
 Хромые с костылями,
 Слепые с поводьями,
 На свадьбу все идут.
 Все богатыри собрались.
 Лицо народа,
 Как весенние палы, горит.
 Мясо горами наварено,
 Араки озера наварены.
 От дыхания лошадей,
 На которых гости приехали,
 Желтый туман поднимается.
 На белом шелку
 Молодцы собрались,
 В чистом поле
 Борцы-молодцы сошлись.
 Четырем женщинам
 Волосы расчесали.
 Свадьбу их справляли.
 Мясо, с гору наваренное,
 Подали.
 Араку, с озеро наваренную,
 Выпивали.
 В одном кругу

Старые люди пировали.
Молодые девушки
Своим кругом играли.
Женщины в чегедеках
Своим кругом веселились.
Молодцы в коротких куртках
В своем кругу возились.
Богатыри в золотых шубах
Своим кругом игру вели.
Молодцы в серебряных шубах
Своим кругом играли.
Меткие стрелки
Своим кругом в цель стреляли.
Непобедимые силачи

В своем кругу состязались.
Так Кускун Кара Маатыра
Свадьбу справляли.
На его Алтае
Певицы-кукушки
Лето и зиму куковали,
В его лесах ягоды
Лето и зиму росли.
На его Алтае
Лето от зимы не отличают,
Там — вечное лето.
Там круглый год травы растут,
Цветы синие и белые цветут.



Петр Первый

Роман

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

2

Тогда зимой Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крейцбург. За польской границей не то, что в Московском царстве (от деревни до деревни — день пути глухими лесами), — селенья попадались часто: на высоком месте монастырь или костел и барский дом, в иных местах — и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди, или уж опальный какой-нибудь боярин сидел, как барсу́к, угрюмо за высоким тыном. Польские паны поживали весело, широко.

Александр Ивановне до смерти не могло́сь — свернуть с дороги в один из таких чудных замков, чьи острые графитовые крыши и огромные окна виднелись за вековыми липами. Волков сердился: «Мы, люди государевы, едем с грамотами, напрашиваться нам неместно, пойми ты наконец».

Напрашиваться не пришлось. Однажды поздним вечером вехали в большую деревню, будто мертвую, — даже собаки не брехали. Остановились у корчмы. Покуда хозяин, высокий сутулый еврей в лисьей шапке, с трудом отворял ворота, Александра Ивановна

вылезла из возка — размяться на снегу. Глядела на половинку месяца, тоскливый свет его не загасил звезд. Саньке было томно отчего-то. Тихо шла по улице... Небольшие избы почти все позавалялись, многие без крыш, — одни жерди чернели на лунном небе. Дошла до заиндевшей плакучей ивы, — под ней часовенка. У запертой дверцы уткнулась ничком, зажав ладонями лицо, какая-то женщина в белой свитке. Не обернулась на скрип снега. Санька постояла, вздохнула, отошла. Все ей чудилось — музыка где-то далеко.

Окликнул Волков. Пошли в корчму через длинные сени, уставленные кадучками и боченками. Хозяин светил сальной свечой, — плотная борода у него торчала вперед, из-под шапки — пейсы, лицо — маленькое, с глазами старыми и мрачными. «Клопов нет, хорошо будете спать, — сказал он по-белорусски. — Только пану Малаховскому не вошло бы в ум наехать в корчму. Ох, бог, бог...»

В жаркой корчме пахло кислым. За рваной занавеской плакал в зыбке ребенок. Санька сняла шубу, прилегла на принесенные с холоду подушки, — ей тоже хотелось плакать. Зажмурясь, чувствовала, — поправее сердца (где живет душа) — невыносимая тревога... Нето жалко кого-то, нето любить хочется.

Дверь в корчме поминутно хлопала, входил-уходил хозяин, люди какие-то.

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 2, 3, 5, 6, 7—8 и 11 с. г.

Ребенок плакал покорно... «Опять не спать ночь», — Санька представила свое лицо: за дорогу осунулось, под глазами тени. «Напрасно красота пропадает». Муж позвал: «Саня, ужинать-то будешь?» Притворилась, будто заснула. Мерещился ущербный месяц, тускло светивший у часовни на спину бабы в белой свитке. Отмахнуться хотела, — нет... Мерещилось давнишнее: страшные глаза матери, когда умирала... Горит светец, маленькие братики, в обмоченных рубашонках, свесили головы с печи, слушают, как стонет мать, глядят на тень от прялки на бревенчатой стене, — будто это старик с тонкой шеей, с козлиной бородой...

Волков несша хлебал лапшу. Дверь опять бухнула, кто-то, войдя, осторожно вздыхал. Санька глотала слезы: «Вот так и проедешь мимо счастья». Муж — опять: «Саня, да с'ешь ты хоть молочка».

Женский голос у двери: «Милосердный пан, сохранит тебя владычица небесная, — третий день не ели, пожалуй от своих милостей хлеба». Санька — будто у нее душу прокололо — села на лавке. У двери на коленях стояла женщина, за овчинною пазухой у нее бочком лежало ребячье жалкое личико. Женщина наклоняла голову, просила. Санька сорвалась, схватила блюдо гусятин: «На! — подала и невольно сама закивала ей по-бабьи. — Уходи, уходи».

Баба ушла. Санька села к столу, — так билось сердце — молока даже не могла выпить. Волков спросил у еврея-корчмаря:

— Что же, у вас неурожай, что ли, был?

— Нет, до этого бог еще не довел. Пан Малаховский забрал хороший урожай и уже отвез его в Кенигсберг...

— Видишь ты, — удивился Волков и положил ложку. — В Кенигсберг продают! И цены берут хорошие?

— Ох, цены, цены... — Хозяин закрихтел, вертя войлочной бородой, поставил подсвечник на лавку, но сам сесть не решался. — Нынче кенигсбергские купцы хорошо понимают — кроме них, ни к кому не повезешь пшеницу, в

Ригу нынче не повезешь, — кто же захочет платить пошлины шведам. Ну, и дают гульден...

— Гульден! За пуд? — Волков изумленно и недоверчиво раскрыл голубые глаза. — Да ты, может быть, врешь?

— А, ей-богу, не вру, зачем мне врать ясновельможному пану? Когда я был молодой, возили хлеб в Ригу, там давали по полтора и по два гульдена. Пан не рассердится, если я сяду? Ох, бог, бог... Всё шутки пана Малаховского... Зарубил саблей нашего еврея Альтера на деревне у пана Бадовского. А пан Бадовский такой пан, что за простую курицу готов поднять всю свою загоновую шляхту, — Альтер был у него фактором. Так пан Бадовский налетел со шляхтой на пана Малаховского. Была стрельба из пистолей! Ох, бог, бог... Потом пан Малаховский налетел со своей шляхтой на пана Бадовского. Сколько извели пороха — и все из-за одного убитого еврея... Потом они помирились и выпили пятьдесят боченков пива. Сюда налетели шляхтичи пана Малаховского, схватили меня, схватили пятерых наших евреев, бросили нас на простую телегу, придавили жердями, как снопы возят, и повезли к пану Бадовскому на двор. Пан Малаховский держался за живот, — так он смеялся: «Вот тебе, пан Бадовский, за одного жида — шестеро». У Янкеля Когана сломали ребро, покуда он лежал в телеге, у Моисея Левида отбили печенку, у меня с тех пор ноги сохнут...

— Так, если не врешь, — сказал Волков, наливая молока в глиняную тарелку, — отчего ж деревня у вас худая?

— А мужикам с чего жиреть?

— Не жиреть, зачем? Обрастать мужику нельзя давать очень-то... Все-таки — избы прикрыть бы надо. Это что же у вас, — я посмотрел, — скоты лучше живут... Оброчных, видимо, нет совсем?

— У нас все мужики на барщине.

— И сколько дней барщины?

— А все шесть дней на пана работают.

Волков опять удивился: «У нас бы царская казна не допустила, — с такого голого мужика полущки не возьмешь...»

— Кто ж у вас в казну дани плотит? Паны, что ли?

— Нет, паны даней не плотят. Мы панам плотим...

— Вот так государство! — Волков усмехнулся, покрутил головой. — Саня, вот воля панам...

Но Санька не слушала. Глаза раскрыты, зрачки остановились. Повернулась к окошку, прильнула к мокрому стеклу. На улице все громче слышалась музыка, бубенцы, голоса. Корчмарь, забеспокоясь, взял подсвечник, сутуло зашаркал к двери:

— Так я же говорил, — пан Малаховский вам не даст спать...

У корчмы остановилось десяток саней. Евреи пиликали на скрипках, дули на обмороженные пальцы. Шляхтичи, вповалку на коврах, задирая ноги, хохотали, кричали, подзадоривая. Один усатый, в коротком кожухе, отплевывая на утопанном снегу, — то важно выступал, проводя по усам, то бешено кутрился, и сабля летела за ним.

Подскакали всадники с факелами, соскочили наземь. Из темноты вырос четверик рослых коней, — с павлиньими перьях на заданных башках; в открытых санях — дамы. (Санька так и прилипла к стеклу, лупясь на заграничных: все в узких бархатных шубках, меховые воротнички, маленькие шапочки — набок.) Дамы смеялись, озаренные факелами. С запяток саней слез коренастый пан, пошатываясь, пошел к корчме, — за мутным стеклом увидел Санькино лицо. «Айда!» — махнул шляхте. Пан и позади него шляхтичи, — иные в простых кожухах, иные и совсем рваные, но все при саблях и пистолях, — ворвались в корчму. Пан, красный, как медный котел, раздвинув ноги, провел форстью по усам столь великим, что не вмещались в горсть. Зеленый кунтуш его на чернубурых лисах был в снегу, — ридимо, пан не раз валился с запяток. Громыхнув саблей, блестя глазами на Саньку, заговорил пышно, с пропитой надтругой:

— Милостивая моя пани княгиня, проклятый корчмарь поздно донес мне о вашем проезде. Как! Чтобы такая

красивая высокородная пани ночевала в гадкой корчме! Не позволим! Шляхта, вались в ноги, проси пани княгиню — в замок...

Шляхтичи, — были между ними и седые, весьма гонорные с виду и украшенные сабельными рубцами поперег лица, — наполняя корчму духом перегара, стали бросаться на одно колено перед Санькой, сорвав шапку наотмашь, ладонью ударяли в грудь:

— Милостивейшая пани княгиня, умереть, не встану от ваших божественных ножек, — пожалуй к пану Малаховскому...

Александра Ивановна, как выскочила из-за стола, — сдернув с плеч дорожную шаль, — так и стояла перед коленопреклоненной шляхтой — бледная, с поднятыми бровями, только ноздри чуть вздрагивали. Корчмарь высоко держал свечу. Пан Малаховский, глядя на такую красавицу, толкнул одного, другого шляхтича и, подступив, грузно пал сам на колено:

— Прошу!

У Саньки все же хватило ума оглянуться на мужа. Василий сильно испугался, дрожащей рукой расстегивал ворот рубахи, доставая с груди мешок с грамотами — в удостоверение, что он лицо неприкосновенное. Санька с некоторой заминкой, но голосом певучим проговорила:

— Буду счастлива — сделать знакомство...

Вторую неделю пировал пан Малаховский, шумел на все Оршинское воеводство. Пани Августа, жена его, так любила веселье и танцы, — заплясывала кавалеров до одури. Иной, уморясь, прятался куда-нибудь в чулан, — будили, приволакивали заспанного в колонное зало, где на хорах пиликали скрипачи, с венецианских люстр под пышно расписанным потолком капал воск свечей на потные парики, развевающиеся юбки, в соседних покоях воодушевленно пила и горланила загоновая шляхта.

Среди ночи, вдруг, пани Августа, — маленькая, кудрявая, с ямочками на щеках, — придумав новую забаву, хлопала в ладоши: «Едем!» Валились

в сани, с факелами мчались к соседу, где — снова — бочки венгерского, целиком зажаренные бараны для высоких гостей, для шляхты — огромные миски рубцов с чесноком. Осушали чаши за прекрасных дам, за польский гонор, за великую волю Ржечи Посполитой.

Или придумывала пани Августа нарядить гостей турками, греками, индусами, шляхтичам поплосше мазали лица сажей, — увеселясь ночь, на расвете ряжеными шли в соседний монастырь, приветливо бренькавший колоколом за голыми деревьями на пригорке. Стояли обедню и потом в белой трапезной, согретой пылающими бревнами в очаге, пили столетние меды, шутили с галантными монахами в надушенных рясах и в шпорах — про всякий случай.

Санька со всем пожаром души своей кинулась в это веселье. Только меняла платья и мокрые сорочки, обтиралась душистой водкой и снова, похудевшая, высокая, вся пропитанная музыкой, гордо кланялась в минуэте, как бешеная, крутилась в польском.

Василий крепился сначала, но к нему приставили двух обедал и опивал, знаменитых во всей Польше богатырей, — пана Ходковского и пана Доморадского. Это были такие шляхтичи, что разом рыпывали кубок в четыре кварталы пива, с'едали целиком гуся со сливами, заедали миской вареников, запивали пятью бутылками венгерского. Василий день и ночь с ними целовался. Когда находило просветление, с тоской искал жену: «Голубушка, Санечка, собираться надо, довольно». Санька и не оглядывалась. Пан Ходковский обнимал его за плечи, — покачиваясь, шли пировать дальше...

Василий мычал, зарывался в подушку, — кто-то тряс за плечо. (Спал одетый, только снял кафтан и шпагу.) Голова свинцовая, — не поднять. Трясли упрямо, впивались ногтями... «Ох, что еще?»

— Иди со мной танцевать... Со мной, со мной! — торопливо повторил Санькин голос, до того странный, — Василий приподнялся на локте. У кровати Санька кивала ему напудренной голо-

вой... Глаза такие — будто пожар в доме, беда стряслась...

— Со мной будешь танцевать?

— Рехнулась, матушка... Утро на дворе...

Санькино изменившееся лицо, оголенные плечи были голубоватые от света зари за большим прозрачным окном... «До чего себя довела, — ни кровинки».

— Ложись ты спать лучше.

— Не хочешь, не хочешь?.. Ах, Василий...

Она стремительно села на высокий стул, уронила голые руки. Пахло от нее французскими сладковатыми духами, чужим чем-то. Не мигая, глядела на мужа, — по горлу катился клубочек.

— Вася, ты меня любишь?

Спроси она про это мягко, обыкновенно, — нет, спросила будто с угрозой. Василий от досады ткнул кулаком в подушку:

— Меня-то хоть ты оставь жить покойно.

У нее задрожал рот, опять проглотила клубочек:

— Скажи — как ты меня любишь...

Что сказать на это? Вот чепуха бабья! Не трещала бы так голова с похмелья — Василий бы непременно поругался. Но не было ни сил, ни охоты, молчал, с укоризненной усмешкой оглядывая жену. Санька тихо всплеснула руками:

— Не убережешь... Грех тебе...

Встала, ногой отбросила длинный шлейф, ушла...

— Дверь-то закрывай, Саня...

Василий так и не мог заснуть, — вздыхал, ворочался, слушая отдаленную музыку внизу, в залах. Не хотелось, а думалось. «Плохо, нехорошо». Сидел на постели, держась за голову... «Никуда не годится так жить...» Оделся, черным ходом пошел к службам — взглянуть, в порядке ли возок. Увидев у каретника Антипа-кучера (купил его за шестьдесят рублей у смоленского воеводы — взамен пропавшего под Вязьмой), обрадовался своему человеку:

— Что ж, Антип, завтра поедем.

— Ах, Василий Васильевич, хорошо бы, — так уж тут надоело...

— Вечерком сбегай к корчмарю начесть лошадей...

Василий медленно возвращался через парк. Мело чистым снегом, важно шумели деревья с грачиными гнездами. На пруду работало много мужиков и баб, — видимо, согнали всю деревню — расчищать снег, ставили какие-то жерди с флагами, хлопавшими по ветру. «Все пустяки да забавы...» Василий вдруг остановился, — будто кто схватил за плечи, — сморщился. Колотилось сердце. Догадался, — он! Сколько раз видел его сквозь пьяный угар, сейчас только понял, — он! Пан Владислав Тыклинский, рослый красавец в парижском, апельсинного бархата, кафтане. Александра — все с ним: минуэт — с ним, контерданс, мазурку — с ним.

Василий глядел под ноги. Снег лепил в щеку, в шею. Но — мелькнула эта острая догадка, и опять все стало затягивать похмельной одурью. Решения не принял. А его уже искали — завтракать. (Обычай здесь такой, — после веселой ночи — ранний завтрак и — спать до обеда.) Опостылевшие друзья, — Ходковский и Доморацкий, хвастуны, лгуны толстопузые, — хохоча, подхватили под руки: «Какой бигос подан, пан Василий!..» Александры за столом не было, и того — тоже... Василий хватил бешено крепкой старки, но хмель не брал...

Он вылез из-за стола, прошел в танцевальную залу — пусто. На хорах, урнув умученное зеленоватое лицо, спал музыкант-еврей. Василий осторожно приотворил двустворчатые двери в зеркальную галлерею, — вдоль окон по наводенному паркету, замусоренному цветными бумажками, шли пан Владислав, нахально задрав шпагой полу апельсинного кафтана, и — Александра. Он горячо ей говорил; норовисто вздергивал париком. Она слушала с опущенной головой. Поднятые волосы открывали ее длинную шею, — было что-то в Санькиной шее девичье и беззащитное: завезли за границу неопытную дурочку, бросили одну, обидят — только слезы проглотит...

Василию бы надо подступить гневно, потребовать сатисфакции у гордого по-

ляка, но он только глядел в дверную щель, страдая от жалости... «Эх, плохой ты защитник, Василий». Тем временем пан Владислав указал красивым взмахом на боковую дверь, у Саньки чуть приподнялись лопатки, чуть покачала головой. Повернули, ушли в зимний сад. Василий невольно потянулся — засучивать рукав... Не рукав — один кружева. И шпага осталась наверху... А, чорт!..

Он с треском откинул половинку двери, но сзади налетели на него шумные толстяки Ходковский и Доморацкий...

— Ты отведай только, пан Василий, горячие лепешки со сметаной!..

Опять сидел за столом, — в смятении. И стыд, и гнев. Тут — явный сговор. Обжоры эти спаивают его... Бежать за шпагой, — биться? Хорош государев посланный — из-за бабы задрался, как мужик в кружале... А, пускай! Один конец!

Оттолкнул поднесенный стакан, быстро вышел из столовой. Наверху, стискивая зубы, искал шпагу... Нашлась под ворохом Санькиных юбок... Со всей силы перепоясался шарфом. Сбежал по каменной лестнице. В замке уже полегли почивать. Обежал зимний сад — никого. Наткнулся на комнатную девушку, — низко присев перед ним, она пропищала: — Пани княгиня, пани Малаховская и пан Тыклинский втроем поехали кататься, сказали, чтобы до вечера их не ждали...

Василий вернулся наверх и до сумерек сидел у окна, глядел на дорогу. Додумался даже до того — стал сочинять покаянное письмо Петру Алексеичу. Но бумаги, пера не нашлось.

Потом оказалось — Санька давно вернулась и отдыхала в спальне у пани Августы. После ужина готовился на пруду карнавал и фейерверк. Василий сходил в каретник, приказал Антипу потихоньку приготовить лошадей и кое-что из коробьев отнести в возок. Мрачно возвращался в замок. По карнизам зажигали плашки, — ветер перебежал по огонькам. Снежные тучи разнесло, ночь — голубая, луна срезана с бочку.

Около садовой постройки с каменными бабами, занесенными снегом, Волков слышал хриплые вскрики, частое ды-

ханье, звяканье клинков. Прошел бы мимо, — не любопытно. За углом (у подножья голого ребенка со стрелой) стояла женщина, держа у самой шеи накиннутую шубку, завалилась белым париком. Вгляделся — Александра. Подбежал. Тут же за углом на лунном свете рубились саблями пан Владислав с паном Малаховским. Прыгали раскорячкой, наскакивали, притоптывая, бешено выхаркивали воздух, полосовали саблей по сабле.

Санька рванулась к Василию, обхватила, прильнула, закинув голову, зажмурясь, — сквозь зубы:

— Увези, увези...

Усатый Малаховский громко вскрикнул, увидя Волкова. Пан Владислав, налетая на него: «Не твоя, не позволим». Через парк подбегали шляхтичи с голыми саблями — разнимать панов.

Василий успокоился, когда отъехали верст с полсотни от пана Малаховского. Саньке он ни слова не поминал, ни о чем не спрашивал, но был строг. Она сидела в возке — не раскрывая глаз, затихшая. Богатые поместья объезжали стороной.

Однажды проводник, сидевший на облучке, засунув застуженные пальцы в узкие рукава тулупчика, завертелся, указывая с пригорка на черепичную кровлю часовни у дороги. Антип просунул голову в возок:

— Василий Васильевич, нам тут не миновать остановки.

Оказалось, часовня эта (в честь святого Яна Непомука) построена знаменитым паном Борейко; о тучности его, обжорстве и хлебосольстве сложились поговорки. Дом пана был далеко от дороги, за темным леском. Чтобы без труда зазывать собутельников, он поставил часовню на самом шляху: в одной пристройке — кухня и погреб, в другой — трапезная. Здесь постоянно жил капуцин — толстяк и весельчак. Правил службы, в скучные часы играл с паном в карты, — вдвоем подкарауливали проезжих.

Кто бы ни ехал, — важный ли пан, беззаботный шляхтич, пропивший последнюю шапку, или мещанин — торго-

вец из местечка, — холопы протягивали канат поперек дороги, пан Борейко, переваливаясь и свистя горлом, подносил ему чашу вина (холопы живо распрягали лошадей), оробевшего человека затаскивали в часовню, капуцин читал молитву, — приступали к пиршеству. Злого пан Борейко людям не чинил, но трезвых не отпускал, много без сознания относили в сани, иной, не приходя в себя, отдавал богу душу — под глухую исповедь капуцина...

— Что же делать-то будем, Василий Васильевич? — спросил Антип.

— Поворачивай, гони, что есть духу, полем.

Видимо, у панов одно было на уме — веселье; казалось, вся Ржечь Посполитая беззаботно пиროвала. В местечках и городках, что ни важный дом, — ворота настежь, на крыльце горланит хмельная шляхта. Зато на городских улицах было чисто, много хороших лавок и торговых рядов. Над лавками и цурильнями, над цеховыми заведеньями — поперек улицы — намалеванные вывески: то дама в остроге, то кавалер на коне, то медный таз над цурильней. В дверях приветливо улыбается немец с фарфоровой трубкой или еврей в хорошей шубе ненахально просит прохожего и проезжего — зайти, взглянуть. Не то, что в Москве купчишка тащит покупателя за полу в худую лавчонку, где одно гнилье втридорога, — здесь войди в любую лавку — глаза разбегутся. Денег нет — отпустят в долг.

Чем ближе к лифляндской границе, городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями. В деревнях уже вывозили навоз. Пахло весной в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к Крейцбургу. Но здесь случилось — чего не ждали.

На постоялом дворе, за перегородкой, отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. (Возвращался в Москву из-за границы.) Услышав русские голоса, вышел в накиннутом тулупчике, лысая голова повязана шелковым фуляром.

— Простите старика, — учтиво поклонился Александре Ивановне. — Весьма обрадован приятной встрече...

Пристально и ласково поглядывал из-под черных, как горностаевые хвосты, бровей на раздевающуюся Саньку. Было ему лет под пятьдесят, — худощавый и низенький, но весь жиловатый. В Москве Толстого не любили, царь не мог простить ему прошлого, когда он с Хованским поднимал стрельцов за Софью. Но Толстой умел ждать. Брался за трудные поручения за границей, выполнял их отлично. Знал языки, изящную словесность, умел сходно купить живописную картину (во дворец Меншикову), полезную книгу, нанять на службу дельного человека. Вперед не вылезал, многие его начинали побаиваться.

— Не в Ригу ли путь держите? — спросил он Александру Ивановну.

Калмычка стягивала с нее валеночки. Санька ответила скучливо: «В Париж торопимся». Толстой пошарил роговую табакерку, постучал средним пальцем по крышке, сунул в табак большой нос:

— Хлопот не оберетесь, лучше поезжайте через Варшаву. (Волков, потирая обветренное лицо, спросил: «Почему?»). В Ливонии война, Василий Васильевич, Рига в осаде.

Санька схватилась за щеки. Волков испуганно заморгал:

— Началась? Как же так? Август один, что ли...

И — поперхнулся, — так холодно-предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич. Поднял нос, испачканный табаком. Чихнул, — концы фулярового платка мотнулись, как уши:

— Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Митаву. Там король Август. Он будет рад видеть вас и в особенности супругу вашу — столь шармант и симпатик...

Толстой кое-что сообщил о начавшейся войне. Еще с осени саксонские батальоны короля Августа начали подтягиваться к ливонской границе, — в Янишки и Митаву. Рижский губернатор Дальберг (три года тому назад бесчестивший великое московское посольство с Петром Алексеевичем) ничего не хотел видеть, нето пренебрегал этой

диверсией. Ригу можно было взять с полета. Но венусовым весельем и безрассудным легкомыслием потеряли неопределенное время, саксонский главнокомандующий, молодой генерал Флеминг, влюбился в племянницу пана Сапеги, — всю зиму пропировал у него в замке. Солдаты пьянствовали своим порядком, грабили курляндские деревни, — мужики стали убегать в Лифляндию, и в Риге наконец спохватились. Губернатор укрепил город.

— С прибытием к войску генерала Карловича военные действия, слава богу, получили начало, — рассказывал Петр Андреевич, морща бритые губы, облюбовывая слова. — Но Венус и Бахус, увы, — неглиже на свист пулек: генерал Флеминг ищет битв более жарких. Вместо подступов к шведам — храбро подступает к фортеции прекрасной польки, — уже увез ее в Дрезден, и там скоро свадьба...

Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут худо. Рассудил, — чтобы миновать какой-нибудь сплошности, не отвечать потом Петру Алексеевичу, — нужно свернуть в Митаву.

— Где ваши рыцари, сударь? Где ваши десять тысяч кирас? Ваши клятвы, сударь? Вы солгали королю!

Август резко поставил зажженный канделябр перед зеркалом среди пушпок, перчаток, флаконов с духами, — одна свеча упала и погасла. Зашагал по серебристому ковру спальни. Обтянутые сильные икры его вздрагивали гневно. Иоганн Паткуль стоял перед ним, бледный, мрачный, стискивая шляпу.

Он сделал все, что было в человеческих силах, — всю зиму писал возбудительные письма, тайно рассылал их рыцарям по ливонским поместьям и в Ригу. Пренебрегая угрозой шведского закона, переодетый купцом, переехал границу и побывал в замках у фон-Бенкендорфа, фон-Сиверса, фон-Палена. Рыцари читали его письма и плакали, вспоминая бывшее могущество ордена, жаловались на хлебные пошлины, а те, кто по редукции лишился части зе-

мель, клялись не пощадить жизни. Но, когда наконец саксонское войско вторглось в Ливонию с манифестами Августа о свержении шведской неволи, из рыцарей никто не осмелился сесть на коня и — хуже того — многие вместе с бюргерами стали укреплять и оборонять Ригу от королевских наемников, жаждающих дорваться до грабежа.

Сегодня Паткуль привез в Митаву эти неутешительные вести. Король прервал обед, схватил со стола канделябр, схватил Паткуля за руку, устремился в спальню...

— Вы толкнули меня в эту войну, сударь, — вы!.. Я обнажил шпагу, опираясь на ваши клетвенные обещания! И вы осмеливаетесь заявить, что лифляндское рыцарство — эти пьяницы и пожиратели ливерной колбасы — еще колеблются!

Август, огромный и великолепный, — в белом военном кафтане, — подступал к Паткулю, стиснув кулаки, яростно тряс кружевными манжетами, в раздражении выкрикивал много лишнего.

— Где датское вспомогательное войско? Вы обещали мне его. Где пятьдесят солдатских полков царя Петра? Где ваши двести тысяч червонцев? Поляки, чорт возьми, ждут этих денег! Поляки ждут моего успеха, чтобы взяться за сабли, или моего провала, — начать неслыханную анархию!

Пена легла с его полных, резко вырезанных губ, холеное лицо тряслось. Паткуль, отведя глаза, сдерживал бешенство, подпиравшее к горлу, — ответил:

— Государь, рыцари хотели бы получить гарантию того, что, свергнув шведское господство, не подвергнутся нашествию московских варваров. В этом, думается мне, причина колебания...

— Вдор! Пустые страхи... Царь Петр клялся на распятии не идти дальше Ямбурга, — русским нужна Ингрия и Корелия. Они не посягнут даже на Нарву.

— Государь, я опасюсь вероломства. Мне известно, из Москвы посланы лазутчики в Нарву и Ревель будто бы для закупки товаров, — им приказано снять планы с этих крепостей.

Август отступил. Большая, с подкрашенными ногтями, рука его упала на эфес шпаги, круглый подбородок выпятился надменно:

— Господин фон-Паткуль, даю вам королевское слово — ни Нарва, ни Ревель, ни — тем паче — Рига не увидят русских. Что бы ни случилось, я вырву эти города из когтей царя Петра...

Король отчаянно скучал в Митаве в герцогском дворце. Его пребывание вблизи войска не ускоряло событий. Удалось только взять крепостцу Кобершанц. Два раза бомбардировали Ригу, но безуспешно. Лифляндские рыцари все еще раздумывали — садиться ли на коней? Польские магнаты настороженно выжидали, готовы, повидимому, на предстоящем сейме запрос королю — с какими целями он втягивает Польшу в эту войну?

Погода в Митаве была скверная. Денег мало. Курляндские помещики неотесаны, жены их более похожи на стельных коров, чем на соблазнительный пол. Молодой курляндский герцог, Фридрих-Вильгельм, чванный пьяница, нагонял непереносимую скуку. Если бы не усилия нового друга Аталии Десмонт, покинувшей вместе с королем веселую Варшаву, пылкому нраву Августа грозила меланхолия.

Аталия Десмонт затевала балы и охоты, выписала из Варшавы итальянских актеров, разбрасывала деньги с такой непонятной щедростью, — даже Август иной раз сопел носом, отдавая распоряжение министру двора — изыскать для графини столько-то золотых дублонов. От сурового климата итальянские актеры чихали и кашляли. На изящно задуманных балах местное дворянство, не знакомое с утонченными наслаждениями, только таршилось на роскошь, подсчитывало в уме, во что это обошлось королю.

Однажды король обедал. По обычаю он ел один, спиной к огню камина, за небольшим столом. Дамы сидели перед ним полукругом на золоченых стульчиках. На короле был небольшой галантный парик, легкий камзол с цветочками, батистовая рубашка падала кружевами

до низа живота. Кравчий, пергаментный старик с крашеными усами, подливал горячее вино. Сегодня присутствовало на приеме шесть местных баронесс со свекольными щеками, шесть породных баронов напряженно стояли за их обсыпанными мукой париками. Два стульчика были не заняты.

Август, жуя фаршированного зайца, мутно поглядывал на дам. Потрескивали дрова. Бароны и баронессы не шевелились, очевидно опасаясь неприличных звуков в виде сопения. Молчание слишком затянулось. Август, облокотясь, вытер губы, уронил на стол салфетку:

— Медам и месье, я не устану повторять о том высоком удовлетворении, которое испытываю, будучи гостем вашего прекрасного города. (Подтвердил это легким движением кисти руки.) Нужно ставить в пример высокие нравственные качества курляндского дворянства: с благородным образом мыслей оно счастливо соединяет трезвую практичность...

Бароны достойно наклонили парики из конского волоса, баронессы, помедлив несколько (так как плохо понимали французскую речь), приподняли пышные зады, присели.

— Медам и месье, увьи, в наш практический век даже короли, заботясь о высшем благе своих подданных, принуждены иногда спускаться на землю. Эту истину не все понимают, увьи. (Вздохнув, подкатил глаза.) Что, кроме горечи, может возбудить близорукая и легкомысленная расточительность иного надутого гордостью пана, расшвыривающего золото на пиры и охоты, на кормление пьяниц и бездельников, в то время, когда его король, как простой солдат, со шпагой идет на штурм вражеской твердыни...

Август отхлебнул вина. Бароны напряженно слушали.

— Королей не принято спрашивать. Но короли во взорах читают волнение души своих подданных. Месье, я начал эту войну один, с десятью тысячами моих гвардейцев. Месье, я начал ее во имя великого принципа. Польша разорвана внутренними междоусобиями. Бранденбургский курфюрст — этот хищ-

ный волк — вгрызается нам в печень. Шведы — хозяева Балтийского моря. Король Карл уже не мальчик, он дерзок. Не вторгнись я первый в Лифляндию — завтра шведы уж были бы здесь, курляндский хлеб обложили пятерной пошлиной, и редукцию распространили бы на ваши земли!

Светлые глаза его расширились. Бароны начали сопеть, дамы втягивали головы.

— Господь возложил на меня миссию — от Эльбы до Днепра, от Померании до Финского побережья водворить мир и благоденствие в единой великой державе. Кто-то должен есть приготовленный суп. Шведские, бранденбургские, амстердамские купцы противятся к нему ложки. Я — дворянин, месье. Я хочу, чтобы суп спокойно ели вы... (Он поднял глаза к потолку, словно меряя расстояние, откуда нужно спуститься.) Вчера я приказал повесить двух фуражиров, — они ограбили несколько ферм в имении барона Иксуля... Но, месье... Мои солдаты проливают кровь, им ничего не нужно, кроме славы... Но лошадям нужен овес и сено, чорт возьми... Я принужден звать к дальновидности тех, за кого мы проливаем кровь...

Бароны багровели, понимая теперь, к чему он клонит. Август, все более раздражаясь их молчанием, начал приправлять речь солдатскими словечками. Вошла Аталия Десмонт, — от полуопущенных век смугло-бледное лицо ее казалось страстным. С изящным принуждением присела перед королем, обмахнулась перламутровым веером (баронессы покосились на эту удивительную парижскую новинку) и — с поклоном:

— Государь, позвольте мне иметь счастье — представить вам прекраснейшую из женщин, московскую Венеру...

Волоча огромный шлейф, подошла к дверям и за руку ввела Александру Ивановну; действительно, изюмная затылка эта была, пожалуй, самая остроумная. Аталия, первая узнав о приезде Волковых, явилась к ним на постоялый двор, оценила качества Александры, перевезла ее к себе во дворец, перерыла ее платье, настрого запретила наде-

вать что-либо московское: «Мой друг, это—одежды самоедов! (Про лучшие-то платья, плаченные по сту червонцев.) Парики! Но их носили в прошлом столетии. После праздника нймф в Версали париков не носят, крошка». Приказала горничной бросить в камин все парики. (Санька до того заробела, — только моргала, на все соглашалась). Аталия раскрыла свои сундуки и обрядила Александру, как «фам де калите в вечерней робе».

Август с приятным удивлением смотрел на московскую Венеру, — две пепельно-русых волы на склоненной голове, кудрявая прядь, падающая на низко открытую грудь, немного цветов в волосах и на платье, простом, без подборов на боках, похожем на греческий туник, через плечо — тканый золотом плащ, волочащийся по ковру.

Август взял ее за кончики пальцев, склонясь, поцеловал. (Она только мельком увидела какие-то красные морды.) Вот он — жданный час. Король был, как из-за тридевяти земель, будто из карточной колоды, — большой, рядный, любезный, с красным ртом, с высокими соболиными бровями, каких у людей не бывает... Санька глядела в его уверенно заблестевшие глаза: «Погибла».

Скоро уже неделя, как Василий сидел на постоялом дворе. Саньку увезли и о нем забыли. Ездил справляться во дворец, — адъютант короля каждый раз любезно уверял, что завтра-де уж король не замедлит его принять. От скуки Василий днем бродил по городу, по кривым улочкам. Узкие, мрачные дома с острыми крышами, с железными дверями — как вымершие, — разве высоко в окошке прильнет к стеклу сердитое лицо в колпаке. На базарных площадях лавки почти все заперты. Иногда — четверкою тощих коней — громыхали пушки по большим булыжникам мостовой. Угрюмые всадники прикрывались шерстяными плащами от сквозного ветра. Одни только нищие — мужики, бабы с исплаканными лицами, дети в тряпье — бродили кучками по городу, глядели, сняв шапки, на окна.

По вечерам, отужинав, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве, о беспокойной службе. Как учили отцы, деды, — будь смирен, богобоязнен, чти старших, — нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут — у кого когти и зубы. Александр Меншиков — дерзок, наглый, давно ли был в денщиках? — губернатор, кавалер, только и ждет случая — выскочить на две головы вперед всех. Алешка Бровкин жалован за набор войска гвардии капитаном, — смело воевод за парики хватает. Яшка Бровкин — мужик толстопятый, зол и груб, — командует кораблем. Санька! Ах, Санька, боже мой, боже мой... Другой бы муж плетью ей всю спину исполосова!.. Значит, надо чего-то еще понять. Нынче тихие — не ко двору. Хочешь не хочешь, карабкайся... (Печальными зрачками глядел на огонек свечи... Душе бы нежиться, как бывало, в тихой усадьбе, под вой вьюги над занесенной крышей... Печь да сверчки, да неспешные, сладкие думы.) Пуфендорфия, что ли, начать читать? Заняться коммерцией, как Александр Меншиков или как Шафиров? Трудно, — не приучены. Война бы скорее... Волковы — смиренные, смиренные, а сядут на коня! Поглядим тогда, кто в первых-то — Яшка ли с Алешкой Бровкины?

В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Август принял его в спальне. Протянул руки навстречу, не допустив преклонить колена, обнял, посадил рядом:

— Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести извинения за беспорядки моего двора... Только-что за обедом узнал о вашем приезде... Графиня Аталия, легкомысленнейшая из женщин, очаровалась вашей супругой, оторвала ее от объятий мужа и уже целую неделю одна наслаждается ее дружбой...

Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо. Говорил громко, со смехом. Впрочем скоро черстал смечтаться:

— Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвезти тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полной безопасности подождет вас под кровом графини Аталлии... Вам известны последние события?

С его лица будто смахнули смех, — глаза стали жесткими, злые складки легли в углах губ...

— Дела под Ригой плохи, — лифляндское рыцарство предало меня. Лучший из моих генералов, Карлович, три дня тому назад пал смертью героя...

Он ладонью прикрыл лицо, словно этой минутой сосредоточенности отдал последний долг несчастному Карловичу...

— Завтра я уезжаю в Варшаву на сейм — предотвратит ужасное броженье умов... В Варшаве я передам вам письма и бумаги... Вы не пощадите сил, вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии...

Иногда среди ночи Аталлия будила горничную, — вздували свечи, затопляли камин, вносили столик с фруктами, паштетами, дичью, вином. Аталлия и Санька вылезали из широкой постели, — в одних сорочках, в чепцах садились ужинать. Саньке до смерти хотелось спать (еще бы — за весь день ни минуты передышки, ни слова попросту, все — с вывертом, всегда — на-чеку), но, потеряв припухшие глаза, мужественно пила вино из рюмки, отливающей, как мыльный пузырь, улыбалась приподнятыми уголками губ. Приехала за границу не дремать, — учиться «рафине». Это самое «рафине» (так объясняла Аталлия) понимают даже не при всех королевских дворах: в самом Версали грубости и свинства весьма достаточно...

— Представь, душа моя, в сырой вечер не отворишь окна, — такое злое воние вокруг дворца, из кустов и даже с балконов... Приворные ютятся в ужасной тесноте в жилых комнатах, спят кое-как, в неряшестве, обливают себя духами, чтобы отбить запах нечистого белья... Ах, Александра, мы с тобой должны поехать в Италию... Это будет прекрасный сон... Это родина всего рафине... К твоим услугам — поэзия, музыка, игра страстей, утонченные на-

слаждения ума... Там — такие дворцы, такие сады и рощи, куда не ворвется грубая жизнь.

Серебряным ножичком Аталлия очищала яблоко. Положив нога на ногу, покачивала тупелькой, полузакрыв глаза, тянула вино:

— Люди — рафине — истинные короли жизни... Послушай, как это сказано: «Добрый землепашец идет за плугом, прилежный ремесленник сидит за ткацким станом, отважный купец с опасностью жизни ставит парус на своем корабле... Зачем трудятся эти люди? Ведь боги умерли... Нет, иные божества меж розовеющих облаков я вижу на Олимпе».

Санька слушала, как очарованный кролик. У Аталлии морщинки набегали на лоб. Протянув пустой стакан: «Налей», — говорила:

— Мой друг, я все же не понимаю, почему вы боитесь принять любовь Августа, — он страдает... Добродетель — только признак недостатка ума. Добродетелью женщина прикрывает нравственное уродство, как испанская королева глухим платьем — дряблую грудь... Но вы умны, вы — блестящи... Вы влюблены в мужа? Никто не мешает изв'являть к нему ваши пылкие чувства, только не делайте этого явно. Не будьте смешны, друг мой. Буржуа в воскресный день идет гулять со своей супругой, держа ее ниже талии, чтобы никто не осмелился отнять у него это сокровище... Но мы с вами не буржуа, моя крошка...

За кружевами чепчика не было видно Санькиного опущенного лица. Что ей было делать? Могла плясать хоть сутки, не присаживаясь, выламываться под какую угодно греческую богиню, в ночь прочесть книжку, наизусть заучить вирши... Но некоторого в себе не могла пересилить: сгорела бы от стыда, замучилась бы после, уговори ее Аталлия по-женски пожалеть короля... («Все это будет, будет конечно, но — не сейчас...») Как объяснить? Не признаваться же, что не на Парнасе родилась, — пасла коров, что вполне бы готова расстаться с добродетелью, но чего-то из себя не в силах выдрать, будто мамань-

кины страшные глаза стерегут заветное, стержень какой-то...

Аталиа не настаивала. Ущипнув Саньку за щеку, перевела разговор:

— Моя мечта — увидеть царя Петра. О, я с благоговением поцелую эту руку, умеющую держать молот и меч. Царь Петр напоминает мне Геркулеса, — его двенадцать подвигов, — он бьется с гидрой, он очищает конюшни Авгия, он поднимает на плечах земной шар... Неужели не сказка, мой друг, что за несколько лет царь Петр создал могучий флот и непобедимую армию? Я хочу знать имена всех маршалов, всех

генералов. Ваш государь — достойный противник королю Карлу. Европа ждет, когда наконец московский орел вонзит когти в гриву шведского льва. Вы должны меня понять, должны утолить мое любопытство...

Всякий раз Аталиа сворачивала разговор на московские дела. Санька отвечала, как умела. Не понимала, почему ей становился неприятен настороженно-вкрадчивый голос подруги... Потом, в постели, натянув одеяло до носа, долго не могла заснуть, растревоженная ночными разговорами. Ах, нелегка была эта самая «рафине»...

*(Продолжение будет печататься
с первой книги 1934 года)*

Рассказ о потерянном дне

Ф. РАСКОЛЬНИКОВ

I

Под широким стеклянным куполом Таврического дворца в этот ясный, морозный январский день с раннего утра оживленно суетились люди. Моисей Соломонович Урицкий, невысокий, бритый, с добрыми глазами, поправляя спадающее с носа пенсне с длинным, заправленным за ухо черным шнурком и переваливаясь с боку на бок, неторопливо ходил по длинным коридорам и светлым залам дворца, хриплым голосом отдавая последние приказания.

Через железную калитку, возле которой проверяет билеты отряд моряков в коротких черных бушлатах, окаймленных крест-накрест пулеметными лентами, я вхожу в погребенный под сугробами снега небольшой сквер Таврического дворца.

По невысокой каменной лестнице, мимо прямых беломраморных колонн я прохожу в просторный вестибюль, раздаваясь и по старинным, извилистым коридорам, пахнущим свежей краской, направляюсь в комиссию по выборам в Учредительное собрание, где мне выдают подписанный Урицким продолговатый билет из тонкого зеленого картона с надписью: «Член Учредительного собрания от Петроградской губернии».

Громадные залы дворца наполняются депутатами. Рабочие и работницы, пришедшие по билетам для публики, заранее занимают места на хорах.

В одной из больших комнат собираются члены фракции большевиков.

Здесь встречаю членов ЦК Сталина и Свердлова. Сплоченной группой держатся москвичи: Скворцов-Степанов, Бубнов, Ломов, Варвара Яковлева.

В ватном пальто с барашковым воротником и в круглой меховой шапке с наушниками быстрой походкой входит Ленин и, на ходу торопливо пожимая руки, кому-то раскланиваясь, застенчиво пробирается на свое место, снимает пальто и осторожно вешает его на спинку стула.

От зимнего солнца и лежащих за окнами мягких сугробов ослепительного снега в комнате необычайно светло.

Яков Михайлович Свердлов в черной, лоснящейся, кожаной куртке, положив на стол теплую меховую шапку, открывает заседание фракции.

Начинаются прения о порядке дня. Кто-то развивает план наших работ в расчете на длительное существование Учредилки. Бухарин нетерпеливо шевелится на стуле и, поднимая указательный палец, требует слова. «Товарищи, — возмущенно и насмешливо говорит он, — неужели вы думаете, что мы будем терять здесь целую неделю? Самое большее — мы просидим три дня». На бледных губах Владимира Ильича играет загадочная улыбка. Товарищ Свердлов, держа в обеих руках лист бумаги с напечатанным на машинке текстом, медленно оглашает «Декларацию прав трудового народа». Выразительно шевелятся его полные губы, окаймленные черными усами и черной остроконечной бородой. «Декларация прав», которая будет предложена Учре-

дительному собранию, закрепляет все действия советской власти в отношении мира, земли и рабочего контроля над предприятиями. Окончив чтение, Свердлов неторопливо садится и, протирая платком снятое с носа пенсне, доброжелательно обводит аудиторию живыми, слегка утомленными темными глазами.

После коротких прений большинство фракции голосует за то, что если Учредительное собрание не примет сегодня «Декларацию», то нам необходимо немедленно уйти из Учредительного собрания.

Без прений принимаем решение не выставлять своей кандидатуры в председатели Учредилки, а поддержать кандидата фракции левых эсеров.

Кто-то докладывает, что во дворец явились в полном составе вожди правых эсеров: Виктор Чернов, Бунаков-Фундаминский и Гоца.

Мы поражаемся наглости Гоца, который руководил восстанием юнкеров, долго скрывался в подполье, а теперь вдруг неожиданно всплыл на поверхность.

Мы узнаем, что эсеры устроили демонстрацию, которая с антисоветскими лозунгами движется к Таврическому дворцу. Вскоре сообщают, что на углу Кирочной и Литейного демонстранты рассеяны красными войсками, стрелявшими в воздух. На бронзовом циферблате стрелка подходит к четырем часам.

Нас торопят, зовут, говорят, что депутаты уже собрались, нервничают и хотят самовольно открыть заседание. Мы прерываем совещание и направляемся в зал заседаний.

II

Огромный амфитеатр со стеклянным потолком и широкими белыми колоннами полон народа. Пустуют лишь места на левом фланге. Наш сектор составляет треть всего зала. В центре и справа разместились эсеры. Вот в первом ряду, повернув назад голову и широко улыбаясь, разговаривает с друзьями Виктор Чернов. Напряженно разглядывая что-то сквозь пенсне, сидит Буна-

ков-Фундаминский с длинными, зачесанным назад волосами. Округлое лицо желающего казаться спокойным Гоца дышит внутренним возбуждением и тревогой. Битком набитые хоры пестреют черными суконными блузами и косоворотками из цветного сатина.

Среди разговоров и шуток, хлопая попиртами, мы неторопливо рассаживаемся по местам. Вдруг в центре зала, где расположились эсеры, поднимается узкоплечий субъект и голосом, полным досады и раздражения, нетерпеливо заявляет: «Товарищи, теперь четыре часа. Предлагаем старшему из членов открыть заседание Учредительного собрания».

Очевидно, эсеры подготовились к торжеству и распределили между собою роли. Как по сигналу, на высокую кафедру с трудом и одышкой подымается дряхлый старик, обросший длинными волосами и окладистой седой бородой. Это — земский деятель, бывший народовец Швецов. Товарищ Свердлов, который должен был открыть заседание, где-то замешкался и опоздал.

Старчески трясущейся рукой Швецов берет за колокольчик и неуверенно трясет им, оглашая зал тонким, дребезжащим звучанием.

Эсеры хотели открыть Учредительное собрание независимо от советской власти. Напротив, нам было важно подчеркнуть, что Учредительное собрание открывается не путем самопроизвольного зачатия, а волею ВЦИК, который отнюдь не намерен передавать Учредилке свои права хозяина Советской страны.

Видя, что Швецов всерьез собирается открыть заседание, мы начинаем бешеную обструкцию. Мы кричим, свистим, топая ногами, стучим кулаками по тонким деревянным попиртам. Когда все это не помогает, мы вскакиваем со своих мест и с криком «долгой» кидаемся к председательской трибуне. Правые эсеры бросаются на защиту старейшего. На паркетных ступеньках трибуны происходит легкая рукопашная схватка.

Швецов растерянно звонит в колокольчик и беззвучно, беспомощно шеве-

лит бледными, трясущимися губами. Своим шумом мы заглушаем его слабый старческий голос. Кто-то из наших хватается Швецова за рукав пиджака и пытается стащить его с трибуны.

Внезапно на председательском возвышении рядом с осанистым, рыхлым Швецовым вырастает узкоплечий и худощавый Свердлов в черной кожаной куртке. С властной уверенностью берет он из рук оторопевшего старца светлый никелированный колокольчик и осторожно, но твердым жестом хладнокровно отстраняет Швецова.

Неистовый шум, крики, протесты, стук кулаков по пюпитрам несутся со скамей взволнованных эсеров и меньшевиков. Но Свердлов, как мраморный монумент, с невозмутимым спокойствием застыл на трибуне и с вызывающей насмешкой окидывает противников сквозь крупные, овальные стекла пенсне. Он хладнокровно звонит в колокольчик и делает широкий, повелительный жест худой, волосатой рукой, безмолвно призывая собрание восстановить тишину. Когда постепенно шум замолкает, Свердлов с необыкновенным достоинством громкой и внятной октавой на весь зал возглашает:

— Исполнительный комитет советов рабочих и крестьянских депутатов поручил мне открыть заседание Учредительного собрания.

— Руки в крови! Довольно крови! — истерически завизжали меньшевики и эсеры, как собаки, которым отдавили хвосты. Бурные аплодисменты с наших скамей заглушили эти истерические стечения.

— Центральный исполнительный комитет советов рабочих и крестьянских депутатов, — металлическим басом торжественно отчеканил товарищ Свердлов.

— Фальсифицированный, — тонким фальцетом пронзительно тьякнул какой-то эсер.

— Выражает надежду, — не смущаясь, попрежнему твердым тоном продолжал товарищ Свердлов, — выражает надежду на полное признание Учредительным собранием всех декретов и постановлений Совета народных комиссаров. Октябрьская революция зажгла

пожар социалистической революции не только в России, но и во всех странах.

На правых скамьях кто-то хихикнул. Яков Михайлович, смерив его уничтожающим, презрительным взглядом, продолжал, повышая голос:

— Мы не сомневаемся, что искры нашего пожара разлетятся по всему миру, и недалек тот день, когда трудящиеся классы всех стран восстанут против своих эксплуататоров так же, как в октябре восстал российский рабочий класс и следом за ним российское крестьянство.

Как стая перелетных белых лебедей порывисто взмывает к небу, так вырвались у нас восторженные аплодисменты.

— Мы не сомневаемся в том, — еще смелее и самоувереннее продолжал председатель ЦИК, все более загораясь от пороха своих собственных слов, — мы не сомневаемся в том, что истинные представители трудящегося народа, заседающие в Учредительном собрании, должны помочь советам покончить с классовыми привилегиями. Представители рабочих и крестьян признали права трудового народа на средства и орудия производства, собственность на которые давала возможность до сих пор господствующим классам всячески эксплуатировать трудовой народ. Как в свое время французская буржуазия в период великой революции 1789-года провозгласила декларацию прав на свободную эксплуатацию людей, лишенных орудий и средств производства, так и наша Российская социалистическая революция должна выставить свою собственную декларацию.

Вся наша фракция опять горячо аплодирует. Другие фракции, насторожившись, хранят враждебное молчание.

— Центральный исполнительный комитет выражает надежду, что Учредительное собрание, поскольку оно правильно выражает интересы народа, присоединится к «Декларации», которую я буду иметь честь сейчас огласить, — заявляет Яков Михайлович и спокойно, не торопясь, торжественно оглашает

«Декларацию», заканчивая свое выступление следующими словами:

— Объявляю по поручению Всероссийского центрального исполнительного комитета советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Учредительное собрание открытым.

Мы поднимаемся и начинаем петь «Интернационал». Все члены Учредительного собрания тоже встают, громко шелкая откидными стульями, и один за другим нестройно подхватывают пение. Медленно и победоносно плавают в воздухе торжествующе-звучное хоровое пение международного пролетарского гимна.

В центре зала, в первом ряду, расставив толстые ноги и высоко закинув курчавую седеющую голову, самодовольно поет, кокетливо улыбаясь и широко раскрывая рот, лидер правых эсеров — Виктор Чернов, этакий Лихач Кудрявич. От удовольствия он закрывает глаза, как увлеченный пением соловей. Иногда он поворачивается своим тучным телом к депутатам и дирижирует толстыми, короткими обрубками пальцев, как псаломщик, исполняющий обязанность регента на клиросе приходской церкви.

— «Но если гром великий грянет над сворой псов и палачей» — поет Учредительное собрание.

При этих словах Виктор Чернов лукаво щурит хитрые, плутоватые глазки, с привычной кокетливой игривостью задронно поблескивает ими и наконец с вызывающей улыбкой на полных, плотоядных губах демонстративно делает широкий, размашистый жест в нашу сторону.

Окончив пение, мы громко провозглашаем:

— Да здравствует совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов! Вся власть Советам!

— Вся власть Учредительному собранию! — раздраженно кричит с места правый эсер Быховский.

Свердлов восстанавливает тишину громогласным заявлением:

— Позвольте надеяться, что основы нового общества, предуказанные в этой «Декларации», останутся незабытыми

и, захватив Россию, постепенно охватят и весь мир.

— Да здравствует Советская республика! — снова летит с наших скамей единодушный восторженный возглас. И с увлечением, не жалея рук, мы оглушительно бьем в ладоши.

III

Слово к порядку дня получает правый эсер Лордкипанидзе. Поднявшись на ораторскую трибуну, он, спеша и волнуясь, словно боясь, что его сейчас лишат слова, гневно заявляет:

— Фракция эсеров полагала бы, что давно уже надо было приступить к работам Учредительному собранию. Мы считаем, что Учредительное собрание может только само открыться; нет иной власти, кроме власти Учредительного собрания, которая может открывать его.

Негодование, переполняющее нас, вырывается наружу. Свистки, шум, крики «долой», удары пюпитрами и по пюпитрам заглушают слова оратора. Сзади него на высокой председательской эстраде невозмутимо застыл Свердлов. Он для приличия звонит в никелированный колокольчик и, метнув в нашу сторону веселыми, жизнерадостно смеющимися глазами, с напускным беспристрастием, небрежно роняет:

— Прошу соблюдать спокойствие.

В наступившей тишине Лордкипанидзе, не оборачиваясь, большим пальцем правой руки указывает через плечо на возвышающегося за его спиной Свердлова и презрительно замечает:

— В виду того, что гражданин, который стоит позади меня, руководит...

Эта наглость окончательно выводит нас из себя. Заключительные слова Лордкипанидзе тонут в страстном нечеловеческом гуле и грохоте, в нейтловом шуме и громких пронзительных свистках.

С изумительной выдержкой Яков Михайлович проходит мимо вызывающей выходки, направленной лично против него, и спокойным тоном человека, уверенного в своих силах, с внешним бесстрастием заявляет:

— Я покорнейше прошу соблюдать тишину. Если потребуется, я собственной властью, данной мне Советами, могу сам призвать к порядку оратора. Будьте добры не шуметь.

Шум прекращается, и Лордкипанидзе, давась и захлебываясь, возобновляет чтение декларации.

— Мы считаем, — заканчивает он, — что выборы председателя должны итти под председательством старейшего. Однако, на этой почве вам, господа, как бы вы этого ни хотели, мы окончательного боя не дадим, на эту уловку не пойдем и на этом формальном поводе разорвать с Учредительным собранием мы вам возможности не дадим.

Лордкипанидзе сходит с трибуны. На его тонком и остром лице просвечивает сознание исполненного долга. В центре и справа его приветствуют аплодисментами. Выступление Лордкипанидзе открывает карты правых эсеров. Мне становится ясно, что они решили «беречь» Учредительное собрание, как в свое время «кадеты» берегли первую Думу. Они котят использовать Учредительное собрание как легальную базу для свержения власти Советов. И я вспоминаю, как за несколько дней до открытия Учредилки мне пришлось до хрипоты спорить с эсерами в красных кирпичных казармах второго Балтийского экипажа на глухом и пустынном Крюковом канале. Правые эсеры тогда играли в банк. Они вели азартную и авантюристическую борьбу за овладение питерским гарнизоном. Подпольные боевые организации правых эсеров стремились внедриться в каждую воинскую часть. На митинг матросов второго Балтийского экипажа явился весь цвет правых эсеров во главе с членом Учредительного собрания Брушвином. Ожидался Виктор Чернов, но он не приехал. В унылом коридоре, освещенном тусклыми электрическими лампочками, я неожиданно встретил молодого эсера Лазаря Алянского, который, заложив руки в карманы широких брюк с клешем, важно разгуливал в темносиней матросской голландке с выпущенным наружу воротником. При встрече со мною он смутился и покраснел.

— Почему я вас вижу в матросской форме? — удивленно спросил я его.

Алянский сконфузился еще больше.

— Я теперь поступил во флот, — смело глядя мне прямо в глаза и, как всегда, сильно картавя, выпалил Лазарь Алянский.

Я не мог сдержать улыбки.

Для проникновения в казармы эсеры широко применили тогда своего рода «хождение в народ», которое на практике превратилось в простой маскарад.

Вскоре открылся митинг. С невысокой эстрады матросского клуба лились горячие речи эсеров с немилосердным завыванием провинциальных трагиков, с громкими истерическими воплями церковных кликуш, с иступленными, звучными ударами кулаком по собственной мясистой груди.

— У вас, большевиков, руки в крови, — грозно рычал, потрясая перстом, правозсеровский златоуст. Но все их укоры и обвинения не находили сочувствия среди моряков. Даже молодые матросы осеннего призыва грудью стояли за советскую власть и за большевистскую партию. Не помог и самоотверженный маскарад Алянского. Во втором Балтийском экипаже эсеры потерпели внушительное поражение. Даже Преображенский и Семеновский полки, на которые больше всего рассчитывали правозсеровские вожди, обманули их ожидания. Несмотря на неутомимую, бешеную активность эсеров, в день Учредительного собрания ни одна часть питерского гарнизона при всех его колебаниях не согласилась поддержать обанкротившуюся партию Керенского и Чернова.

IV

На трибуну неспеша поднимается Иван Иванович Скворцов-Степанов. Повернувшись всем корпусом к правым скамьям и нервно подергивая стриженной, с проседью, головой, он с большим подъемом, доходющим до пафоса, разоблачает лицемерие правых эсеров.

— Товарищи и граждане, — отчетливо и громко басит Скворцов-Степанов, подкрепляя свои слова энергичными

жестами длинной, сухощавой руки, — я прежде всего должен выразить изумление тому, что гражданин предыдущий оратор угрожал нам разрывом с нами, если мы будем предпринимать известные действия. Граждане, сидящие направо! Разрыв между нами давно уже совершился. Вы были по одну сторону баррикады — с белогвардейцами и юнкерами, мы были по другую сторону баррикады — с солдатами, рабочими и крестьянами.

Попутно Иван Иванович как теоретик дает урок политграмоты нашим врагам.

— Как это можно, — недоумевает он, — апеллировать к такому понятию, как общенародная воля... Народ немислим для марксиста, народ не действует в целом. Народ в целом — фикция, и эта фикция нужна господствующим классам. Между нами все покончено, — резюмирует он содержание своей речи. — Вы — в одном мире, с кадетами и буржуазией, мы — в другом мире, с крестьянами и рабочими.

Последние слова он выкрикивает с отчетливой дикцией, отрывисто и как-то особенно резко. Вся речь, сказанная с огромным подъемом, производит сильнейшее впечатление. Впоследствии Скворцов-Степанов с гордостью рассказывал мне, что его речь одобрил Владимир Ильич.

Товарищ Свердлов сухим и официальным тоном предлагает приступить к выборам председателя. Для подсчета голосов каждая фракция выделяет двух представителей. Наша фракция избирает меня и П. Г. Смидовича, с мягкими, седыми волосами и с голубыми, близорукими, как бы изумленными глазами за круглыми стеклами золотых очков. Мы взбираемся по ступенькам на ораторскую трибуну, куда приносят два деревянных ящика, прикрытых с одной стороны черной коленкоровой занавеской. Это — избирательные урны. На одной из них — надпись «Чернов», а на другой — «Спиридонова». Свердлов строгим тоном учителя по алфавиту вызывает депутатов. На трибуне они получают от нас по два шара: черный и белый. В одну урну каждый бросает

белый (избирательный) шар, а в другую — черный (неизбирательный).

Утомленный Свердлов, которому, видно, наскучила утомительная процедура, начинает выкликать депутатов более быстрым темпом, и перед урнами вырастает длинная очередь. Наконец голосование кончено. Со вздохом облегчения мы приступаем к подсчету шаров в обеих урнах. Итоги сообщаем Свердлову.

Председательским колокольчиком он приглашает занять места и бесстрастным, металлическим голосом, совершенно спокойно, заявляет:

— Позвольте огласить результаты голосования. Чернов получил избирательных 244 и неизбирательных — 151. Спиридонова избирательных — 151 и неизбирательных — 244. Таким образом, избранным считается член Учредительного собрания Чернов. Прошу занять места.

И Яков Михайлович с достоинством сходит с трибуны, уступая место сияющему Чернову. Не садясь в кресло, Чернов произносит цветистую речь. Сегодня он, видимо, не в ударе и говорит вяло, с трудом, с напряжением, искусственно взвинчивая себя в наиболее патетических местах.

— Все усталые, которые должны вернуться к своим очагам, которые не могут быть без этого, как голодные не могут быть без пищи... — витийствует Виктор Чернов.

«Словечка в простоте не скажет» — думаю я, тяготясь однообразным и надоедливым красноречием. И мне вспоминается длинноволосый профессор-краснобай Валентин Сперхисский, кумир бестужевских первокурсниц, который даже в домашнем быту, во время болезни говорил напыщенным «высоким стилем»:

— Меня постигла злая инфлюэнция.

— Уже самым фактом открытия первого заседания Учредительного собрания провозглашается конец гражданской войне между народами, населяющими Россию, — торжествуя обводя зал широко раскрытыми глазами, сладкозвучно декламирует Виктор Чернов. Его слушают плохо; даже эсеры болтают, зевают, выходят из зала. Наши на

каждом шагу перебивают его презрительными насмешками, иронией, издевательством.

Публике, переполняющей хоры, тоже надоедает его пустая и нудная болтовня. Публика сверху подает свои реплики. Чернов теряет терпение, просит гостей не вмешиваться в дела собрания, предлагает шумящим удалиться и наконец угрожает «поставить вопрос о том, в состоянии ли здесь некоторые вести себя так, как это подобает членам Учредительного собрания».

Бессильные угрозы Чернова окончательно выводят нас из себя. В шуме и гаме тонут слова Чернова, который, как за спасательный круг, хватается за дребезжащий колокольчик. И в бессилии он погружается в широкое, массивное кресло, откуда торчит лишь его седая, кудлатая голова.

V

Как заунывный осенний дождь, льют-ся в зале потоки скучных речей. Уже давно зажглись, незаметно скрытые за карнизом стеклянного потолка, яркие электрические лампы, освещая зал приятным, матовым светом. Все больше редуют покойные кресла широкого амфитеатра: члены Учредительного собрания прогуливаются по гладкому, скользкому, ярко начищенному паркету роскошного Екатерининского зала, пьют чай и курят в буфете, отводят душу в беседах с партийными друзьями.

Нас приглашают на заседание фракции. По предложению Ленина, мы решаем покинуть Учредительное собрание в виду того, что оно отвергло «Декларацию прав трудящегося и обездоленного народа».

Оглашение заявления о нашем уходе поручается Ломову и мне. Кое-кто хочет вернуться в зал заседаний. Владимир Ильич удерживает от этого шага.

— Неужели вы не понимаете, — говорит он, — что если мы вернемся и после «Декларации» покинем зал заседаний, то наэлектризованные караульные матросы тут же, на месте, перестреляют оставшихся? Этого нельзя

делать ни под каким видом, — категорически заявляет Владимир Ильич.

После фракционного совещания меня и других членов правительства приглашают в министерский павильон на заседание Совнаркома. Я состоял тогда заместителем народного комиссара по морским делам («Замком по морде» — сокращенно прозвали мою должность испытанные остряки).

Заседание Совнаркома началось, как всегда, под председательством Ленина, сидевшего у окна за письменным столом, мягко и по-домашнему озаренным настольной электрической лампой под круглым, зеленым абажуром.

На повестке стоял только один вопрос: что делать с Учредительным собранием после ухода из него нашей фракции?

Владимир Ильич предложил не разгонять собрания, дать ему возможность сегодня ночью выболтаться до конца и свободно разойтись по домам, но зато завтра утром никого не пускать в Таврический дворец. Предложение Ленина принимается Совнаркомом. Мне и Ломову пора идти в зал заседаний.

— Ну, ступайте, ступайте, — напутствует нас Владимир Ильич.

С напечатанным на машинке текстом мы вдвоем спешим в зал заседаний. Все остальные большевики направляются в кулуары. По соглашению с Ломовым я беру на себя оглашение «Декларации».

Войдя в зал заседаний, мы проходим в ложу правительства, расположенную рядом с трибуной оратора. Плохо очиленным карандашом я пишу на вырванном из блокнота клочке бумаги:

«По поручению фракции большевиков прошу слова для внеочередного заявления. Раскольников».

Поднявшись на цыпочки, я протягиваю листок серьезному, уже переставшему улыбаться Чернову, сидящему в кресле на высокой эстраде с величавой суровостью египетского жреца во время торжественного священнодействия. По окончании речи оратора Виктор Чернов объявляет:

— Слово для внеочередного заявления имеет член Учредительного собрания Раскольников.

Я поднимаюсь на трибуну, товарищ Ломов останавливается на ее ступенях.

Во весь голос, без ложного пафоса, но по мере возможности выразительно я читаю заявление о нашем уходе, подчеркивая наиболее важные места. В сознании серьезности оглашаемого документа весь зал насторожился и сразу прекратил разговоры.

Пустые скамьи левого сектора, где еще недавно сидели большевики, зияют, как черный провал. В матросской фуражке, лихо надетой набекрень, с ухарски выбивающимся из-под нее густым клоком черных, смолистых волос, стоит у дверей веселый и жизнерадостный, весь опоясанный пулеметными лентами, начальник караула матрос Железняков. Рядом с ним теснятся в дверях несколько депутатов-большевиков, напряженно следящих за настроением зала.

Среди мертвой тишины я открыто называю эсеров врагами народа, отказавшимися признать для себя обязательной волю громадного большинства трудящихся. Весь зал словно застыл в безмолвии.

Несмотря на резкий язык нашего заявления, никто не перебивает меня. Объяснив, что нам не по пути с Учредительным собранием, отражающим вчерашний день революции, я заявляю о нашем уходе и спускаюсь с высокой трибуны. Публика, покрывавшая каждую фразу моего заявления шумными рукоплесканиями, радостно неистовствует на хорах, дружно и оглушительно бьет в ладоши, от восторга топает ногами и кричит нето «браво», нето «ура».

Кто-то из караула берет винтовку наизготовку и прицеливается в лысого Минора, сидящего на правых скамьях. Другой караульный матрос с гневом хватает его за винтовку и говорит:

— Бр-о-о-сь, дурной!

VI

Владимир Ильич в черном пальто с барашковым воротником и в шапке с наушниками отдаёт в министерском павильоне последние распоряжения. Кто-то из слышавших мое выступление одо-

брительно рассказывает о нем Владимиру Ильичу.

— Я сейчас уезжаю, а вы присмотрите за вашими матросами, — улыбаясь, говорит мне товарищ Ленин. — Разгонять Учредительное собрание не надо, пусть они выболтаются до конца и разойдутся, а завтра утром мы не впустим сюда ни одного человека.

Владимир Ильич протягивает мне крепкую руку; держась за стенку, надевает галоши и через занесенный снегом подъезд министерского павильона выходит на улицу.

Морозная свежесть врывается в полуоткрытую дверь, обитую войлоком и клеенкой; с легким визгом пружины хлопает тяжелая дверь, оставляя в полуметровой прихожей свежий запах мороза и резкий, пронизывающий холодок.

Моисей Соломонович Урицкий, близоруко щуря глаза и поправляя свисающее пенсне, мягко берет меня под руку и приглашает пить чай. Длинным коридором со стеклянными стенами, напоминающими оранжерею, мы обходим шелестящий многословными речами зал заседаний, пересекаем широчайший Екатерининский зал с круглыми мраморными колоннами и неспеша удаляемся в просторную боковую комнату. Урицкий наливает мне чай, с мягкой, застенчивой улыбкой протягивает тарелку с тонко нарезанными кусками лимона, и, помешивая в стаканах ложечками, мы предаемся задушевному разговору. Вдруг в нашу комнату быстрым и твердым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко с густыми, черными волосами и небольшой, аккуратно подстриженной бородкой, в новенькой серой бекеше со сборками в талии.

Даваясь от хохота, он звучным и раскатистым басом рассказывает нам, что матрос Железняков только-что подошел к председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему:

— Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам.

Дрожащими руками Чернов поспешно сложил бумаги и об'явил заседание закрытым.

Было 4 часа 40 минут утра. В ненавешенные окна дворца глядела звездная, морозная ночь. Обрадованные депутаты шумно ринулись к вешалкам, где заспанные швейцары в потрепанных золоченых ливреях лениво натягивали на них пальто и шубы.

В Англии когда-то существовал «Долгий парламент». Учредительное собрание РСФСР было самым коротким парламентом во всей мировой истории. Оно

скончалось после 12 часов 40 минут бесславной и безрадостной жизни.

Когда на другое утро Дыбенко и я рассказали Владимиру Ильичу о жалком конце Учредительного собрания, Ленин, сощуриив гемнокарие глаза, сразу развеселился.

— Неужели Виктор Чернов беспрекословно подчинился требованию начальника караула и не сделал ни малейшей попытки сопротивления? — недоумевал Владимир Ильич; и, глубоко откинувшись в кресле, он долго и заразительно смеялся.



Бианка

(Из рассказов об Октябрьской революции)

А. АРОСЕВ

Цветной бульвар, цирк Соломонского. Тысячи и тысячи людей, жадные до зрелищ, приходят сюда тешить неизбалованное воображение. Никто из них, пожалуй, не станет размышлять про клоунов, наездников, фокусников, акробатов, танцовщиц — кто они, откуда, любят ли свое дело?

Несомненно многие видели наездницу Бианку. Знали, что она итальянка, но никто не заметил в ней ничего особенного.

Какой ветер занес ее в Москву? Какая сила приковала ее к нашей стране? Да, она родом из Италии. У нее бронзовые плечи. Рыжеватые густые волосы. Глаза черные и горячие, как два солнца. Она гибка в движениях, нетерпелива, решительна. Бианка жила, словно по канату ходила. Никто не старался ее поддержать. Столкнуть хотел каждый. В борьбе за хлеб она держалась только благодаря своему сильному телу. Она уважала его. Уважала лошадей, носивших ее в стремительном беге по зрению. Успех Бианки зависел от успеха лошади. Они были товарищи по труду.



В восточном направлении от Рима, к теплому морю Адриатическому, к солнечному портовому городу Анкона, издревле проложена дорога. Римляне называли ее именем Аппия — «виа Аппия». Дорога эта истоптана миллионами лошадиных копыт, десятками миллионов

сандалий, подметок, босых человеческих ступней. По бокам в небо смотрят кипарисы, виноградники пьют солнечные лучи, тянутся каменные заборы, то старые, из массивного камня, то новенькие, из хрупкого кирпича. К заборам липнут или за ними прячутся домишки, кое-где дышит огнем кузница. Тратории¹⁾ без окон и дверей пахнут макаронами и вином. Вправо и влево под широким небом — согбенные потные спины работающих итальянцев — крестьян. Вдоль дороги, у канав, играют дети. Везде — высокая синь, и по ней неизвестно куда плывущие, зовущие с собой облака.

За пятнадцать-шестнадцать километров от Рима лента дороги поднимается на холм. На холме тупая круглая башня, похожая на трубу парохода. У башни — развалины старой стены и ворота в тесный дворик. У ворот сидит маленький, сморщенный, с трубкой во рту старичок, и мечты его — младенческие, как исчезающий дым.

Старичок охраняет руины блестящей могилы консула Цецилия Метеллы. Старичок кажется человеком, у которого смерть позабыла остановить биение сердца. Он сжился с остатками каменных изваяний, наполняющих маленький дворик. Старичок — отец Бианки.

Из Анконы к Риму по дороге Аппия двигался бродячий цирк. По пути он давал представления. Бианка видела однажды с каменного забора, куда за-

¹ Дешевые трактиры.

бралась с мальчишками, цирковое представление. И потом всю ночь не сомкнула глаз. Утром скатала рваные чулки клубками и стала ими жонглировать перед кривым дешевым зеркальцем. Этому занятию она предавалась каждый день. Дома никого не было: брат с приятелями — в придорожной канаве, отец охраняет мертвую башню и мертвый двор Цецилия Метеллы, где живы только розы, пробившие себе путь к солнцу из расщелин камней; матери Бианка не знала, — она давно умерла.

Когда наступил большой праздник, Бианка отпросилась у отца в Рим, куда в этот день люди стекались молиться.

Дом старика был при дороге. За домом — виноградники, а дальше холмы. На холмах пинии, над ними птицы.

Против дома, на другой стороне дороги, — траторрия, за траторрией — луговина. На ней развалины еще каких-то патрицианских домов и дворов. Через эту луговину, мимо руин, без дороги, чтоб скоротать путь, и направилась Бианка к Риму. Не ради бога, а ради цирка.

Бианка бежала. А по дороге терпеливо шли набожные люди. Эти люди жили среди валяющихся тут и там божьих затылков, рук, ног, щек и прочих частей распавшихся богов и тем не менее продолжали оставаться набожными. Видя бесчестие и мерзкий распад мраморных и глиняных богов, люди выдумали богов бестелесных, невещественных. Они не требовали живых жертв, как старые боги, а питались восковыми свечами, негодным к употреблению в пищу маслом и чадящим ладаном. Это были несомненно более практические боги. Они были эфемерны и находились неизвестно где, поэтому можно было без особого риска полагать, что они — везде.



Перед глазами Бианки постепенно открывалась панорама Рима.

Войдя в городские ворота, Бианка увидела несколько извозчиков. Они стояли около колясок и о чем-то негромко беседовали. Поодаль от них, на

камнях Колизея, сидели два черномазых низеньких человека. На перекинутых через плечи ремнях у каждого из них покоилось по плоскому, открытому ящичку, в которых находились образки, крестики, ожерелья, рамки, булавочки, медальоны и прочие безделушки.

Бианка хотела подойти к извозчикам, но ее испугало лиловое, раздутое ветром лицо одного из них. Она подошла к продавцам.

— Синьоры, — робко выговорила она, — где в Риме цирк?

— Вот он, достойная синьорина, — и оба благородным кивком кудрявых голов указали на развалины Колизея.

Бианка видела Колизей впервые и подумала, что это крепость, сгоревшая во время какой-то осады. Она оглянула синьоров недоверчиво. В это время к ним подошел высокий сухой старик в шляпе, с лицом, иссеченным продольными морщинами. Об руку с ним — полная дама с раскрашенным лицом, с жесткими волосами, пропитанными перекисью водорода, ставшими желтыми и неживыми, как у куклы.

Синьоры моментально отвернулись от Бианки и вперебой бросились к сухому старичку и его спутнице. Синьоры предлагали почтенной паре свои безделушки. Они пытались говорить на таком языке, какой, кажется, и на свете не существует. Но к чему тут речь, когда услужливость синьоров так откровенно выдает их желания? Нерешительно подергав тонкими плечами, Бианка вошла в Колизей.

Ничего похожего на цирк. Правда, все помещения шли кругом, но ни кулис, ни настоящей арены, ни артистов, ни публики — ничего, что видела в настоящем цирке Бианка, тут не было. Бианка стала лазить по ступенькам, по камням, по осколкам колонн. Заглядывала в полуподземные этажи. Ей стало скучно и горько.

В Колизей, как в гигантскую, со сломанными зубами, пасть льва, входили любопытные иностранцы. Их со всех сторон облепляли десятки синьоров с безделушками. На маленькую искательницу цирка никто не обращал внимания. Ей стало холодно и чуждо. Выйдя

из Колизея, она уже без страха подошла к лиловолицему извозчику и спросила, где цирк. Лиловое лицо с пьяненькими глазами посмотрело на Бианку отечески нежно и сказало:

— Синьорина, перед вами цирк, существовавший две тысячи лет тому назад при императоре Нероне.

Помолчав, он спросил:

— Какой же еще цирк синьорина неизвестная ищет?

Размашистым, но сдержанным шагом к извозчику подошли два высоких тонкоплечих и прямоспинных англичанина. Тихим голосом, глядя на круп лошади, один из них сказал:

— Катакомбы Сан-Сильвестро, виа Аппия.

Извозчик даже не взглянул на синьорину «неизвестную». Он плюхнулся толстым задом в козлы так, что на них скрипнула кожа. Лошадь дернулась и послушно побежала к виа Аппия.



В цирке Бианку стали учить не жонглерству, о чем она мечтала, а акробатическим упражнениям. Чтобы приучить себя не бояться высоты, ей приходилось прыгать с трапеции в сетку. Зажмурив глаза и быстро шепча слова молитвы, смысла которой она не понимала, сразу ударялась в сетку. Привычка закрывать глаза осталась у ней и тогда, когда она стала акробаткой.

Цирк из Рима переехал в Неаполь.

Бианка стала дружить с лошадьми. В глазах умного животного она иногда чувствовала больше понимания, чем в глазах человека.

Когда директор цирка бил молодую акробатку, она уходила поплакать в стойло белой кобылы. Кобыла была толстозадая, выхоленная, дббрая и приветливо ржала.

Среди артистов цирка появился новый клоун, карлик с большой головой и со сморщенным, как у младенца, лицом. Он кувырконом катался по арене, словно резиновый мяч; ухватившись за хвост бегущей лошади, он стремительно падал вниз лицом, а иногда показывал такие фокусы, которые в средние века

сделали бы из него святого. Играл на всех музыкальных инструментах, известных Бианке. Петъ не умел, но зато рассказывал увлекательно. Бианка его сторонилась, чувствуя в нем что-то страшное, неясное.

Однажды карлик заманил Бианку к себе в уборную и показал ей там один фокус, от которого потом Бианка не могла ни есть, ни пить, ни спать. У нее появились какие-то беспричинные вздрагивания, слезы. Представление о боге, жившее в ней, вдруг потускнело. Все цирковые изображения седовласых святых сгали казаться ей чем-то сходным с отвратительным карликом. У Бианки появились первые приступы ненависти к церквям. Она стала зло смеяться над босоногими доминиканцами, над францисканцами, носившими искусственные лысины на затылках. Ей было страшно терять бога, воспитанного в ней отцом, матерью, попами, соседками, но бог сам неумолимо проваливался в пучину...

Она перестала закрывать глаза при акробатических представлениях. Однажды во время бешеного вихря над ареной поясok Бианки выскочил из зубов державшего ее акробата. Бианка на глазах публики, жаждущей зрелищ, ударилась всем телом о песок арены...



В больнице Бианка отошла, отдышалась. Перелом кости левой руки лишил ее возможности продолжать акробатство.

Решили отправить домой. Бианке было все равно. Денег у нее не было. Из больницы вышла на широкую каменную набережную Неаполя. Был светлый день. Играло солнце на каждом камне. Волны моря мирно катились к набережной.

Ночью волны озверели. Как несметные полчища, ударялись они взерошенными седыми лбами о камни набережной, перелетали ее и соленой, сырой пылью возносились вверх, чтобы вслед за тем низринуться вниз. Вместе с волнами на европейский берег дул теплый африканский ветер. Сахара дышала раскаленными песками и грела Европу — сырую, продрогшую. Это тепло теснило грудь Бианки.

Она заметила, что у самой воды, около лодки, возятся какие-то две хрупкие человеческие фигуры. Бианка по голосам определила, что это мальчишки. Юные рыбаки заметили Бианку и стали знаками и словами приглашать ее к себе. Она теперь знала, зачем приглашают девушек. Вспомнила карлика и отвернулась от зовущих молодых рыбаков. Они начали ее преследовать.

Догнав Бианку и заглянув ей в лицо, они почтительно сняли клетчатые кепи и вступили с ней в разговор:

— Синьорина имеет быстрые ноги.

— Синьорина нас не догонит...

Бианка рассмеялась и сказала, что готова бежать вперегонки.

Когда они все трое пустились, один из рыбаков ловко перекувыркнулся через тумбочку. Бианке это понравилось. Пробежав порядочное расстояние, молодцы остановились и стали вежливо представляться Бианке, назвав отчетливо свои имена.

Один, который был пониже, признался, что он большой любитель цирка и что за эту привязанность нередко ему попадало от отца.

Кавалеры в клетчатых кепках оказались хорошими джентльменами: они напоили Бианку в ближайшем кафе теплым и сытным «каффе латто». Рассказали чудные истории об острове Капри, который выбился над синью вод двумя объатыми туманом шпицами гор, как рогами гигантского Посейдона, погрузившегося в море по самый лоб.

Бианке негде было переночевать. Кавалеры предложили ей провести ночь в лодке, закутавшись в паруса. Бианка согласилась. Ночь была теплая. Небо горело звездами, о дно лодки ударялись солеными поцелуями последние брызги катящихся на берег волн.

Утром явились приятели. Опять начались занимательные рассказы. К полудню, когда солнце стало жечь море и землю, все трое почувствовали, что хотят есть. Кавалеры, ни слова не говоря Бианке, покинули ее. Они решили раздобыть ей какой-нибудь обед. У них не было денег. Им пришла одна дерзкая мысль. Маленький толкнул локтем товарища одной толстой торговки. Она заво-

пила. Тем временем молодцы быстро подбирали разлетевшиеся по земле макароны, помидоры и апельсины. Неизвестно откуда прибежали еще какие-то мальчишки, и все набросились подбирать рассыпанное. К визгу торговки присоединились ругательные вопли других торговков и торговцев. Мальчишки же, подобрав в общей суматохе что успели, пустились наутек — кричали: «Держи, лови, вот, вот он!» Нельзя было разобрать, кто кому кричит, потому что кричали все. Босоногие и небосоногие, но одинаково стремительные, мальчишки успели разбежаться раньше, чем к базару приблизились стражи порядка.

Юные кавалеры принесли Бианке на обед макароны, морковь, апельсины, помидоры и маленьких соленых рыбешек, очень вкусных. Молодые рыбаки пообедали вместе с Бианкой под лодкой, потому что стал накрапывать легкий, теплый неаполитанский дождик.



Им хорошо жилось втроем. Поодаль от стоянки лодки молодые рыбаки сколотили для Бианки из досок нечто вроде маленького домика. Питались они большей частью плодами моря. Рыбаки в клетчатых кепках были работниками у старика-рыболова, получали жалованье натурой и легко сносили стариковскую придирчивость и гнет. Но им давно хотелось ощутить в пригоршне свои собственные чентезми¹⁾ и хоть немного вкусить свободы на трудовые гроши. Бианка, вспомнив, как один из ее новых приятелей ловко кувыркался, предложила им поступить вместе с нею в цирк.

Одной теплой ночью все трое, покинув прибрежное свое жильё, направились в центр города — искать цирк. После скитаний по городу им удалось найти небольшой бродячий цирк и там за дешевую плату устроиться. Низенький сделался младшим акробатом, Бианка — начинающей наездницей. Третий — простым слугою: сматывал и разматывал ковры; но это дело ему вскоре на-

¹ Мелкая серебряная монета, грош.

доело, он не выдержал, грустно простился со своими друзьями и вернулся к рыбацкому делу. Молодой акробат подружился с Бианкой. Но его немного сердило, что не было у ней к нему той звериной сердечности, которая — он знал — так радует. Как только он хотел перейти к сердечности, так в глазах Бианки ловил холодок вражды и непонимания.

Цирк перекочевал в Вену. Ночью на одной из темных улиц, когда они возвращались после представления в самый дешевый отель, семнадцатилетний акробат взял за руки пятнадцатилетнюю наездницу, обнял ее и с силой привлек к себе. В темноте не видно было в глазах Бианки непонимания и холода.

Она его оттолкнула.

Тогда семнадцатилетний акробат со стоном выговорил:

— Через тебя, Бианка, я бросил отца и мать.. Все из-за тебя...

— А я тоже все бросила в Риме...

— Да, ты из-за цирка, ты его любишь.. А я...

— Ты из-за меня, но вот же я перед тобой.

— Этого мало...

— Почему?

— А так! Все смеются надо мной. Безусловно мало. Почему все могут и целоваться и обниматься, а мы..

Он нежно взял Бианку за руки. Она опять отступила.

— Хорошо, — ответил он с треском зубов, — ты меня не понимаешь. Я напишу тебе большое письмо. Узнаешь, оно все скажет, поймешь тогда.

Бианка в самом деле получила от него на восьми страницах вкривь и вкось написанное письмо. Оно кончалось словами:

«Люблю тебя больше, чем весь мир. Будь же моей навеки, как ветер для паруса».

Бианка ему ответила кратким письмом: «Я и есть твоя. Чего же еще тебе надо? Неужели и ты карлик?»

Переписывались они ежедневно: он писал ей утром, она ему — вечером. А работа шла своим чередом. Он жил с клоунами, она — в комнатке с танцовщицами.

Среди клоунов был один — гигантского сложения. Толсторукий, толстобрюхий, обрюзгший. Он уже не мог ни кувыряться, ни плясать, а выдумывал только разные остроумные вещи, чтобы смешить публику. Постоянно рассказывал анекдоты, был полон грязных намеков, — опасный собеседник. Бианка всегда его боялась. Ей было противно, что огромный и старый человек все время прикидывается шутком. А сам никогда не смеется. Разве только когда ругался, тогда, после потока бранных слов, он гоготал. В цирке артисты и артистки знали, кто с кем «связан», почти про каждого ходили какие-нибудь забавные сплетни, только про огромного клоуна никто ничего не говорил и никто не знал, как он живет.

Как-то во время репетиции этот великан подошел ленивой походкой к Бианке и сказал:

— Синьорина, я расскажу вам анекдотец.

У Бианки оборвалось сердце.

— Дело происходило в туманном Лондоне, наши с вами предки называли его «Лондониус». Я жил среди бессердечных, холодных англичан и много бродил по улицам. Тогда во мне еще было желание, виноват, скорее потребность, любить. Тогда я еще не знал, что любовь — обратная сторона смерти. Вот иду по улице. Вечер, тишина. Густой туман с моря застилает все в глазах. Не заметишь ни фонарей, ни прохожих. Холод. У одного дома, прижавшись к крыльцу, стоит женщина.. Да такая хорошенькая, прехорошенькая.

У Бианки пробежал мороз по спине.

— Я — к ней. Она стоит, не дрогнет. Мне даже показалось, что она меня тихо манит. А ведь не соображу, что кругом туман, забыл о нем. Ближе к женщине. И когда очутился вплотную около нее — обмер: передо мной старая-престарая старуха, и при этом от холода или от голода, или от того и другого вместе — окоченевшая до смерти. Доглодала всю свою порцию жизни, невкусную порцию.

— Зачем, синьор, эту сказку вы мне рассказали?

— А к тому, что сегодня утром такая же сказка случилась у нас. Я проснулся и заглянул в комнатушку акробатов, а там на полу протянул ножки наш молоденький акробат и с перерезанным горлышком. Неужели вы не слышали, синьорина? Полиция была. Целый скандал. Записки самоубийца не оставил, но все знают, чьи блестящие глазки сманили его на тот свет. Глаза Бианки потухли.



Так как одинокой Бианке не к кому было обратиться, она написала несколько строк своему отцу. Это было ее первое письмо домой. Отец ответил ей скоро. В сухом письме, полном упреков, не было приглашения вернуться. Бианка осталась наездницей.



Сначала ей было хорошо от того, что ее все оставили в покое и никто не обращал на нее никакого внимания. Разве только какой-нибудь румяный и жизнерадостный клоун потреплет ее по щеке... Она его ударит по рукам, и этим все кончится. От подруг своих она слышала рассказы о разных тяжелых случаях, связанных с любовью, ревностью, ненавистью. Ее поражала всегда бессмысленность таких происшествий. Зачем жить насильно? Другие посвящали ее в свои интимные дела, и Бианке казалось, что если любить так трудно, несомненно и сложно, то зачем заполнять этим свою жизнь? Непонятна ей была необходимость такой интимной жизни.

Однажды в цирке выступал хор, исполнявший комические русские песни. Среди хористов был низенький, худенький — весь из жил и мускулов — краснотлицый, обветренный, белокурый певец-октава. Его голос был слышен большей частью в заключительных нотах, когда волной стлался по самому низу. Хорошо его было слышно и в песне о кукушечке, когда хор пел: «Кукушечка, погадай».

Тенор отвечал: «кү-ку, ку-ку», а октава, дразня кукушку, подкашливал: «гм-гм, гм-гм».

От этой песни Бианка становилась пьяной. И больше всего ей нравилась «белобрысая» октава. В компании артистов, хотя и очень редко, октава пел народные песни.

Сначала Бианке понравились только его песни, потом его жилистые руки, потом вьющиеся пушистые и мягкие волосы. И наконец, не заметив, как это с ней случилось, Бианка на груди одной из своих подруг рассказала со слезами на глазах, что непременно хочет последовать за «октавой» в Россию, страну, где, как она думала, только лес и занесенные снегом степи.

Она нарушила свой контракт и уехала в Петербург, в цирк Чинизелли. А там «октава» нарушил с ней тот устный контракт, который он много раз пел словами:

«Голубка моя, умчимся в края и будем мы там делить пополам и мир, и любовь, и блаженство».

Бианка посмотрела на себя в зеркало и сказала:

— Вот и ты стала такой же, как все.



Бианка была приглашена на работу в московский цирк. В Москве охватила ее жажда жизни. Ее влекло ко всему, что ново, что сулило удовольствие. До нее дошло известие, что «октава» ушел на войну. С тех пор в каждом раненом, в каждом отпущеннике с фронта, с которыми она сталкивалась, она видела своего «октаву».

Посещали ее и черные дни, когда ей хотелось бежать от всех, чтобы забыть всю свою жизнь. В один из таких мрачных вечеров она сидела на бульваре у памятника Гоголю. Мимо нее два раза прошел, гремя шпорами, низенький плечистый поручик. Он подсел к ней. Бианку поразило его сходство с «октавой». Поручик был белобрысый, щекастый. Но нет, это не был «октава». У поручика глаза маленькие, колкие и особенно противны короткопалые руки. А у «октавы» ничего не было противным. Поручик заговорил с ней скороговоркой, почти не открывая рта. Он пригласил Бианку к себе. Она пошла потому, что могла с

ним говорить по-французски. Поручик оказался одиноким человеком. Он был в отпуску и тяготился бездействием, негодовал на армию, на немцев, на революционеров. От него впервые Бианка услышала про революционеров.

Его рассказы о фронте, о крови занимали Бианку больше, чем он сам. Ничто так не гипнотизирует человека, как рассказы о крови. Когда он рассказывал что-нибудь особенно страшное и потрясающее, то хватал Бианку за плечи, словно боялся упасть.

Спустя несколько дней Бианка сидела у него в гостях, в отеле «Люкс» на Тверской, смотрела в окно, лениво щелкала орехи и что-то напевала. Офицер потуже подтягивал свои синие рейтузы, лил на голову и на усы вежеталь, потом притопнул по ковру ногой в тонком красивом сапоге и сказал:

— А война-то, кажется, переезжает в Москву...

Бианке показалось это смешным: неужели и война вроде бродячего цирка?

Поручик разъяснил, что часть русских, по-ученому называемых «большевики», «подкуплена немцами» и ведет пропаганду о том, что воевать надо не с немцами, а с временным правительством Керенского.

Бианка что-то стала вспоминать и спросила, правда ли, что и царь тоже продавался немцам. Офицер это опроверг, однако назвал царя дураком за то, что он начал войну в союзе с французами, испорченными прошлыми революциями, а не в союзе с немцами, у которых честный кайзер. Кайзер помог бы царю, и тогда никогда не было бы февральской революции и не пришли бы к власти демагоги вроде Керенского. Бианка перестала спрашивать, потому что, чем больше говорил поручик, тем непонятнее все было для нее.

Вспомнила вчерашнее. Они возвращались с прогулки. У памятника Скобелеву огромная толпа — митингует. Два инвалида в толпе стучали деревянными ногами о мостовую и кричали: «Гнать на фронт тыловую сволочь, которые окопавшись в тылу». Им поддакивал либеральный полковник: «Разжаловать зем-

гусаров в рядовые». Кто-то в кепке огрызнулся на него: «А приказ номер первый читали? Теперь нет рядовых, полковницкая рожа».

Лицо полковника сжалось в комок.

Кто-то в толпе сочувствовал полковнику:

— Пора заговорить по-настоящему, а то эти пораженцы действительно продадут Россию за братанье.

Тем временем один офицер, ловко вскочивший на пьедестал памятника, обратился сразу в ту сторону толпы, где сочувствовали полковнику.

— Вы говорите: братание, вы думаете, братание против России. Даю заранее честное слово, что человек, сказавший это, смерти в глаза не видал, на фронте никогда не бывал. Мы знаем, кто ратует за войну до победоносного конца: те, кто пороху не нюхал, те, кто устроились в тыловых штабах, те, кто имели бакалейные и галантерейные лавочки, а теперь заделались тыловыми писарями. Я, товарищи, дважды ранен, трижды контужен, вы шпики, которые несомненно имеются тут, на-те, возьмите, запомните мое имя: я поручик Чиколлини, я говорю, что рабочая революционная Россия вся, как один человек, за братание, за мир, за то, чтобы положить конец войне...

Длиннолицый белокурый офицер схватил сзади за плечи Чиколлини и замгильным голосом протестовал:

— Поручик, вы позорите погоньи офицера: или снимите их, или отрекитесь от большевизма.

Чиколлини его оттолкнул:

— Прочь, щенок...

Это услышали все, и большинство громко зааплодировали, захохотали.

Поручик, приятель Бианки, покачал головой. Он испытывал страшную ненависть к толпе, которая аплодировала и слушала варварские речи. Ему все люди показались глупыми, все: и те, кто были за войну, и те, кто против нее, и все эти политические споры казались несущественными. Существенным он считал визг шрапнели, разрывающейся не раз над его головой, зеленое облако немецких удушливых газов да неубранные трупы.

Поручик последние дни привык спастись от раздражающего его чувства на груди Бианки.

Только с Бианкой забывал он тревожные новости, которые вдруг неожиданно-негадано с улицы, из штабов, из казарм врываются в его голову и создавали в ней путаницу.

Он обнял Бианку. Она продолжала смотреть в окно. По Тверской проходили вооруженные солдаты и громко пели «Интернационал».

— Какая строгая песня! Ты ее знаешь?

— Нет, а вот если ты любишь песни и понимаешь в них толк, пойдем сегодня в одно кафе, там футуристы будут дурачиться. Будет весело.



Кафе, куда пошли поручик и Бианка, называлось «Красный петух». Оно помещалось в одном из маленьких переулков на Тверской. Стены его раскрашивал Давид Бурлюк. Маяковский и Каменский были постоянными посетителями и артистами кафе. Когда перед Бианкой распахнулась деревянная дверь в наполненную табачным дымом комнату, то первое, что она услышала, были слова с эстрады:

— Чго, лысые, смотрите на меня? Я великим не чета, я над всем, что сделано, ставлю нигиль.

Бианка рассмотрела и эстраду, и рослого человека, который ходил по сцене, вращал огненными глазами и басил.

Рядом с ним в зелёном фраке держался кудрявый, белый Каменский. Он сел на стул, взял гармошку. Она простонала что-то русское, заречное, а огромный Маяковский полупропел:

— Ешь ананасы и яблоки жуй, день твой последний приходит, буржуй.

Лысые, сидевшие тут же, ни капелки не обижались. Они веселились, как самоубийцы.

Когда Маяковский кончил декламацию, Каменский бережно поставил свою маленькую блестящую гармонь на пол и сам стал читать свои стихи звонким голосом. Он скользил по сцене легкой походкой. Сам белый, воздушный,

светлоглазый, как серафим, он отчеканивал:

На крыльях рубиновых, оправленных
золотом,

Я разлетелся уральским орлом...

С сердцем долиновым, сердцем
проколотым

Я лечу на великий пролом!

— Куда летит он? — спросила Бианка.

— Куда же теперь осталось лететь: на пролом. Но мы в конце-концов им покажем.

— Кому?

— Проломщикам, которые власти захотели, которые воевать не хотят.

— Что это «власть»?

— Власть — это обман: накачают кого-либо авторитетом до того, что ему самому дышать трудно, как например нашего царя, ну а потом власть и ломается.

— Это и есть пролом?

— Да черт его разберет. Не спрашивай меня, Бианка: я человек военный, к тому же в отпуску. Мое дело уметь хорошо умирать. Чем меньше думаешь, тем легче это сделать.

В это время две женщины, худые, ломкие, составленные будто из корсетных костей, вскочили на длинный деревянный стол, за которым сидело много лысых, и стали танцевать. Они переставляли ноги бойко, но невесело, умело, но некрасиво, шумно, но немусыкально. Они плясали сиротливо, опасливо. Изображали танец смерти. Это были две смерти: одна — трагическая, с синими кругами под глазами и черными бантами на ногах, другая — героическая, с красными кругами у глаз и красными перьями в голове. Бианке казалось, что лысые головы — это футбольные мячи и что вот-вот танцовщицы начнут ногами бить по головам. Вася Каменский показался Бианке клоуном, а кафе — ареной цирка, где нет публики, где происходит репетиция.

Бианка сердито посмотрела на поручика и потребовала проводить ее домой или остаться одному, если ему здесь весело.

Поручик впервые ясно представил, что Бианка посторонняя ему и имеет право когда угодно оставить его. Эта мысль испугала поручика.

— Нет, нет, я тебя провожу, синьорина.

Когда они вышли из кафе, улицы Москвы были темными. Где-то в дальних воротах слышалась перебранка двух голосов. Проходили люди в солдатских шинелях и озабоченно о чем-то спорили. Встретился какой-то человек в широкополой мятой шляпе, похожий на литератора. Он нес толстые кипы плохо сложенных не то газет, не то листовок. Одна худая калоша у этого литератора хлюпала, да и сам он хлюпал простуженным носом.

Когда Бианка и поручик вышли на Тверскую, они влились в общий поток, направлявшийся к памятнику Пушкину. Там происходил митинг. Офицер предложил свернуть в сторону, но Бианка не захотела.

Высокий, согбенный, в очках, человек, непривыкший к улице и ее жестам, произносил горячую речь негромким надорванным голосом. В том, как он выговаривал слова, чувствовалось, что произносимое им давно взлелеяно в его мечтательной душе. Это взлелеянное он высказывал людям впервые. Что-то скажут люди, как-то они его поймут? Люди хорошо его поняли. Они аплодировали, и некоторые кричали «ура».

Бианка глубже втиснулась в толпу. Поручик подтолкнул ее под локоть, — дескать, пойдем. Но ей хотелось стоять и слушать непонятные слова ораторов.

На ступеньки памятника поднялся небольшого роста солдат. В потемках нельзя было разобрать его лица. Рукава его шинели были очень длинные. Воротник шинели насадал на шею так, будто солдата кто-то долго таскал за шиворот. Солдат начал почти шопотом. Толпа затихла так, что голос осипшего оратора был слышнее, чем если бы он говорил громовым басом:

«Наша программа, братцы и товарищи, ясна, как гвоздь, как стеклышко.

Наша программа, товарищи и братья, короткая и простая.

Вот она: мира, хлеба и власти...»

Он воздел вверх руки в длинных рукавах и соскочил со ступенек в народ.

Бианка не понимала слов, но отлично чувствовала музыку речей. Ее итальянское сердце билось радостью рождающегося нового мира, и от этого она поняла два слова: мир и хлеб. Она знала, что это самое нужное для людей, что на этом держится вся жизнь, потому что все, что не хлеб и не мир, — смерть. Не поняла она последнего слова «власть». Но спрашивать у поручика ей не хотелось, и решила быстро, что власть, вероятно, это что-нибудь такое, посредством чего можно обеспечить и мир, и хлеб.

Поручик опять потянул ее к себе. Она не заметила, что рука его тихо вздрагивала. Оторвавшись от него, Бианка утонула в толпе, как камень в воде.

Она протискивалась вперед до тех пор, пока не уперлась грудью в тощую спину высокого человека в серой шинели. Бианка не заметила, что шинель эта была не солдатского покроя, а арестантского. Человек оглянулся на Бианку. Глаза его горели, как два больших угля. Он хотел пропустить ее вперед, пытался раздвинуть толпу и положил руку Бианке на плечо. Не снимая руки с плеча, человек сказал:

— Эх, товарищ милый, вот какие дни-то настали!

Грянуло тысячеголосое «ура». Высокий человек отпустил плечо Бианки и слил свой голос с другими. Бианка тоже прокричала «ура». Глаза высокого, сухого человека горели еще ярче. Силой движения теснящейся толпы Бианка очутилась впереди высокого человека. Он ей опять шепнул:

— Вот какие дни и ночи наступили, милый товарищ!

И секунду спустя Бианка почувствовала, как ей на шею за открытый воротник жакетки упала одна горячая слеза. Бианка хотела что-то сказать человеку, но как и что — не знала. Он начал опять:

— Вы не обижайтесь на меня. Теперь весь свет милый. Может, это только мне одному: я недавно снял цепи... и покинул каторжную тюрьму.

Он стал тяжело дышать, закашлялся и близко наклонился к Бианке:

— Если хочешь, я покажу тебе, товарищ, вот посмотри... Видишь, на ногах набиты култышки и ссадины. Это от цепей. А теперь...

Бианка ничего не поняла, но удивилась, что в осеннюю слякоть и холод человек был в опорках на босу ногу.

В толпе крикнули: «Да здравствует революция!», и высокий крикнул: «Да здравствует революция!». Бианке это очень понравилось, она знала слово «революция». Она испытывала огромную радость, как будто находилась в компании всемогущих богов, и от восторга крикнула:

— О компании, солдаты, лаборатории, мульты, мульты ура.

Сухие пальцы клещами сжали ее оба плеча. Стоявшие вокруг Бианки стали ей аплодировать и кричать:

— Да здравствует революция!

И опять высокий вторил:

— Да здравствует мать-революция!

Грустью сжалось сердце Бианки, когда она заметила, что ораторы перестали появляться на педестале памятника Пушкину и толпа начала раскалываться на мелкие группы.

Бианка не знала, что ей следует теперь делать. Она знала только одно, что от прежней жизни она раз навсегда отрезана, что она не помнит теперь дороги в свою убогую каморку на Трубной площади, что больше нет путей к прошлому.

Куда же ей теперь податься? Ее рука очутилась в руке каторжанина, и он повел ее за собой.

Они шли долго, молча, пустынными улицами, где было больше деревянных заборов, чем домов. Издалека слышались и умерли в темноте два револьверных выстрела. Бианка не знала, куда идет, но шла с таким же восторгом, как тогда, давно, в Рим...

По скрипучей, покосившейся деревянной лестнице каторжанин вел Бианку за руку бережно, как ребенка. Раньше никто никогда так не водил Бианку.

Он постучал левой рукой в дверь. За

дверью скрипнул крючок и закачался на гвозде. Согнувшись, чтоб лбом не удариться о притолку (каторжанин был без шапки), он вошел в тесную комнату и ввел за собою Бианку.

Навстречу вошедшим бросились радостно три девицы. Две голубоглазых, одна черноокая. Все три сразу заахали: — А мы-то тебя ждали... Мы искали тебя... Мы беспокоились о тебе..

Каторжанин сорвал с себя шинель и бросил ее в угол, где стояла кровать.

— Позвольте вас познакомить: мои сестры. А это наш новый товарищ, иностранка.

Сестры не знали, как нужно приветствовать нового товарища. Они спросили Бианку:

— Вы тоже в подпольи работали?

Бианка поняла только слово «работали» и ответила:

— Да, в цирке Чинизелли, и еще...

Старшая сестра покосилась на артистку, младшая — на брата, а средняя, чтоб вывести всех из смущения, заторопилась накрывать чай на стол и раскладывать на тарелки консервированное мясо из банок.

— Он целый день ничего не ел.. с самого утра. Мы, впрочем, тоже.. Все митинги, митинги и митинги. Садитесь, товарищ, перекусите и скорее все спать.

В это время на пороге показался голубоглазый, весь в веснушках, молодой человек с дорожным мешком за плечами.

Каторжанин бросился на шею вошедшему, восклицая:

— Брат!

Сестры поперебой кричали:

— Карл... Карл... Карл..

Карл дарил всех крепкими рукопожатиями и восторженными поцелуями. То же самое пришлось и на долю Бианки. Ей впервые стало тепло среди людей. Она не знала раньше такой близости между людьми. Но тут же подумала, не лишняя ли она при такой семейной радости. Встала и хотела уйти. Братья и сестры решительно ее остановили.

Карл только-что пришел с фронта. Он рассказывал о братании, о том, как немцы принимали у себя в окопах рус-

ских солдат, поили их коньяком, а наши давали им воззвания на немецком языке. Как вместо ружейных перестрелок между окопными жителями той и другой стороны загорались политические споры. Как немцы, раздобревшие от братания, сами ходили к русским в окопы, пили вместе водку, хвалили русскую махорку и открыто бранили своего Вильгельма.

Карл был весел и рассказывал такие вещи, что даже Бианка их понимала и от души хохотала. Например о том, как наши, чтоб подразнить немцев, вылезали иногда за большой нуждой из окопов. Эксперименты такие кончались для некоторых трагически, но это не останавливало любителей поозорничать.

Рассказывал Карл, как на фронте началась революция, как выступал Крыленко, как арестовывали и отсылали в тыл ненадежных солдат, как солдаты на митингах говорили, что можем отступить хоть до Владивостока, лишь бы революцию сохранить, а немец все равно подавится нашими пространствами.

Рассказы Карла, как и поручика, были фронтовые, но от Карла, хоть и с пятого на десятое, Бианка узнавала совсем не то, что из рассказов поручика.

Брат Карла, бывший каторжанин, говорил ему о революции, о спорах между эсерами и меньшевиками, с одной стороны, и большевиками — с другой. Революция, революция, революция — это слово всего чаще слышала Бианка. Усталые, немного нетерпеливые сестры приглашали уже давно всех спать.

Только к утру стали укладываться: братья — на полу, сестры — на двух диванах. Кровать все единодушно предложили Бианке. Она отказалась и требовала, чтобы на кровати легли сестры. Порешили кровать предоставить Бианке и старшей сестре.

Серое, хмурое утро дождем зачалось над Москвой.

Когда поручик потерял Бианку, ему некуда было скрыться от суровых настроений и от разедающих, беспокоящих вопросов, порождаемых московски-

ми улицами. Раньше, глядя в итальянские глаза Бианки, он забывал, какое сегодня число и какие заботы на завтра. Он смотрел на Бианку, как на тихую, спокойную воду, где отражается голубое небо и плывущие кучевые облака.

Теперь, оглядывая один свою комнату, он воспринимал ее, как комнату самоубийцы. По Тверской все время маршировали солдаты. Чорт их знает, в одно прекрасное утро ворвутся к нему!

Проведя в неясной, беспокойной тоске несколько дней, он отправился в отель «Метрополь» к одному своему приятелю.

В «Метрополе» жило много офицеров. Когда вошел туда поручик, он уже в вестибюле почувствовал, что происходит что-то неладное. Толпились офицеры и юнкера. Оказалось, что сегодня рано утром по приказу командующего округом Рябцева юнкера заняли почтамт, а днем к начальнику почтамта явились двое, — один в штатском, другой — офицер, — назвали себя представителями военно-революционного комитета и заявили, что без визы этого комитета ни одна телеграмма не должна быть передаваема. Затем эти представители в категорической форме потребовали увода юнкеров из почтамта. Начальник почтамта конечно не признал над собою власти неизвестного ему военно-революционного комитета и ответил отказом на первое и на второе предложения. Тогда большевистские представители обещали расправиться с начальником и вооруженной силой удалить юнкеров. Смелость, с какой действовали большевики, производила паническое действие даже на самых неустрашимых штаб- и обер-офицеров. Сдержанно-жужжащий «Метрополь» не был похож в этот день на гостиницу.

Сверху широкой лестницы на поручика смотрели черные, блестящие глаза невысокого офицера — помощника Рябцева. Он шел навстречу поручику:

— Я вас весь день ищу по телефону. Немедленно в Кремль. Вступить в командование юнкерами. Занять с внешней стороны все входы в Кремль. Никого не пропускать... — И совсем тихо,

на ухо: — В Петербурге Ленин назначил себя главою нового правительства Керенский в Гатчине отбивается от большевиков. Через несколько часов авантюра будет ликвидирована.

Поручик хотел что-то спросить, но помощник Рябцева приподнял вверх ладонь с золотым кольцом на пальце. Значит, рассуждения излишни.

Поручик принял командование и расположился со своей группой юнкеров в воротах Кутафьей башни.

Ему было не по себе видеть в центре Москвы фронт, мало чем отличающийся от настоящего. Юнкерам тоже было жутко. Один из них, шепелявый юнец, пытался объяснить поручику смысл происходящего. По его словам, дело было все в том, что русская революция очень похожа на португальскую, где даже полицейские пристава были за республику. В ответ на это поручик крикнул, застегнул себя на все пуговицы и повернулся спиной к теоретику революций.

В жуткой тишине поручику послышалось, что на Замоскворецкой стороне кто-то стонет.



Это был не стон, а дыхание тысячи и тысяч солдатских грудей. Без офицеров, но в полном вооружении, без формального приказа, но по призыву военно-революционного комитета, без крикливого пафоса, но с полной решимостью победить или умереть, солдаты всех замоскворецких казарм скапливались, набухали отрядами под прикрытием тихой ночи у Большого Каменного моста. В головном отряде этих воинов шел высокий человек, освобожденный с каторги, знакомец Бианки. Арестантская шинель его была крепко стянута солдатским поясом, а за поясом с каждой стороны висело по маузеру. Солдаты, как потоки лавы, запрудили улицы, ведущие к мосту.

У самого моста в полной темноте вожатый произнес речь:

— Товарищи и братья, держитесь крепче, плотнее, плечо в плечо. На этот раз победа наша не будет бескровной. Мы свернем шею капитализму. Да здравствует труд, да здравствует революционное оружие!

Высокий водитель раз'яснил солдатам, что дальше через мост идти нельзя, потому что неизвестно, что на той стороне и какие силы у юнкеров. Поэтому держать винтовки наготове, но до новых известий ни шагу дальше. Так стояли солдаты спокойно до утра.

Под утро поручик заметил в туманной дали у манежа неясную фигуру женщины. Шепелявый юнкер вызвался задержать ее. Юнкер подкрался к женщине сзади и, наведя в затылок револьвер, тихо проговорил:

— Стой. Кто ты?

Женщина спокойно повернула свое лицо к юнкеру и назвала по фамилии поручика.

— Ах, вы к нему? Это весело, — прошепелявил юнкер и, бережно взяв женщину под руку, повел ее через улицу к Кутафьей башне.

— Вас спрашивает, — отрекомендовал он ее поручику.

Тот был приятно поражен: перед ним стояла Бианка.

— Зачем вы тут ходите? Тут сейчас начнется стрельба, что вы делаете?

— Искала вас, поручик. Пойдемте со мной.

— Куда?

— Со мной, в уединение.

Разговор происходил на французском языке. Среди юнкеров могли быть люди, знающие этот язык, поэтому поручик сделал Бианке знак глазами, чтобы она была осторожнее. Она ответила лукавой улыбкой, полуоткрыла рот и показала свои белые зубы.

— Господа, — обратился он к группе юнкеров, находившихся вблизи, — я приказываю вам выйти на Воздвиженку, необходимо знать, не занята ли она большевистскими отрядами.

— Осмелюсь доложить, там наши...

— Я здесь командир. Прошу выполнить мой приказ.

Юнкера выстроились по парам и, шлепая новыми сапогами по растоптанной грязи, направились к Воздвиженке.

— Я должен быть здесь, — повторил он Бианке.

— Здесь дело безнадежное, плюньте.

— А у них?

— Я «их» не знаю. Что мне за дело? Я хочу вас спасти.

Поручик ничего не ответил. Посмотрел в сторону Воздвиженки. Утро было в полном разгаре. На углу Моховой и Воздвиженки топтались юнкера, посланные поручиком.

Бианка капризно говорила:

— Вы в тяжелую минуту бросаете меня на произвол судьбы. Может быть, меня убьют. С опасностью для собственной жизни я искала вас. Нашла, и вот... Так поступают разве с женщинами, дававшими когда-то радость?

— Не я, а ты от меня ушла.

— Только из любопытства и по глупости. Ведь вот теперь я возвратилась. Ну, идите, идите. День настал, видите, никто не стреляет.

Поручик пронзительно свистнул. От манежа приближалась к нему группа юнкеров, которой прежде не было видно.

Группа шла под командою румяного прапорщика.

— Честь имею явиться, — отрапортовал он.

— Вы вступите в командование юнкерами, которые держат входы в Кремль. Я имею секретный вызов в комитет спасения¹). Вернись скоро. Вызовите обратно сюда ту группу, которую я послал на разведку к Воздвиженке.

Румяный прапорщик отчетливо сотряс воздух:

— Слушаюсь, господин поручик.

Бианка пошла вперед, к Большому Каменному мосту. Поручик, куря папиросу за папиросой, следовал за ней. Он смотрел на Бианку жадными глазами и сознательно не отводил от нее взора, чтобы легче забыть служебное преступление, на которое он пошел.

Его утешала мысль, что все равно сейчас такая каша, что никто и ничего не поймет и не разберет, где и с кем он был.

Когда они были на мосту, навстречу им двинулась группа вооруженных рабочих и солдат с ружьями наперевес. Солдаты кричали: «Стой, стой, а не то стрелять...»

¹ Центр, руководивший белыми против революционных солдат.

Поручик хотел было повернуть. Бианка кошкой вцепилась в его шинель.

— Стой, стой, — лихорадочно шептала она, — ты покидаешь женщину, твоя женщина в опасности.

Поручик рванулся от нее. Но пальцы Бианки оказались сильными. Глаза офицера сузились, нос обострился, скулы нервно задержались. Он вынул револьвер и навел его на Бианку. Она изогнулась и, не выпуская полы шинели из рук, движением ловкой акробатки подпрыгнула и ногой вышибла у него револьвер из рук.

В это время подоспели бежавшие к ним рабочие и солдаты. Они скомандовали: «Руки вверх!» Поручик исполнил команду. Солдат подошел к Бианке:

— А ты что? Поднимай руки, а то застрелим.

— Я па-русски не понимаю, — сказала она заученную фразу. — Товарищ Павел.

— Кто, чего? Да ты чья?

— Я к товарищу Павел, — сказала Бианка четко.

Солдаты переглянулись. Обыскали поручика. Отобрали свисток и револьвер. Окружили и повели его и Бианку к Павлу. Павлом звали высокого водителя. Он вместе с походным штабом сидел в чайной. Павел обнял Бианку. Опять, как тогда, на митинге, называл ее милым товарищем и говорил:

— Хорошо, очень хорошо.

Бианка спросила:

— Что хорошо?

— А то, что ты нам языка привела.

Павел тут же приказал поручику начертить точное расположение юнкерских частей под Кремлем, на Арбате и в Лефортове. Когда поручик исполнил задание, Павел вывел его на Якиманку и сказал:

— Теперь иди, куда хочешь.

Солдаты, бывшие при этом, сокрушенно качали головой:

— Рано пленных-то отпускать, он нам еще насолит.

Поручик пошел боязливо, — он ожидал худшего и больше к белым отрядам не вернулся.

Поздно вечером по команде Павла солдаты и красногвардейцы двинулись

через мост. В то же время юнкера, охранявшие входы в Кремль, получили приказ «ворваться» в Замоскворечье. Солдаты вступили на мост сплошной темносерой массой. Юнкера двинулись к мосту правильными цепями. С Красной площади доносились раскаты первых ружейных и пулеметных выстрелов. Вошедшие на мост с той и другой стороны оказались лицом к лицу. Винтовки и пулеметы заговорили.

Сплошная солдатская масса стала распадаться на мелкие группы и отступать за углы домов. Собравшись с силами, группы солдат и рабочих снова с боем входили на мост. Впереди был Павел. А за ним в рядах бойцов шагала Бианка. Она не умела стрелять. Она сгибалась над ползущими по тротуарам и мостовой ранеными. Кого за руки, кого за ноги, кого за ремень, кого за ворот шинели она оттаскивала в ближайший двор. Там рвала на себе юбку и перевязывала липкие, набухающие кровью раны. Когда рвать на себе стало нечего, она вошла в первый большой дом. Там прятались перепуганные обыватели и старухи на коленях молились о ниспослании мира. Бианка на ломаном русском языке, но совершенно твердо потребовала марли, полотна, полотенец, носовых платков, йоду, ваты.

А на мосту гремели выстрелы. Гремели они и за мостом, гремели они в самых разных частях города, все учащаясь и учащаясь. Дворы и квартиры наполнялись ранеными. У Бианки не хватало ни сил, ни перевязочных материалов, чтобы спасти всех падающих.

Многие солдаты помогали ей. Они подбирали и юнкеров, и своих. Павел не раз выходил из линии огня, чтобы посмотреть на лазареты во дворах, чтобы еще и еще раз пожать тонкие руки Бианки. Он говорил ей:

— Ты наша. Хорошо.

— Что хорошо?—спрашивала Бианка.

— Все: и твои лазареты, и ты сама, и наша революция.

Войска военно-революционного комитета заняли мост и продвинулись до самых Троицких ворот.

К полудню загрохотали пушки. Кажется, с Воробьевых гор. И еще издалека, — с Лефортова.

Москва окончательно раскололась пополам, как старая корчага.



Когда победа свершилась, Бианка сидела в комнате Павла, смотрела в окно и думала, зачем не она погибла, а он, Павел. Он лежит под кремлевской стеной с офицерской пулей в сердце. Сзади Бианки, в темном углу комнаты, на кровати, сидели сестры Павла и не могли сдержать слез о брате, только недавно вышедшем на волю.

На улице, под окнами их каморки, шумели знамена, «Интернационал» сотрясал стены и окна домов.

Четыре женщины знали, как дорого стоит такая победа. Они уже не могли теперь расстаться. Их общее горе было отчасти причиной общего счастья и ликования улицы. Оно спаяло их. Бианка, смотря на парад, на восторженные лица, на прыжки, раздираемые победными кликами, на шапки, дерзко летящие в пасмурное небо, начинала понимать, что ее трудный путь от башни Цецилия Метеллы до московской революции только теперь привел ее к началу настоящей жизни. Бианке стало ясно, что свои силы, знания и цирковое искусство она отдаст новому миру, родившемуся на той земле, которая не была закована в руины и отягощена развалом старых, упавших культур.

Скрипнула дверь, отворилась. И опять на пороге, светлокурый, светлоглазый, весь в веснушках, с волосами, будто бурей, отброшенными назад, появился Карл:

— Здравствуйте, товарищи и сестры! На-днях мы приступим к конфискации банков. Будете нам помогать?

Сестры и Бианка утвердительно ответили глазами.

Бианка вместе с другими отдала всю себя на завоевание новой жизни и больше не возвращалась в родную страну развалин.

Шпиндлермюлле
Февраль 1933 г

Горы

Роман

В. ЗАЗУБРИН

(Окончание ¹)

Домой Безуглый возвращался один, верхом, другой дорогой. Он решил сделать крюк, чтобы заехать на заимку Поликарпа Петровича Агапова — своего первого учителя. Агапов раньше жил в Тамбовской губернии, был младшим конторщиком в имении графа Воронцова-Дашкова и ту же должность занимал в совхозе, организованном на землях сановного помещика. Он выучил Безуглого грамоте и до отъезда Дарьи с сыновьями в город к дяде Якову давал Ивану читать книжки в красных обложках *Взвод драгун-усмирителей*, расквартированный в имении после разгрома первой революции, выпорол Агапова вместе с тремя десятками крестьян из Собаковки. Конторщик тогда перестал интересоваться пламенными брошюрками, сделался толстовцем. Он одел просторную блузу с широким ремненным поясом, отрастил бороду, отказался от употребления в пищу мяса и рыбы, начал толковать крестьянам о непротивлении злу насилем. Последний раз Безуглый виделся с Агаповым у деда в начале двадцать второго года. Конторщик мечтал сесть на землю, расспрашивал об Алтае. Безуглый из писем матери знал его точный адрес. В аймисполкоме поэтому он о нем не

справлялся. В Белых Ключах о Поликарпе Петровиче Безуглый ни с кем тоже не разговаривал. Коммунист, таким образом, не знал, что Агапов давно нашел проповедь яснополянского отшельника слишком узкой для себя. От своего последнего увлечения он сохранил только толстовку с большими карманами.

Безуглый помешал самым сладостным занятиям Агапова. Бывший конторщик сидел за столом, постукивал на счетах, разносил по книге остро заточенным карандашом цифры своих расходов и доходов. Он записывал сначала молоко, затем, сколько из него вышло масла, и наконец деньги. Расходы были копеечные, доходы рублевые. Рука с сорочьей проворностью перескакивала со строки на строку. Цифры итогов всегда умиляли хозяина. Он обычно подолгу смотрел на них, потом начинал перелистывать толстую книгу счастья. На очках и на лысине у него в это время горели веселые солнечные зайчики.

В книге у Поликарпа Петровича записывалось, сколько коровы съели сена и какой у них удой, количество ульев, с точным наименованием — Дадан, Рутт, местная колодка и вес собранного меда, десятины посева и пуды урожая. Осенью Агапов писал: «Поставлено скота на зимнее содержание в составе — быка Идеал и коров Фейя, Русалка, Мечта. За лето прибыло весу у Мечты, у Русалки...» Скотный двор,

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7-8, 9, 10 и 11 с. г.

конюшня, птичник, пасека, амбар были отражены, как в зеркале. Велись и записи народных средств от ломоты в пояснице, от куриной слепоты, от лихорадки, выписки из книги «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», собирались способы изготовления клея для посуды и другие полезные сведения. Иногда Поликарп Петрович заносил в книгу свои размышления или просто писал о состоянии погоды. В первый день приезда на Алтай, 3 июня 1922 года, кратко отмечалось: «Погода очень хорошая. Сам себе поставил вопрос о двух конях. Один — английский, его выводят на поводу, кормят; другой — дикий. На одном ездят, в узде держат, другой — сам себе хозяин. Какому можно позавидовать? Видел члена райкома ВКП(б) товарища Иванова».

Во время набега генерала Мамонтова под окнами у Агапова стонал раненый красноармеец. Поликарп Петрович ничем ему не помог. Он только написал в книге счастья:

Голова у него вся порублена,
Грудь у него вся изранена.
На груди у него красный бант горит,
В головах у него конь вороной стоит...

Красноармеец ночью заполз на крыльцо и скребся в дверь. Поликарп Петрович положил на ухо подушку. К утру раненый истек кровью. Агапов каждый раз, когда перечитывал эти строки, вытаскивал носовой платок и вытирал помутневшую бирюзу глаз.

Безуглый слез с коня около ворот. Хозяин вышел на крыльцо босой, в серой парусиновой толстовке, без пояса. В рыжих нечесаных кустах его бороды появились белесые клочья. Он отпер хитроумный деревянный запор и принял у гостя повод коня.

— По твоим рассказам, Ваня, избрал я себе местопребывание. Помнишь, ты мне из всего Алтая указывал на окрестности Белых Ключей?

Безуглому вдруг не понравилось, что Агапов назвал его Ваней.

— Теперь я понял, что Сибирь-то у нас, в Тамбовской губернии, а тут самая настоящая жизнь.

Поликарп Петрович зажмурил глаза, мотнул бородой и крикнул.

— Гм-км...

Острый вздернутый кончик его носа был маслянист и красен.

— Человеку с умом да непьющему на здешних землях за пять лет можно выйти в большие тысячники.

Безуглый удивленно оглядел дом, крытый железом, теплые стайки, амбары из толстых бревен, ограду с блестящими стеклянными шарами на углах и сказал:

— Вы, кажется, к тому и идете.

Он прочел на память:

На прогалине лесной
Виден терем расписной
Стоит терем, как гора,
Сам литого серебра
Верх у терема зеркальный,
А вокруг — забор хрустальный.

Лицо и лысина у Поликарпа Петровича стали одного цвета с бородой. Он узнал строки из «Конька-Скакунка». Он сам читал вихрастому памятливому мальчишке Ване сказку Верхоянцева.

Гость притворился, что не видит смущения хозяина, прочел еще две строчки:

Пусть землей владеет тот,
Кто свой пот на пашне льет...

Поликарп Петрович сказал с досадой в голосе:

— Безрассудные мечтания юности.

Он зашептал, как заговорщик:

— Сдерживаю себя, Ваня. Сам знаешь советскую политику. Налог-то ведь подходящий, прогрессивный. Можно сказать, большевики по священному писанию законы сочиняют — кому, мол, больше дадено, с того больше и взывается.

Агапов задрал голову, оскалил зубы — желтые, громадные, похожие на долота. Улыбка у него была лошадиная.

— Другой раз думаешь и машину лишнюю завести бы, и удобрение искусственное. Ну, а на поверку выходит — нет никакого резону. К чему мне интенсивность в хозяйстве, если сельсовет на меня налогом на каждом шагу грозит, если за ведро молока на маслозаводе мне предлагают полтину.

Хозяин распахнул перед гостем дверь в дом. Безуглый знал жену Агапова — Матрену Корнеевну. Она была дочерью лавочника из соседнего с Собаковкой села Нарядного. Поликарп Петрович женился по расчету на ширококостной, рябой, плосколицей, засидевшейся в девках дурнышке. Отец давал с ней большое приданое. Матрена Корнеевна неловко сунула Безуглому свою шершавую руку.

— Гостю дорогому, почтеньице.

Голос женщины, не по росту слабый и тонкий, рассмешил Безуглого. Он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Хозяйка поспешно ушла в кухню. Она успела заметить веселые глаза гостя. Над ней смеяться часто.

Дом у Агапова был из четырех комнат. В двух хозяин разворочал полы и вынул рамы. Безуглый почувствовал сильный запах меда. На столе стояла тарелка с помятой осотиной. Мухи жужжали над ней, как пчелы. Они черной колеблющейся пеленой покрывали зеркало и фотографии на стенах, потолок и оконные стекла. Хозяин извинился за беспорядок.

— В тесноте, Ваня, живем. Дом приходится ломать. Боюсь, не окулачили бы за большие хоромы.

Поликарп Петрович широкой ладонью смахнул пыль со стула, подал его Безуглому.

— Не понимаю я теперь вашу политику.

Они сели за стол. Матрена Корнеевна постелила чистую скатерть.

— Нэп я одобрил и решил, что лучше мне ничего не надо. Все, думаю, у нас пойдет, как у больших, одним словом, сказать по-французски — анришезё ву.

Безуглый нагнулся, стал снимать с сапога стебелек травы. Лицо у него пылало от сдерживаемого смеха.

— Вижу, власть держит курс на хорошее хозяйство, поощряет накопление благ земных. Я говорю Матрене: «Пришел и на нашу улицу праздник, довольно нам гнуть спину на чужого дядю». Собрались мы с ней, и махнули сюда, на молочные воды, на кисельные берега.

Агапов приложил платок к намокшим глазам.

— Ваня, объясни мне, как это случилось, что я теперь кандидат на раскулачивание, а профессор из земотдела, который мне брошюры писал по разным предметам культурного хозяйства, сидит в Гепеу и сам себя вредителем признает?

Безуглый сказал:

— Не первый вы задаете мне такой вопрос. Недавно разговаривал я с Моревым и объяснял, что при социализме общество не может делиться на классы. Нэп была только стратегическим маневром на подступах к социализму. Вы же полагали, что она есть спуск на тормозах от военного коммунизма к капитализму. Некоторые профессора потому и оказались вредителями, что пытались использовать нэп для восстановления старого строя.

Агапов горестно вздохнул.

— Ошибся я страшно в большевиках. Не сообразно с обстоятельствами произвел реконструкцию своей жизни.

Он посмотрел на Безуглого.

— Очень ты, Ваня, на своего деда Алексея похож. Сижу с тобой и старика умного вспоминаю. Сколько раз он говорил в семнадцатом еще году: «Жгите помещиков, не оставляйте от их усадеб ни кирпича, ни щепки. Поместья уцелеют — новые помещики явятся».

Агапов ткнул в стол указательным пальцем.

— Правду говорил старик, на погибель крестьянскую в барских угодьях поселились ваши совхозы. Царское правительство ссужало деньгами помещиков. Вы сейчас засыпаете кредитами свои советские имения. Крестьянину что раньше, что теперь никто ничего, и даже наоборот, который если в люди выходить начнет, то его живым манером охомугают, и стоп машина.

Агапов заглядывал в глаза Безуглому.

— Ваня, чего вы России ноги пугаете? Сто шестьдесят миллионов ведь со сложенными руками сидят. Вы воображаете, мужик работать будет, когда к нему разные хлебозаготовители в амбар лезут?

— Лезем мы только или к злостному несдатчику, или к спекулянту.

Агапов положил Безуглому на плечо руку с бурыми табачными ногтями.

— Ваня, погубите вы Россию. Неужели мы, лапотники нечесанные, на самом деле умнее всех Европ и Америк?

Поликарп Петрович сморщился, впилая пальцами в локоть гостя.

— В Америке-то я бы тебя разве так принял? Да у меня бы там гараж свой был, дом в два этажа и у дверей негр в белых перчатках.

Матрена Корнеевна подала ужин — в большой кастрюле окрошку с куриным мясом, заправленную зеленым луком и сметаной, на сковородке — жареного, шипящего тайменя. Поликарп Петрович достал из стеного шкафика графин с домашней малиновой настойкой.

— Далеко нам, Ваня, до американцев. Народ у нас темный, неграмотный.

Хозяин поднес ко рту стаканчик. Граненое стекло стукнуло у него на зуб. Безуглый тоже выпил.

— Грамотному, опять говорю, вернуться нет разрешения. Начал было я дело ставить научно, библиотеку приобрел по сельскому хозяйству, дворы скотные загородил по всем правилам зоотехники, рамочных ульев накопил...

Поликарп Петрович закрыл лицо руками.

— Яблони-саженцы хотел из России выписывать. Дедушки вашего сад у меня и сейчас в глазах цветет розовым дымом. Мичурину ваш старик не уступит в садоводстве.

Матрена Корнеевна напомнила мужу:

— Отец, наливай гостю.

Агапов взял графин.

— Алексей Иванович вырастил одно сладкое яблочко, наименованное им впоследствии черноморкой

Поликарп Петрович защекал языком.

— Ц-ц-ц

Безуглый хлебал окрошку, молчал.

— Родились из них одни суховатые и рассыпчатые, другие же удавались с золотистым наливом. На солнышко взглянешь, и все семечки в нем видны, как в стакане вина. Нежнейшие и утешительные яблочки. Один в них недо-

статок — не способны к перевозке. С ветки на землю падают и колются, словно фарфоровые.

Матрена Корнеевна тронула хозяина за рукав.

— Отец, ешь.

Агапов насадил на вилку кусок рыбы.

— Неужели никогда у нас настоящего порядку не будет?

Поликарп Петрович проглотил тайменя и сам подал Безуглому стакан настоек.

— Ваня, вышел бы ты на партийном съезде на трибуну и сказал бы, что довольно, мол, нам, товарищи, с крестьянином в кошки-мышки играть, пора позволить ему запустить в землю корни. Главное мужику — простор инициативы и чтобы мог он без ограничения использовать алтаишек и киргизишек.

— Не по адресу обращаетесь, Поликарп Петрович, в партии у нас такими разговорами занимается, правда, одна группа. Я к ней только никогда не принадлежал.

Безуглый засмеялся и спросил:

— Мне кажется, вам не запрещали нанимать батраков?

Агапов всплеснул руками.

— Хе.

Матрена Корнеевна пододвинула ему тарелку.

— Отец, рыба простынет.

Поликарп Петрович оттолкнул руку жены

— Сегодня батрака найму, завтра по миру пойду. Меня ведь за одного несчастного голодранца, которому я кусок хлеба дам, в классовые враги запишут, в эксплуататоры по глупым вашим законам.

Агапов лгал Безуглому. Он не нанимал батраков только в первые два года после приезда с родины. У него постоянно и на покосе, и на жнитве работали киргизы

— Умнейшего человека ты внук, Ваня, и должен понять, что без настоящего крестьянина пропадет Россия. Тысячи неумех — помещиков — прогнали, одобряю, миллионам лодырей — беднякам — зачем землю даете, протестую. Она им, как собаке сено.

Хозяин опять стал наливать себе и гостю. Горлышко графина выбивало дробь о края стаканов.

— Из всего крестьянства выбрать бы миллиона полтора-два ха-а-роших хозяев и сказать им: подымайге, ребята, Россию.

Безуглый задал вопрос:

— А остальных куда?

— Неужели бы мы им работы не нашли?

— Вы, я вижу, стали самым настоящим кулаком

— Называй меня, Ваня, хоть горшком, только в печку не ставь.

Поликарп Петрович поучающе поднял руку с вытянутым указательным пальцем.

— Без России иные прочие державы ведь заревут, потому без нас нарушение всего мирового равновесия, одним словом, статуса кво.

Агапов пьянел быстро.

— Бога вы тоже напрасно отменили. Он всякому человеку был полезен. Человек любит правду и надеется, что бог ее всегда видит. Другой обиженный до гробовой доски все утешается, что бог его правду знает, да не скоро только скажет. Ну, раз он ждет, то и беспокойства от него никакого быть не может. С богом мир жил в мире.

Матрена Корнеевна перебила мужа:

— Отец, захмелел ты, и гостю от тебя одна доука.

Поликарп Петрович сердито посмотрел на нее и сказал:

— Стели гостю постелю. Сейчас я еще немного выскажусь.

Он обернулся к Безуглому.

— Без бога даже американцы не обходятся — самые дельные и умные люди на всей нашей планете. Отменять нам скорее надо, Ваня, наши неестественные законы. Американец один, помнишь, сказал про Сесеер: «Огромная экономическая пустота».

Агапов в постели бормотал:

— У меня даже есть свои изречения, да керосину мало, записывать не всегда приходится.

Матрена Корнеевна несколько раз рукой закрывала мужу рот. Поликарп Петрович злился, больно щипал жену.

— Я тебе, Ваня, отвечу — не кулак в Сибири только дурак.

Агапов тяжело ворочал языком, ругал себя за лишний стакан вина.

— Человеку тут все дано, как в раю, — земля, вода, лес, зверь и дикари, идолам поклоняющиеся. Ты не спишь, Ваня?

Безуглый лежал на полу с открытыми глазами.

— Не можешь ты меня осуждать, Ваня, раз я действовал, повинуюсь непреложной логике общественных фактов...

Безуглый отозвался:

— Мы это знаем. Ленин давно сказал, что мелкое производство рождает буржуазию ежечасно, стихийно...

Агапов приподнялся на постели.

— Ты буржуем честного труженика... Руки у меня пощупай, барчук... Я тебе припомню...

Он хотел встать. Жена повалила его на подушку. Сон закрыл ему глаза, связал язык.

Безуглый вскочил на ноги и неожиданно почувствовал, что малиновая настойка была очень крепка. Он пошел к выходу, с грохотом свалил стул и стукнулся головой о притолку. На крыльце ему пришлось присесть. Ртутные, сверкающие пузыри на изгороди, словно бильярдные шары, перекатывались с одного угла на другой, пропадали в темных лугах. Звезды красными мелкими искрами сыпались из темной копти неба на непокрытую голову коммуниста.

— Неужели я пьян?

Конь услышал голос седока, громко заржал. Безуглый крикнул:

— Обожди, дружок, башку надо провентилировать!

Он пощупал свои руки.

«Ну, мягкие. А отец у меня бурлак Кривошеев тогда наболтал, теперь Агапов. Не может этого быть. Мать сказала: нет. Никто не имеет права называть барчуком. Не могу позволить сочинять легенды. Нарвался на толстовца. Думал из него сделать колхозного активиста. Назвонит теперь еще скрытое социальное происхождение. Анна тоже обидела, ненависти, говорит, у тебя нет

настоящей, не батрачил ты на кулака...»

Безуглый удивился своим неожиданным рассуждениям. Он не мог понять, почему простое повторение давнишней деревенской сплетни вывело его из равновесия. Он вспомнил расстиранные в кровь руки матери, высокие стены карточной тюрьмы и трупы врагов на фронте. Положительно ему нечего было стыдиться. Коммунист плюнул, обругал себя дураком. Он не хуже других. Жизнь его проверена и кандалами, и пулями...

Безуглый прислонился спиной к двери, уронил голову на грудь и захрапел. Белые ветви яблонь зашумели у него перед глазами. Ветер рвал с деревьев цветы. В саду побелели дорожки, словно на них намело слой запоздалого весеннего снега. Безуглый с Андроном сидели на террасе дедовского дома. Кержак щупал стены, окна, выходную дверь и говорил:

— Одобряю, Федорыч, изба у тебя, прямо, первая по нашему селу.

Безуглый подошел к перилам. Стадо ручных маралов стояло у самого крыльца. Рога зверей качались, как сучья яблонь. Звери шершавыми, горячими языками дизали Безуглому руки. Он почесывал у них, за ушами, щупал пушистые теплые и мягкие панты. Андрон все говорил:

— Рог у зверя, дружок, — хрустальная посуда. Его тебе шибко беречь надо. Хозяин ты молодой, непривышный.

Длинная очередь босых батрачек в подоткнутых мокрых юбках оттеснила зверей от террасы. Безуглый услышал звон денег и глухой стук костяшек. Дед клал на счетах копейки и гривенники, отсчитывал и раздавал поденщикам дневную плату. Мелкие серебряные монеты на черных ладонях работниц казались белыми легкими лепестками, упавшими с яблонь. Внук разбирал фамилии и имена вызываемых к столу.

— Самохина Марья, четвертак. Круглова Аксинья, двугривенный...

Безуглому стало стыдно. Андрон кричал ему в темной глубине ущелья:

— Федорыч, соседка ты мой жаланный, откушай чашечку за дружбу нашу во веки нерушимую!

Дед Алексей с силой опустил на плечо внука свою властную лапу.

— Ваня, слушай сюда. Не советую тебе служить в партии. Я сам себе хозяин и того же всем своим детям и внукам желаю.

Дед сорвал с дерева румяное, золотое яблоко, подал его Безуглому. Лицо у старика было краснощекое и круглое.

— Старая яблоня дает до тридцати пяти пудов.

Яблоки начали сыпаться Безуглому на голову, на плечи, на спину. Они катились у него по рукам, по ногам, по всему двору и забору.

Матрена Корнеевна долго трясла и толкала дверь, пока разбудила Безуглого. Он быстро спустился с крыльца и сказал ей:

— Простите меня, я немного задумался на свежем воздухе и не слышал, как вы подошли.

Гость прятал от хозяйки свое помятое лицо. Стеклянные шары на ограде были тусклы. Рассвет только начинался.

Матрена Корнеевна уселась среди двора на низенькой скамеечке, подставила подойник под толстое рыжее брюхо Мечты. Корова спокойно жевала жвачку. Хвост у нее совершал правильные движения маятника.

Безуглый вытащил из предамбарья седло и, звеня стременами, понес его к коню. Седло находило за ночь. Холод кожи от концов пальцев хлынул по всему телу. Безуглый зябко вздрогнул. В ту же минуту жаром разлились воспоминания. Коммунист держал железный противень с остуженной студенистой массой гектографа. Лия показала ему место на столе. Они начали печатать листовки в две руки с разных концов вареной матрицы. Руки подпольщиков иногда встречались. Они были горячи. Под листами тонкой бумаги колыхался холодный и упругий студень. Безуглый седлал лошадь и оправдывался, как во сне:

«Я, кажется, ничего не сделал плохого? Если выпил по ошибке лишней стакан, то что из этого следует? Заехал

к кулаку в гости? Извиняюсь, я знал его другим. В уставе партии к тому же не написано, можно ли коммунисту переночевать у классово чуждого элемента в местности, весьма отдаленной и не имеющей гостиниц. Вы возмущаетесь, что я не спорил с Замбрицким и с Агаповым? Метание бисера перед свиньями, давно осужденное дело. Тяните меня к ответу, когда я им поблажку дам. Думаете, поздно будет? Бытовое срастание? Действительно сросся — на охоту один раз съездил, ночь одну переночевал».

Все же Безуглый никак не мог освободиться и от ощущения стыда, и от сознания совершенных ошибок. Он думал почти с отчаянием:

«В этом проклятом мире, пока он разделен на враждующие лагеря, мы ведь не только деремся с врагами, но вынуждены жить вместе с ними. Враг спас мне жизнь. Я вызволил его изпод медведя. Человек, ставший врагом, выучил меня читать, внушил ненависть к царю. Я сегодня пью с ними вино. Завтра моя рука не задрожит от жадности...»

Он вывел коня за ворота, как был, без фуражки. Плеть со свистом рассекала воздух. Конь прыгнул и понес седака карьером.

— Лия... Лия...

Ветер гремел в его рубахе. Над головой летали чайки, похожие на белые лоскуты бумаги.

— Сын мой, я поведу тебя в мир, где не будет прошлого.

Коммунист скакал и испуганно косился назад. Всаднику почему-то казалось, что по дороге, поднимая длинный, серый кипящий поток пыли, невидимо волочится огромная безобразная его пушвина.

Коня Безуглый кормил в коммуне «Новый путь». Он вехал в поселок совершенно успокоенным. Свои ночные и рассветные страхи коммунист приписал действию малиновой настойки. Он даже обозвал себя сочинителем. Самообвинение в бытовом срастании с врагами показало ему несусветной нелепицей.

Председатель коммуны был в отлучке. Безуглого встретил завхоз — рыжий, веснушчатый, бородатый человек в куцем черном пиджаке. Руки у него из коротких рукавов торчали, словно громадные волосатые клешни. Брюки темного рипса, как рейтузы, обтягивали могучие, отлитые из чугуна ляжки. Костюм затруднял каждый шаг завхоза. Он был им получен в премию от совета коммуны. В Бийске в магазине готового платья на его рост не нашлось ничего более подходящего. Одни сапоги — тяжелые, на железных подковах, сшитые по заказу своим сапожником, свободно облегали редкостные по величине ноги коммунара. Безуглому показалось, что он где-то видел этого рослого человека. Завхоз назвал себя:

— Масленников.

Безуглый сразу вспомнил чернобордых братьев и спросил:

— Вы родственник двум Меленгиям Аликандровичам?

— Я Масленников средний, а кто зовет и просто Масленников рыжий. У отца нас было пятеро. Один у немцев в плену помер, другого белые убили.

— Вы тоже Мелентий Аликандрович?

Масленников обиженно нахмурился.

— Пошто же так? У меня свой святой есть — Веденист.

— Простите меня за шутку, Веденист Аликандрович.

Безуглый снял с коня седло.

— Овса у вас найдется немного?

Масленников облапил обеими руками бороду и, задумчиво глядя на небо, спросил:

— Вам за наличные или под расписку?

Веденист Аликандрович потупился.

— Очень наша коммуна в оборотных средствах нуждается. Государство на ссуды скупое стало. Долги у нас большие.

Завхоз рассматривал высокие охотничьи сапоги приезжего.

— В единоличном хозяйстве заехали бы вы ко мне, я и разговаривать не стал бы о таком пустяке. В коммуне, сами понимаете, человек грамотный,

каждая былинка травная на учете и завхоз за нее в ответе.

Безуглому почудилось, что перед ним стоит Масленников старший, только синяя, стальная борода у него раскалилась докрасна.

— Сколько я должен вам заплатить?

— Рассчитаем вас сходственно, по средней рыночной цене.

Приезжий попросил разрешения осмотреть жилые и хозяйственные постройки коммуны. Веденист Аликандрович помедлил с ответом.

— Председатель у нас находится в настоящее время в Бийске... Вы по какому вопросу к нам завернули?

— Я заехал покормить лошадей и напиться чаю. Моя фамилия — Безуглый.

У завхоза мгновенно погнулись плечи и спина. Глаза замаслились, как у Мелентия Аликандровича старшего, когда тот встречал у себя на дворе англичан.

— Вы, значит, самый Иван Федорович Безуглый и есть?

— Да.

— Наслышаны о вас, как же.. С полным удовольствием покажем Я сам вас и проведу. Учитель у нас тут есть свой, он вам всю историю объяснит с самого начала двадцатого года.

Веденист Аликандрович суетливо топтался вокруг приезжего, дергал себя за полы, за рукава, оправлял под бородой ворот рубахи.

— Хлебополномоченный тут нас маленько пообидел. На его место теперь вы, значит, заступили... Очень прекрасно..

Масленников отвязал коня Безуглому, завел его в тень, под навес.

— Об деньгах за фураж не беспокойтесь, Иван Федорович, свои люди — сочтемся.

Он угодливо улыбнулся.

— Запишем в счет нашей хлебосдачки, раз вы человек казенный и проезжаете по государственному важному делу

Безуглый резко обрвал завхоза:

— Я заплачу.

Коммунары построили свой прямой поселок недалеко от села. Многие переезжали с собой старые дома. Приезжий остановился перед диковинным сооруже-

нием, слепленным из нескольких изб разного размера и возраста. Линия крыши у него была ступенчатая, стены — всех цветов и оттенков, окна — самых неожиданных калибров, со ставнями и без них. Приезжий назвал его домом-деревней. В нем помещались пекарня и мастерские. Раньше в доме-деревне на двухэтажных нарах жила вся коммуна.

Веденист Аликандрович сказал со вздохом:

— Вот была глупость наша. Всем селом хотели жить в одном доме.

Они подошли к высокому, новому зданию школы. Из окна высунулась коротко остриженная голова. Завхоз крикнул:

— Митрофан Иванович, выйди к нам, пожалуйста!

Безуглому он прошептал скороговоркой:

— Учитель наш. Мастер на все руки. Он и на пианинах, и на скрипках музыкантит, ребят учит, большим книжки чигает.

Учитель был круглолиц, брит, черняв, не высок и не низок. Глаза его показались Безуглому лукавыми

Митрофан Иванович жил при школе. Он пригласил приезжего к себе Веденист Аликандрович не пошел к учителю У него не было времени.

— Вы побеседуйте за чайком. Я потом подойду.

Безуглый попросил учителя рассказать ему все, что он знал о коммуне Митрофан Иванович усадил гостя за стол и подал ему толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете.

— В моей легописи вы найдете прошлое колхозного движения на Алтае, про настоящее поговорим Вы читайте, я самовар согрею Хозяйка у меня в аймак уехала.

Безуглый вытащил свою записную книжку и самопишущее перо.

— Вы разрешите мне сделать кое-какие выписки из вашей работы?

— Нашли о чем спрашивать.

Митрофан Иванович подхватил самовар и пошел с ним к двери

— Хотя от корки до корки ее переписывайте.

Безуглый стал читать.

«Историю наших сельскохозяйственных коммун надо разделить на три периода. Первый—с 1920 года до кулацких восстаний в 1921 году, второй — от начала бандитизма до нэпа, третий—с конца 1922 года до наших дней».

Безуглый прочел несколько страниц и записал:

«Лучшая пора—первый период. Взаимоотношения держались на доверии и дружбе. Запоров не существовало никаких. На дворе и в избах был порядок. Рост коммун шел с необычайной быстротой. Выходов почти не наблюдалось. Организация из 15—20 семей делала в 3 раза больше, чем она же потом из 60—70 хозяйств. Ошибки — подмена практического расчета и плановости стихийным самотеком, отсутствие учета труда».

Митрофан Иванович одел очки и заглянул через плечо приезжего в его книжку.

— Над коммунами тогда было ясное небо. Тучки собирались только со стороны сельских обществ. Старики упорствовали особенно сильно. «Кака там коммуна? Кого она может? Не дадим земли».

Безуглый возразил:

— Да, но ведь губземотделы были на стороне коммун?

Митрофан Иванович кивнул головой.

— Совершенно верно, вот вырезка участков с разрешения земельных органов как-раз и была началом вражды между единоличниками и коммунарами.

Самопишущее перо быстро скользило по бумаге.

«Второй период — самый тяжелый. Кулацкие банды уничтожали посевы, поджигали хлебные амбары, угоняли скот, убивали и истязали коммунаров».

Митрофан Иванович тронул руку приезжего.

— Я свои записки немного еще дополню вам

Безуглый положил ручку.

— Время было такое, что ни один коммунар не раздевался ночью. В избах спали только женщины и дети. Мужчины прятались в банях или на сеновалах. Работали с оглядкой, чуть что — и врассыпную. Коммунары тогда были совер-

шенно безоружны. Конные бандиты налетали на пашни, зарубали работающих или, в лучшем случае, приставляли револьвер к виску и вырывали обещание немедленно выйти из коммуны. Бандиты сидели под каждым кустом, хоронились всюду в тайниках у сочувствующей части крестьян-единоличников.

Митрофан Иванович сам прочел в своей тетради:

«Однако самое тяжелое испытание коммуны выдержали после подавления кулацких восстаний, когда в них кинулись буквально все, кто так или иначе был причастен к бандитскому движению или боялся больших налогов.

Один остроумный коммунар сказал на съезде колхозов:

— В коммуналу зашел народ разных категориев, всякая всякота. Кулаки, бедняжки, дураки, словом, всех цехов, все с бухты-барухты собрались и давай жить без соображения.

Губительная неразборчивость в людях проистекала тогда из весьма благородных побуждений. Старые коммунары опьянели от радости победы и фальшивое желание вратов войти в коммуналу приняли за чистую монету. Впрочем, и те, кто правильно расценивал подлинные намерения новоявленных колхозников, наивно верили, что чуждые люди перевоспитаются под влиянием коллектива.

Возникли громоздкие колхозы. Наряду с нездоровым распуханием старых поднялись, как грибы после дождя, многочисленные новые. Развал коммун, особенно новых, был предопределен. Все попытки наладить коллективное хозяйство напоминали тщетное стремление сгрести воду в кучу. Все суетятся, все хлопочут, а толку нет. Каждый под маской общественного усердия скрывал или ненависть, или равнодушие к новому делу.

Старик Лопатин из Белых Ключей заявил как-то в совете коммуны

— На кого ни глянь, ходит, как разварной, а ежели-б дома жил, разве бы он так поворачивался?

Было противно смотреть, как сразу, словно чудом, изменился крестьянин.

Кому не известна была его рачительность и бережливость дома. Теперь эти качества превратились в лень, безжалостность и недогадливость в самых простых вещах, в полную безынициативность. Многие втолкали себе в голову одну черную мысль — не мое. Стерла лошадь холку—чорт с ней, пусть дальше трет. Опоилю другую—тоже не беда, издохла она после того—туда ей и дорога. Лежит в грязи хомут — лежи. Опоздали сегодня на три часа выехать за кормом потому, что вчера неохота было ввернуть завертки в сани, — пустилки. Скрючились и пропадают коровы от холода—пусть пропадают».

Митрофан Иванович спросил Безуглого:

— Может быть, вам не интересны все эти мелочи?

— Очень прошу вас читать. Весь опыт прошлой работы крайне ценен. Нам он необходим, чтобы избежать повторения ошибок. Я в те годы был на Алтае, но, признаюсь, многого не заметил, может быть потому, что у меня были иные задачи. Итак, с вашего разрешения, давайте продолжать.

Митрофан Иванович перелистнул страницу.

«В свинятнике свиньи тонут в мешанине по брюхо. Ягнята, только родившиеся, замерзают десятками от недогляда. Телята скучены больные со здоровыми. Телятники—сырые, с заплесневелыми стенами, из рук вон плохи. Подстилки меняются редко, гниют, у телят отпревают целые зады. Понятно, что при таком содержании скота прирост его разве в счастливых случаях составляет одну четверть должного. Об отдельных стайках и теплых дворах для коров и лошадей и говорить нечего. Зимой в общие пригоны скоту сваливались целые горы сена, значительная доля коего затаптывалась, обращалась в навоз. Сена, которого хватило бы при разумном кормлении на 2—3 зимы, едва хватало на одну. Дойные коровы стояли в пригонах в дождливое время по колена в грязи. Они продаивались небрежно, за выменем не было никакого ухода, оно трескалось и кровоточило. Пойлом коров никогда не поили. Летом па-

стухи ленились даже лишний раз стогнуть их на реку. Обращение с лошадьми не лучше. Жеребые кобылицы совершенно не изолировались от табунов и выкидывали. А как обрабатывалась земля? Лошадей в истомную жару гоняли рысью, орехи оставляли в сажень шириной.

Ссоры, особенно женщин, превзошли всякие ожидания. Заметит Марья, что Дарье раньше нее выдали новые обутики, и пойдут цапаться. Драки прекращали иногда люди из соседней деревни.

А что делали те, кто с часу на час ожидал выхода из опротивевшей коммуны? Дадут какой-нибудь из таких особ сажать огуречные семена. Она, чтобы поскорее отделаться, высыплет их в 2—3 лунки, и свободна. Пошлют ее на посадку картошки—она по целому ведру валит в одну кучу. Назначат хлеб печь — она назло такой завернет, что сам чорт об него когти сломает».

Безуглый провел рукой по лицу и громко вздохнул.

— Уф.

Митрофан Иванович замолчал, поднял на него глаза.

— Продолжайте, я слушаю.

«Крестьяне, вступившие в коммуны по соображениям временного порядка, стали выходить из них с началом нэпа. Выходам предшествовали систематический, с расчетом проводимый саботаж, вредительство и расхищение имущества. Воровали лошадей, коров, плуги, чтобы после ухода из коммуны было чем «пойматься за землю». Коммуны вступили в самую черную полосу своего существования. Началась лихорадка разделов. Ликвидационные комиссии скакали по всему Алтаю. За ними следом саранчиной носились коммунары и хапали остатки чужого имущества. Одна коммуна караулила другую, выжидала раздела, чтобы забрать себе живой и мертвый инвентарь. Кулаки и бандиты под маской коммунаров истребляли прекрасных производителей—кровных лошадей, породистых свиней, овец, пожалованных им щедрыми ликвидкомами. Сожрав, перепортив все, что им досталось, саранча-коммунары пере-

ходили сначала на устав товарищества, а потом разбегались в разные стороны. Выходцы, обделенные при разделе, разжигали среди крестьян ненависть к уцелевшим коммунам. Ненависть объединила и бывших коммунаров, и единоличников. Во всем стали подозревать и обивать колхозы. Не понравится дерект—начинаются разговоры:

— Советская власть тут не при чем. В коммуни закон такой состряпали.

Не уродился хлеб, кричат:

— Кумыния землю спортила!

Женщины изливали свою злобу в разных небылицах. Одна говорила:

— В Белых Ключах, сказывают, планида расшибла всю кумынию. Прямо, деульки, на нее, грешную, угодила.

Другая подхватывала:

— В Быковой, слышать, вся кумыния змеями взялась. В горшках со щами, ровно лапша, кишат.

Третья торопилась со своими новостями:

— А в Заречной зашла в кумынию чума, да душит, да душит этих коммунаров. Прогчего люда пальцем не шевелит. Оглянулась, видно, матушка-заступница наша небесная.

За словами следовали дела. Опять начались потравы коммунарских лугов, полей, поджоги, похищение скота, убийства из-за угла.

Беспрерывная двухлетняя борьба надломилась и старые, крепкие коммуны. Хозяйство неуклонно шло к упадку. Коммунары постепенно проедали и свое имущество, и доставшееся после ликвидации других коммун, и добро, отобранное по суду у кулаков, бандитов, и правительственные ссуды. Люди начали сомневаться в собственных силах и в верности самого дела.

Митрофан Иванович прервал чтение, выскочил в сени. Он крикнул гостю:

— Самовар убежал!

Безуглый стал делать пометки в записной книжке.

За чаем учитель снова раскрыл толстую тетрадь.

— Для полноты картины разрешите, Иван Федорович, прочесть вам еще одну небольшую главу?

Безуглый пододвинул к себе стакан.

— Да, конечно.

Митрофан Иванович откашлялся, наскоро глотнул из чашки.

«Враги остались в коммунах и после массового отлива. Разномастные проходимцы, пролезшие на руководящие должности, вели себя, как удельные князья или крепостники-помещики. Коммунары были для них тяглыми людьми. Коммуна, по понятиям такого довольно распространенного типа руководителей, должна была служить только для прославления имени ее председателя. Он никогда не скажет «наша коммуна», а обязательно «моя». Председатель-сатрап окружал себя крепким кольцом холуев и прозодил на собраниях все, что хогелось его левой ногое. Он с кучкой дружков был на привилегированном питательном положении, кушал особнячком медок, за жаривал баранчиков, поросенок, гусей, лизал маслице, пил медовушку. Протесты не достигали цели. «Общее собрание» клеймило именем предателя, контрреволюционера и выкидывало из коммуны голеньким всякого, кто пытался заикнуться о самокритике. Перед руководителем-крепостником все дрожит и благоговеет. Наушничание, подхалимство, мелочное политиканство, взаимные подкопы,—вот что сменило братские отношения первого периода. На собраниях редко обходилось без грызни и ругани, точно там сидели не коммунары, а заклятые враги.

Однажды ночью в сильный мороз я заехал в коммуны «Большевик». Меня встретил сторож — один из членов, вооруженный вилами. Без разрешения председателя у них ночевать никого не пускали. Сколько я ни просил его постучать к верховному властителю за разрешением на ночлег, он не дернул этого сделать.

— Ну его к богу, характерный он шибко, заругается. Теперь спит, как его тронуть?

Так я и уехал. Весной мне все-таки удалось увидеть характерного председателя и его коммуны. Он показал мне все свои владения. С гордостью ткнув пальцем в сторону небольшого двухэтажного дома, характерный сказал:

— Вот сюда у меня почти вся коммуна влезла. Пятьдесят четыре души в одной избе.

Я вошел в самобытный фаланстер. В дверях меня ошибло горячей, влажной вонью. Народ на двухэтажных нарах, как каша. На полу валяется одежда. У самого порога мокрые синие портки. Всюду грязь. Под нарами палят куры, утки и гуси. От них смердит. На голых досках корчатся в бреду тифозные больные, прикрытые старыми попонами. Над головами больных ткет большая, распотелая баба, ожесточенно грохая бердом. На печке кишит многочисленное ребячье население—худосочное, землястое, в чесоточных струпьях. На голову мне полились помои. Оказывается, вода всегда текла со второго этажа, как только там принимались за мытье полов. Наверху зато задыхались от дыма, когда внизу начинали топить печь. Я выдержал не более трех минут и опростелью выскочил на свежий воздух...»

Митрофан Иванович с силой захлопнул тетрадь, швырнул ее на книжную полку.

— Вопрос ясен, говорят у нас докладчику, когда не хотят его слушать.

— Я слушал вас с величайшим вниманием.

— Об вас и разговору нет.

Митрофан Иванович стукнул по столу кулаком.

— Все, что было, то прошло. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Коммуна наша теперь одна из лучших по всему Сибирскому краю.

Безуглый спросил:

— Уцелели ли у вас хоть несколько человек из старых коммунаров?

— У нас все, кроме Масленникова, в коммуне с двадцатого года.

— Масленников давно стал коммунаром?

— Ровно год.

— А ..

— Вы почему им заинтересовались?

Безуглый неопределенно улыбнулся и смолчал.

Наружная дверь скрипнула. В комнату вошли два коммунара — секретарь ячейки Мартын Мангул и библиоте-

карь Алексей Лихачев. Секретарь был черноволос (кепи он держал в руках), курносават и широк в плечах Библиотекарь выше него, узок, длиннолиц, с редкими льняными волосами. Приезжий смотрел на них с удивлением. Коммунары, бритые, тщательно причесанные, в новых пиджачных костюмах, в голубых мягких сорочках с цветными галстуками, в начищенных штиблетах, показались ему актерами-любителями, одетыми под буржуев. Мангул и Лихачев пришли пригласить Безуглого на обед в столовую коммуны.

Безуглый спросил:

— У вас сегодня в нардоме, кажется, новая постановка?

Мангул ответил:

— Драмкружок ставит пьеса, написанный коммунаром нашей коммуна.

— Вы на репетицию костюмы одели?

— Мы с товарищ Лихачев не принимаем участие.

Мангул вдруг понял, почему приезжий заговорил о спектакле. Безуглый увидел, как постепенно краснели у секретаря щеки, подбородок, лоб.

— Вы думаете, что мы надеваем на себя декорация? Вы ничего не знаете жизнь в село.

Мангул отвернулся и искоса оглядел Безуглого. Он был сильно рассержен. Митрофан Иванович засмеялся.

— Мы сейчас вам, Иван Федорович, еще такое покажем, что вы всю нашу коммуны сочтете за деревню неизвестного гражданина Потемкина. Оно со стороны свежему человеку, пожалуй, иначе и не понять. За одно могу поручиться перед вами—жареного поросенка из избы в избу перетаскивать не будем, потому столовая у нас общая.

Безуглый почувствовал себя очень неловко. В дверях все молча потоптались, уступая друг другу дорогу. На улице долго не могли наладить разговор. Мангул наконец заговорил первый. В голосе у него еще дрожала обида.

— Прошу вас, товарищ Безуглый, сходить за поселок на реку и посмотреть, какая книга читает наша птичница.

Лихачев показал рукой на босую девушку с хворостиной около белого та-

бунка гусей. Молодая птичница, запрокинув голову, следила за коршуном в небе. Время от времени она кричала:

— Шу-угу! Шу-угу!

На большом камне, заменявшем девушке стул, лежала толстая книга, обернутая в газетную бумагу. Безуглый взял ее, раскрыл. Мысль об инсценировке горечью скривила губы. Он не сомневался больше, что его морочат. Мангул крикнул:

— Поля, поди сюда и расскажи нам про своя чтение!

Девушка подошла, поклонилась. На ней было серенькое ситцевое платье и такой же платок. Безуглый спросил Лихачева:

— Ваша дочка?

— Она самая. Вы угадали.

— Вы читаете книгу этого?..

Безуглый нарочно не договорил фамилию автора.

— Я очень люблю историю Генриха Гете про Фауста и Маргариту.

Мангул недовольно поправил:

— Гете назывался Иоганн.

Девушка была смущена своей ошибкой.

— Простите меня, беспамятную, с Генрихом Гейне спутала.

Безуглый ничего не понимал. Он совсем тоном дореволюционного экзаменатора задал новый вопрос:

— Вы, может быть, знаете и еще какого-нибудь Генриха?

Девушка подняла голову. Глаза ее были ясны и сини.

— Мы еще с Митрофаном Ивановичем читали Генриха Ибсена — Строитель Сольнес и Гильда.

Безуглый пожал плечами и обернулся к учителю.

— Вы, значит, перечитали с ними бездну литературы?

— Иностранных и русских классиков почти всех. Советских писателей до единого.

— Чорт знает что такое. Неужели ваша работа никогда не отмечалась в печати? Она, по-моему, имеет всесоюзное значение.

По лицу у Митрофана Ивановича пошли белые полосы. Улыбки у него не

получилось, хотя он и старался растянуть губы. Мангул сказал Безуглому:

— Нас дожидается обед. Мы должны уходить.

На обратном пути секретарь показал приезжому водяную мельницу, лавку с набором крестьянских товаров и все мастерские.

Столовая помещалась в нардоме. Коммунары—мужчины, женщины и дети—стояли перед входом двумя рядами. Над ними крупными складками морщилось красное знамя. Древко держал седоусый партизан Аким Ильич Иконников. Он сделал три шага навстречу Безуглому, остановился, звякнул шпорами.

— Боевому командиру, товарищу Безуглому, передаю приветствие от старых партизан-коммунаров и всей коммуны.

Безуглый подал ему руку. Старик не шелохнулся. Он стоял навывтяжку, как на параде. У него шевелились только длинные серебряные усы.

— По поручению совета коммуны честь имею пригласить тебя, дорогой гость, отведать с нами трудового обеда.

Аким Ильич всюду ходил в военной форме. Коммунарам стоило большого труда убедить его не брать на работу шашку, подаренную Калининим. Шпоры снимать старик отказывался наотрез. Он питал особенную слабость к их малиновому звону. Они достались ему от польского полковника, командира карательного отряда. Отряд поляков был изрублен партизанами благодаря хитрости Иконникова. Аким Ильич навязался им в проводники и завел в ловушку. Партизаны дали старику шутовское прозвище—«Жизнь за без царя».

Безуглый узнал в рядах четырех своих красноармейцев. Человек пять были одеты одинаково с Мангулом и Лихачевым. Несколько коммунаров пришли для большей торжественности в новых, блестящих галошах. Жена секретаря—Марта Мангул—стояла на правом фланге в желтых ботинках на высоких каблуках и в белых перчатках. Красные галстуки пионеров были поголовно у всех детей. Безуглый опять по-

думал: «Все подстроено, бутафория». Он шагнул на крыльцо. Аким Ильич навалил знамя на левое плечо и полез за ним следом. Хлопки коммунаров зашумели, словно крылья сотни птиц. Гость сам себе возразил: «Не может все это быть обманом. Оделись, правда, лучше, чем в обычный праздник».

Хозяйкой столовой была Марта Мангул. Клеенки на столах и стены могли поспорить с белизной ее перчаток. Две коммунарки в белых передниках и в туго повязанных красных платках расставляли тарелки, раскладывали ложки, ножи и вилки. На одном столе в молочной глиняной кринке стояли живые цветы. Безуглый пробормотал: «Ну, это уж только для меня поставлено».

Он сказал Мангулу:

— Вы мне все какие-то чудеса показываете.

Секретарь отодвинул табурет, предложил гостю сесть.

— В Советском Союзе чудес не может быть. Мы имеем около десяти лет честной работы. В этом есть весь секрет.

Учитель сел рядом. Безуглый наклонился к нему.

— Митрофан Иванович, что хотите, со мной делайте, никак не могу отделаться от мысли, что вся ваша коммуна не настоящая. Сижу, точно на сцене, и принимаю участие в агитпостановке со счастливым концом. Вы понимаете, что после всего прочитанного в вашей толстой тетради о прошлом коммунал...

Бритые круглые щеки учителя поплыли вширь. Он потихоньку продекламировал:

Бог нашей драмой
Коротает вечность
Сам сочиняет,
Ставит и глядит

— Иван Федорович, мы ведь скоро десять годков как без участия господ бога — любителя трагедий — колхозную погановочку сочиняем и ставим. Неужели мы за столько лет до счастливого конца не могли додуматься?

Дежурные по столовой коммунарки подали миски с мясными щами. Митро-

фан Иванович взял поварешку и стал наливать гостю.

— Вот мы вам и демонстрируем разрушение всех небесных литературных канонов. Драма у нас получилась, можно сказать, со вкусным окончанием.

Он поставил перед Безуглым дымящуюся тарелку.

— Рекомендую, щи Марта Карловна варит отменные

На второе подали белую пшеничную кашу. Дежурные коммунарки каждому наливали в тарелку ложку русского масла. Масло растекалось по каше, точно расплавленное золото. Гость опять наклонился к учителю.

— Галстуками и сорочками вы меня прямо убили.

Митрофан Иванович с улыбкой посмотрел на Мангула.

— Латышская интервенция, — ничего не поделаешь. Мартын Иварович всех нас обратил в свою веру.

Мангул размешивал кашу.

— Мы должны взять все хорошее старой Европы.

Безуглый добавил:

— Не только Европы, но и Азии.

Он спросил:

— Сколько у вас латышей в коммуне?

— Четыре семьи. Они всегда чисто жили. У них и цветочки эти самые на столе, и в дом не войдешь в сапогах, заставят надеть специальные туфли-шлепанцы. Наши сибирячки большие чистотки, но против латышек им не устоять. Нечего греха таить, пошколили они наших коммунаров.

— Все-таки, неужели у вас каждое воскресенье так одеваются?

— Не совсем, но вроде. Крестьянина трудно сразу приучить к галстуку. Он хоть и купит его, да в сундук положит. Для вас все понадевали. Хотя перед высоким гостем похвастаться своими достижениями. Один я не успел нарядиться. Врасплох вы меня захватили.

Митрофан Иванович, улыбаясь, осмотрел свою черную косоворотку с белыми пуговицами.

— Вы вот удивляетесь, что у нас птичница Аполлинария Лихачева Гете

читает. На самом деле конечно ничего удивительного тут нет. Мы, русские люди, до того привыкли считать себя и темными, и отсталыми, что иногда забываем о революции, которой, как вам известно, второй десяточек пошел. Я записываю высказывания коммунаров о прочитанном и думаю издать их отдельной книгой. На обязательность нашей критики мы не претендуем, но будем просить советских писателей и с нами посчитаться.

Безуглый положил ложку в опорожненную тарелку.

— Вы меня, Митрофан Иванович, можно сказать, с поличным поймали. Я действительно мыслил, словно по инерции. Деревня наша, мол, такая сякая. Все, что есть плохого, — естественно, хорошее — от лукавого.

Нелепость сомнений стала для Безуглого очевидной. Он вспомнил, что деревня побывала на мировой и на гражданской войнах, ходила за море выручать союзную Францию, работала в концлагерях Африки, видела плен, интервенцию, бегала за счастьем в Америку. Она отказалась драться под знаменами царя и под тряпками временного правительства, побраталась с немцами, отняла усадьбы у своих помещиков. В белой армии деревня вязала руки офицерам и втыкала штыки в землю. Безуглый сам с ней прошел от Волги до Алтая. С ней он лез на обледенелые вершины. Ни война, ни революция, правда, не уничтожили классовой многоликости деревни. Нетронутым уцелел извечный ее алчный хозяин — мелкий собственник. Коммуны росли пока вулканическими островами в океане единоличных хозяйств. Коммунист подумал, что они — первые куски суши, которая скоро поднимется высочайшими горами.

Коммунары разговаривали и работали ложками. Ребятишки за отдельным столом кричали и смеялись. Руки у всех обедающих были грубые. Безуглому казалось, что он сидит в заводской столовой в Москве.

Аким Ильич встал, поправил португепю, откашлялся, выждал. Стук ложек стал стихать. Обед шел к концу.

— Иван Федорович, от имени старых партизан, а также бойцов твоего отряда просим тебя высказаться.

Безуглый поднялся из-за стола. Табурет краем зацепился за ремень его сапога, с громким стуком опрокинулся набок. В столовой сразу смолкли все разговоры.

— Товарищи коммунары, то, что я видел у вас, совершенно замечательно. Ошибки ваши мне трудно разглядеть в один день. Однако позволю себе думать, что они у вас найдутся.

Безуглый взглянул на Масленникова. Он сидел со склоненной головой и пальцем на столе катал хлебный шарик. В аймисполкоме Безуглому сказали, что коммуна «Новый путь» медлительно выполиняла хлебозаготовки, задерживала уплату давнишних долгов. Изъяны в коммуне были. Ему не хотелось с чужих слов говорить о них собранию.

Гость внимательно разглядывал каждого коммунара, точно хотел еще раз убедиться, что перед ним сидят настоящие, живые люди. В памяти возникло поле без межей, благоустроенный поселок под белыми тесовыми и красными железными крышами, мельница с маленькой динамомашиной, мастерские. Он сам час тому назад ходил по улице и все видел собственными глазами.

— Сегодня утром у Митрофана Ивановича я с огорчением думал, как трудно человеку разделить свой хлеб. Сейчас я с радостью смотрю на людей, которые по доброму согласию поделили землю, труд и все добытое.

Безуглый в городе привык мыслить отвлеченными понятиями. В Сибирь ехал, как архитектор с планами стройки. За столом коммуны он увидел, что мир, открытый в книгах, живет, улыбается ему десятками глаз.

— Товарищи, в Барнауле механик Иван Иванович Ползунов на два года ранее Джемса Уатта изобрел и сделал паровую машину непрерывного действия. Изобретатель умер за шесть дней до пуска первого в мире парового двигателя. Машина Ползунова работала пять месяцев, потом ее поломали и разобрали. Почему изобретение англичанина не постигла участь русского? Потому,

что применение пара было обусловлено всем ходом промышленного развития.

Безуглый ногой отодвинул мешавший ему табурет.

— Коммуны в сельском хозяйстве сыграют роль такого дригателя, который обеспечит его небывалый расцвет. Они не являются исключительно русской выдумкой. Основоположники научного социализма, как вам известно, родились в Германии. Нужды нет, если мы и на этот раз беремся за дело ранее Уаттов. Мы убеждены, что нам именно выпала честь начать новую эпоху в жизни человечества.

Безуглый расстегнул воорот рубахи. В столовой стало душно. Марта Карловна рукой показала дежурным коммунарам на окна. Женщины пошли между столов, застучали ботинками. На них зашикало все собрание.

— Наши враги делают вид, что коллективизация сельского хозяйства — затея исключительно русская. Мир так прекрасно устроен, что большевистский опыт представляется им никчемной тратой времени и средств.

Безуглый опустил голову. Мысли, не высказанные в разговорах с Замбржицким и Агаповым, пронеслись в сознании стремительной путаницей.

Коммунист думал, что мир еще напоминает стойбище дикарей. Города дымятся первобытными кострищами, зажженными на тысячелетия. Небо над ними мутно от копоти. Днем и ночью у огней человеческая суета, скрежет и звон металла. Люди куют ножи и поют каннибальские песни. Они с гордостью хранят одежду, снятую с убитых врагов, отнятое в боях оружие, знамена. Человек охотится за человеком, как зверь за зверем. Отцы у очагов рассказывают сыновьям о своих кровавых набегах на соседей. Всемирная история слагается, как эпос зверобоев и завоевателей.

Человек, извлекая из недр природы каждую новую находку, прежде всего думает о пригодности ее для убийства. Изобрел газ, и стал душить им врага. Открыл бактерии, и решил заменить ими пули. Сделал радиопередатчик, и задумался над возможностью истребле-

ния армий противника на расстоянии. Все величайшие свои открытия он обращает в мечи и заносит над шеей соседа...

Люди одевают шлемы и латы прорезиненных противогазов. Лицо человека превращается в рыло длиннохоботной свиньи. В маске никому и ничего не стыдно...

Некоронованные фараоны воздвигают себе пирамиды из чистого золота. Негр в белых перчатках, Поликарп Петрович, — плохой сторож. Сюда нужен солдат в свинообразной маске, армия рабов-автоматов. Очень желательно организовать все по Фуллеру и тысячей хороших машин вырубить боеспособное население противника...

Машина вот только отказывается слушаться человека, из раба превращается в деспота. Человек сам создал вторую враждебную стихию — вещь. Он в страхе тушит домны и проклинает технику. Бидарев в Европе сейчас мог бы сделать самым модным философом. Семен Калистратович выступил слишком рано, во второй половине XIX столетия, поэтому и не был услышан. В наше время капиталистическому миру не найти для себя лучшего пророка...

— Товарищи, перед нами два пути — или включиться в круг мирового идиотизма, или попытаться выйти из него. Мы выбрали второй путь. Ошибается тот, кто думает, что колхоз — дело деревенское, маленькое и только русское.

Безуглый движением головы откинул волосы, спустившиеся на брови, потом рукой расправил их на лбу. Он всегда прикрывал большую родинку.

— Коллективизация сельского хозяйства — задача огромная и трудная. Мы отдаем себе в этом отчет. Управлять — значит предвидеть. Партия с открытыми глазами идет навстречу всем трудностям. Она знает, что они будут преодолены.

Коммунист поискал глазами на столе стакан с водой. Никто не понял, что ему нужно. Он вытер сухие губы носовым платком и продолжал:

— Вы по своему опыту знаете, какое бешеное сопротивление оказали враги

первым вашим шагам. Вам хорошо известно, что враг не всегда шел на нас лобовой атакой, он умел маневрировать и действовать тихой сапой. Не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что многое из пережитого вами придется еще раз вынести на своих плечах молодым колхозам.

Марта Карловна наконец догадалась, что оратору нужна вода. Она сама сходила в кухню и принесла ему холодный, запотевший стакан. Он наскоро сделал несколько больших глотков.

Безуглый кончил говорить, сел. Коммунары на руках вынесли его на улицу и стали качать. Из карманов у него вылетели расческа, самопишущее перо, записная книжка, несколько листов бумаги, старая газета. Митрофан Иванович подобрал все карманное имущество коммуниста.

Два листка привлекли внимание учителя. Ему показалось, что Безуглый пишет стихи. На бумаге справа и слева были оставлены большие поля. Запись шла узкой полосой. Митрофан Иванович очень любил художественную литературу, почему и почувствовал сильнейшее желание погрузить глаза в строки поэта. К несчастью, он был близорук, а очки остались дома.

Безуглый в последний раз взлетел на воздух и закричал:

— Товарищи, довольно! Стрелять буду! Кишки изорвали!

Коммунары с хохотом поставили его на ноги, окружили тесным кольцом. Безуглый покачивался, как пьяный, приглаживал разлохматившиеся волосы, обдергивал рубаху, шупал пуговицы. Митрофан Иванович бочком протискался к нему, подал все собранное на траве и спросил:

— Стихи сочиняете?

Учитель показал листки. Коммунист заглянул в них и посветлел.

— Вы обнаружили у меня действительно большую поэму. Я ее иногда читаю на собраниях. Хотите посмотреть?

Митрофан Иванович покраснел, точно Безуглый знал о его бесплодных попытках.

— Очень интересуюсь. Беда моя — очки забыл.

Безуглый провел пальцем по листку сверху вниз.

— В одну колонку у меня выписаны даты с 1897 года по 1917-й. Видите — 901, 902, 903. Особенно интересны 8-й, 10-й, 11-й и 12-й: арестован в Баку, сослан в Сольвычегодск, бежал, опять арестован в Баку, водворен по месту ссылки в Сольвычегодск, бежал в Петербург, арестован, снова сослан в Сольвычегодск, бежал в Петербург, арестован, бежал, принял участие на конференции в Праге, арестован, сослан в Нарычский край, бежал, приехал в Краков на совещание...

Безуглый засмеялся.

— Вы понимаете, этого человека не могли удержать ни тюрьмы, ни пустыни Сибири, ни границы. Его сажают в каждом городе, где он работает, везут в арестантских вагонах по всей России, от Питера до Иркутска. Он точно ничего этого не замечает и спокойно отправляется по своим делам туда именно, куда ему нужно. Смотрите, какие у него маршруты — из Новой Уды Балаганского уезда в Тифлис, отсюда в Таммерфорс, в Стокгольм, в Лондон. Я подсчитал — он семь раз был сослан и шесть раз из ссылки бежал. Однажды только удалось немного задержать его на Енисее в Курейке. Человек этот, несмотря на совершенно неистовую подпольную работу, ни разу не был схвачен с вещественными доказательствами. Охранке никогда не удавалось создать против него судебного дела. Какими исключительными организаторскими способностями надо было обладать, чтобы так работать.

Безуглый спрятал листки в записную книжку.

— Не каждому дано сочинить такую поэму. Вы знаете, чья это жизнь?

— Шутите, Иван Федорович. У нас пионер любой вам скажет...

Масленников подвел Безуглому коня. Коммунист полез в карман за деньгами. Несколько человек закричали в один голос:

— Обидеть хочешь, Иван Федорович! Неужели у нас для гостя!..

Гость сел в седло. Митрофан Иванович спросил:

— Фуражку, видно, у меня забыли? Безуглый не ответил на вопрос учителя, хлестнул лошадь. Митрофан Иванович крикнул:

— Фуражку забыли!

Безуглый работал плетью и, не оглядываясь, скакал к околице коммуны.



Из Белых Ключей лес сплавлялся и плотами, и мулем. Анчи с сыновьями — Эргемеем и Эрельдеем — шел всегда мулем до Марьяновского рудника и только там вязал плоты. Безуглый с высокого берега Талицы увидел всех троих. Алтайцы брели по колену в воде, с длинными жердями на плечах, в синих своих халатах с подоткнутыми полами и в круглых меховых шапках с кисточками на макушке. Бревна плыли по реке табуном коней. Они сбивались плотными кучами на тихих и глубоких местах, останавливались на шиверах или вдруг, по два, по три забегали в заводи. Эргемей и Эрельдей гонялись за ними, словно пастухи, с укрюками и собирали раздурившихся на середину реки. Коммунист закричал:

— Эзень!

Он заметил, как у отца с сыновьями блеснули на лицах улыбки. Алтайцы, не останавливаясь, прокричали ему ответное приветствие. Они спешили. У них был жесткий договор. Лес сплавлялся на постройку Турксиба.

Безуглый дернул повод. Впереди, у вьезда в ущелье, закрутился вихревой столб пыли. Коммунисту он напомнил шамана в развешивающихся лохмотьях. Пыльный шаман поднялся над дорогой и исчез за горой. Всадник в'ехал в сырую и темную каменную щель. Лошадь пошла по тропе вдоль мелководной, шумливой речки.

Безуглый не выпался у Агапова, чувствовал слабость в ногах и спине. Дремота несколько раз притибала ему голову к луке седла. Всадник вздрагивал от сырости. Он словно мокрой ночью проезжал через всю свою жизнь. Коммунисту чудилось, что длинный синий Нестер Степанович кладет ему на плечи свои холодные ладони. Он был

мальчиком, когда Нестер Степанович приходил к ним в дом. Его повесил царский генерал, усмиритель Меллер-Закомельский. Иван и Федор в ночь после казни дважды вскакивали в слезах с постелей. Ивану тогда приснился первый страшный сон. Он увидел виселицу, перекаладина которой чернела наравне с золотым крестом церкви. Ноги у Нестера Степановича болтались двумя тонкими нитками до самой земли.

Шопот дяди Якова был едва слышен:

— Ваня, иди на улицу и посмотри, не приведет ли кто из наших шпика.

Мальчик одевался в драповую кацавейку с протертыми локтями, нахлобучивал на уши фуражку. Мать заматывала ему шею толстым шарфом. Он выскальзывал из двери и спускался с крыльца в дождливую непогоду, точно сходил по ступенькам купальни на дно холодной и быстрой реки. Мощное течение качало его, как тонкую камышинку. Он затаивался в черной нише калитки, сжимал в похолодевшей руке единственное свое оружие — перочинный нож. К дяде шли люди. Они или торопились, оглядывались, прятали лица под шляпами и в воротниках, или разыгрывали из себя гуляющих, беспечно насвистывали, медленно входили на крыльцо. Ваня иногда видел, как за одним человеком на некотором расстоянии шел другой. Один скрывался за дверью, другой, словно его запоздалая тень, оставался на улице. Мальчик заскакивал во двор и бросал в окно маленький камень. Человек выходил обратно, уводил за собой тень, чтобы потерять ее и вернуться одному.

Стремена давили ноги спящему, как кандалы. Он во сне искал подкандалники. Шорох волчка и надоедливый глаз надзирателя были несносны. Крест тюремной церкви торчал, как золотая перекаладина виселицы. Безуглый сердился на Анну. Она спрятала подкандалники.

Ущелье расширилось и посветлело. Всадник стукнулся головой о выступ скалы, вскрикнул и стал тереть ушибленное место. Ему пришлось протереть

и глаза. Он остановил лошадь. Дорога уперлась в голубой туман. Туман колыхался до снежных гор на горизонте, точно лежал на море. Он менял окраску, лиловел, зеленел. По нему большой стаей плыли звери — темные, горбатые, похожие на тени туч. Зверь мелькнул на далеком берегу и скрылся за снежными горами. Облака, словно ледники, широкими торосистыми потоками наполнили на белые вершины. Небо за ними было багровое, в полосах седого, горячего дыма вулканов.

Безуглый поднял к глазам бинокль. Мираж рассеялся. Он увидел степь. Овцы бродили по траве белыми тлями. Дороги лежали, как брошенные ремешки арканы. Всадник услышал глухой гул моторов. Он нарастал размеренными всплесками, словно прибой. Бинокль переместился вправо. Длинная черная шеренга тракторов двигалась из глубины степи к дороге. Ножи плугов резали землю. Степь за ними, точно вода, распаханная бурей, темнела, волновалась гребнистыми, дымными бороздами.

Безуглый разыскал и совхоз — два двухэтажных деревянных дома, службы, улицу белых палаток. Белые палатки виднелись и километрах в десяти от главной усадьбы. На дороге, в небольшой ложбине, он разглядел три неподвижных трактора и около них несколько человек. Всадник пустил коня рысью.

Тракторы, как танки, ровной цепью приближались к дороге. Безуглый теперь видел синие комбинезоны и очки-полумаски. Люди на грохочущих машинах показались ему марсианами из фантастического романа.

Безуглый подехал к тракторам на дороге. Четверо в запачканных и потемневших спецовках суетились с ключами, один, чистый, стоял в стороне и курил трубку. Коммунист сразу узнал в нем иностранца. Русский тракторист подтвердил:

— Мистер из американцев, по-русски мало-мало талалакает.

Безуглому хотелось поговорить с американским специалистом о работе совхоза. Американец оглядел его и

сказал тоном, не допускающим возражений.

— Я не говорю плохо о моей фирме. Русский тракторист оскалил белые зубы.

— Насчет самокритики они ни бумбум, молчуны.

Безуглый возразил:

— Я вас спрашиваю не только о недостатках.

Американец мотнул трубкой в сторону усадьбы.

— Директор разговаривает все вопросы.

Мотор одного из тракторов заревел. Невысокий, широкоскулый тракторист, алтаец, сел за руль. Машина пошла по краю распаханного поля. Русский инструктор закричал:

— Держи колесо по борозде!

Алтаец ответил, не обертываясь:

— Тержу порозта!

Безуглый еще раз осмотрел в бинокль усадьбу совхоза. Он увидел высокий золотой от заката сруб. Над ним блестяли топоры плотников. Щепки разлетались в разные стороны кусками золота. В нескольких километрах от дальней группы белых палаток дымились землянки. В них окопались кулаки, выселенные судом из соседнего села. В совхоз коммунист не заехал. У него не было времени. Он свернул в горы.

3

На воротах дома Мелентия Аликандровича Масленникова младшего белела большая самодельная афиша. Кержаки, проходившие утром в молельню, останавливались около бумаги и качали головами. На афише кривыми зелеными буквами было намалевано:

СЕГОДНЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ ГАСТРОЛЬ
ФЕНОМЕНОВ XX ГО ВЕКА

ИНДУССКИХ ФАКИРОВ И АТЛЕТОВ
БРАТЬЕВ ФЕРДИНАНДА И ФРАН
ЦА ДЕ ГИБРАЛТАРО ДИ КАЛЬКУТА
КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯТ РЯД ГЛАДИА-

ТОРСКИХ НОМЕРОВ В ОБЛАСТИ
АТЛЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА МЕ-
ЖДУ КОИМИ НА ГЛАЗАХ ЗРИТЕЛЕЙ

ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ

АДСКИЙ НОМЕР—ГОЛОВА КАМЕНЬ
ЭФФЕКТНЫЙ НОМЕР — СУВОРОВ
МОСТ

РЕКОРДНЫЙ НОМЕР—ГИБ ДОМО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ БАЛКИ

СЕНСАЦИОННЫЙ НОМЕР—ПОБЕ-
ДА НАД СМЕРТЬЮ

ИЛИ

ЖИВОЙ АТЛЕТ ФАКИР

В ГРОБУ

ТО-ЕСТЬ

ЗАЖИВО ЗАКОЛОЧЕННЫЙ В ГРОБ
И ПОГРЕБЕННЫЙ В ЗЕМЛЮ НА
216 САНТИМЕТРОВ СРОКОМ НА
35 МИНУТ

ВНИМАНИЕ

ЭТОТ СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ИС-
ПОЛНЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
НЕРВ ЧЕЛОВЕКА И ЧИСТЫХ ПОР
ТЕЛА

НАЧАЛО

РОВНО В 12 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ

ПЛАТА

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВО-
РЕННОСТИ С ПУБЛИКОЙ

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД

Индусские факиры Фердинанд и Франц родом были из Костромы и носили в карманах своих пиджаков самые настоящие советские документы на имя Трифона и Тимофея Волосянкиных. Братья — люди любознательные — захотели перед своим выступлением послу-

шать кержацкую службу. Молельня была в ограде Андрона Агатимовича Морева. Хозяин встретил артистов у крыльца и, узнав, что им нужно, предупредил:

— Не опоганьте, граждане, нам молитву, не вздумайте молиться на наши иконы.

Фердинанд и Франц переглянулись, белесые брови сначала пошли было у них к переносицам, потом они расхохотались и, не сказав ни слова, ушли со двора. Андрон Агатимович посмотрел на вихляющиеся пиджачки братьев, на их короткие брюки и пробормотал:

— Скоблены рожи.

Братья были близнецами. Младшего, Тимофея, отличали от старшего, Трифона, только по синей татуировке на руках. Он долго служил во флоте.

Андрон Агатимович поднялся на крыльцо, вымыл руки и вошел в молельню. В большой комнате, разделенной в длину на две половины синей, китайского шелка, занавеской, плотно стояли молящиеся. Мужчины — по правую сторону занавески, женщины — по левую. Фис Канатич правил службу по старой затрепанной книге в кожаном переплете. Ему подпевали все, кто умел. Андрон пробрался на свое место вперед, широко перекрестился на три ряда полков с темными иконами.

Морев не смог отдать свои мысли богу. Он думал о разном и глядел по сторонам. Дедушка Магафор стоял у окна под солнцем. Брови, усы и борода у него матово белели, как в густом инее. Голова была литого старого с прозеленью серебра. Старик жил второй век. Фис Канатич листал книгу, испещренную замысловатой славянской вязью. Древние, кривые письма извивались на засаленных страницах, как тонкие черви. Свечи, прилепленные к полкам с иконами, мигали и чадили. В дверь дул жаркий, запашистый, покосный ветер, колыхал синюю занавеску. Луч солнца белым длинным ножом торчал из окна. На нем играли бесчисленные пылинки. Пыли было много в углах и на боковых лавках, заваленных священными книгами. Она вздымалась до потолка каждый раз, как только бороды верующих рассекали воздух в земном поклоне.

Чащегоров читал на один лад о радостях и о страданиях, мерно перевертывал страницы. Голос его жужжал, как вода в камнях, бумага шелестела тихими волнами. Люди пели тоскливо, точно выли на берегу безжалостного моря.

Старики в узких, длиннополых, прозеленевших кафтанах заспорили с начетчиком о молитве, которую, по мнению одних, надо было петь сегодня, а, по утверждению других, не следовало. Морев воспользовался шумом и незаметно вышел на двор.

Морев любил в праздник походить по своему хозяйству. Он заглядывал в каждый угол — в темный голобец, где из глиняных корчаг точилося тонкими ручьями пиво, в теплые стайки к скоту. Дом у него был двухэтажный, под зеленым железом, с балконом и прирубамии. Двор замощен деревом. Ворота резные, нарядные, как иконостас. На наличниках красовались вырезанные из дерева желтые, ветвистые маральи рога. Рога горели, как золотые, на стенах, окрашенных в цвет неба.

Лепестинья Филимоновна с беспокойством смотрела из окна на своего хозяина. Он ходил по ограде, уронив на грудь голову, вслух разговаривал сам с собой. Лепестинья Филимоновна сказала снохе:

— Ровно ума решился наш Андрон Агатимыч.

Много мыслей было у Андрона Морева, думал он долго:

«Что за власть, — то ей посев увеличивай, премия тебе, обратно за тот же урожай в последни люди... Ране знал, кому и сколь дать. Становому — одна цена, уряднику — другая. Нонче не разберешь... Ужели я Ивана Федоровича не куплю».

Морев привык покупать людей, поэтому не мог себе представить иных отношений с Безуглым. Он вспоминал свои встречи с коммунистом, искал скрытый смысл в его словах и поступках.

«На белке товда он со мной разговаривал, вроде упреждение делал — зорить будем. Скоро, мол, придем, прибири все к месту. Не мог он мне на-

прямки сказать при алтаишках, при Помольцеве. Може, и из гордосги не скazujeет себе цену. Намек дает — я вам многим обязан. Спасибо, значит, за старое, давай за новое. Догадывайся, мол, сам, сколь мне с тебя нужно. Не миновать воз, не то два хлеба везти его потаскушке... Некуды тебе, Изан Федорыч, помимо меня податья. На охотку-то мои кони тебя возили. Не таких видали мы на веку. Отец Пантелеймон Спасителев, бывало, аж надуется, скраснеет весь и норозит крестом тебе голову сломить. А как дашь ему рыжичков десяток, он и смякнет, опадет ровно опара...»

Кержак тихо засмеялся.

«Бедноту наново удумали организовывать. Ково они там без меня, опеть ко мне сбегутся, как маралишки в двадцатом годе».

В 1920 году Морев, чтобы спасти от пуль гражданской войны своих маралов, выпустил их из сада в горы. Звери, привыкшие к готовому корму, в первую же зиму вернулись к хозяину.

С 1923 года после массового выхода из коммун бедняки снова стали наниматься в батраки к кулакам. У Андрона Агатимовича с кумом Феепеном в ту пору произошел веселый разговор:

— Как, кум, дела?

Феепен Пахтин ухмыльнулся.

— Дела хороши.

— Кумьгна-то у вас как?

— Нету.

— А шпана?

— Сколь хотишь, в батраки набируются.

Оба кержака весело зафыркали.

Мореву иногда казалось, что все пойдет по его желанию. Ему только не удавалось убедить себя, что и на этот раз колхозы возникнут ненадолго, потом развалятся, и все будет по старому. Он был достаточно умен, чтобы правильно оценить серьезность надвигающихся событий. Андрон Агатимович бродил по двору, как слепой.

Морев не заметил, как кончилась служба в молельне. Народ начал собираться на площади, где индусские факеры, братья Волосянкины, заканчивали последние приговления. Дедушка Ма-

гафор тоже утянулся вместе со всеми поглядеть на бродячих комедиантов.

Андрон Агатимович остался один в ограде. Он видел в приоткрытую калитку, как мимо провезли большой черный гроб с длинными белыми крестами. В нем Тимофея Волосянкина закапывали в землю. На площади были слышны выкрики артистов, гул толпы и плеск ладоней.

Хозяин ушел в стайку к вороному жеребцу, своему любимцу. Конь, точно цепной пес, скалил на него зубы, храпел и норовил ударить задом. Андрон Агатимович смело наступал на него, бил ладонью по гладкому крупу.

— Ну, дурачок.

Глаза у коня были лиловые, злые, грива синяя. Хозяин заглянул в кормушку. Овес лежал несъеденный.

Морев вышел из стайки, прислушался. На площади истошно вопила женщина.

— А-а-а-й! А-а-а-й!

Андрон Агатимович услышал тяжелый топот сотен ног. Он мелким шажками подбежал к воротам и осторожно высунулся на улицу. Люди воровато разбежались по домам. Дедушка Магафор приковылял с палочкой, розовый, веселый. Старик прошамкал внуку:

— Шкоморох жадохся.

Магафор тихо захихикал.

— Лопатки шпрятали.

Над факирами зло подшутили. У них спрятали лопаты, которыми надо было во-время откопать Тимофея-Франца. Факир Франц де-Гибралтаро ди-Калькута задохнулся в гробу. Актер умер в муках — вырвал себе все волосы и изгрыз пальцы. Он лежал, скрючившись, лицом вниз. Белая «индусская» хламида на нем топорщилась, как измятый саван. Над мертвецом ломала руки и выла его жена — толстая женщина с накрашенными губами, в короткой, красной юбке и оранжевой шелковой косынке. Трифон-Фердинанд стоял в полосатом трико, голоногий, бледный, немой, с мертвыми глазами. Площадь была пуста.

Андрон Агатимович задрожал, густая краска вдруг пробрызнула у него по всему лицу.

— Так им и нада! Не отводи глаза! Не оманывай народ!

Ему хотелось бежать на площадь и своими руками задушить второго брата. Он потрясал кулаками и орал на всю улицу:

— Скоблены рожи, легких денежек захотели!

Гнев давил ему горло.

— Земля шутить с ей никому не позволяет!



На Алатае наступало веселое время. У маралов спели рога. Мараловоды караулили набухание целебных пантов — подолгу простаивали в своих садах за высокими лиственничными изгородями.

Андрон Агатимович Морев справедливо считал, что корм у маралов в рогах. Он не жалел овса для своих зверей, поэтому рога у них были больше, тяжелее и вызревали в самые ранние сроки. Срезку рогов в Белых Ключах первым начинал Морев. Ежегодно в начале июня Андрон Агатимович созывал соседей «на помощь» и отправлялся с ними в маральник. Маралов у него было тридцать три штуки, быков-рогачей — девятнадцать.

В последний раз на срезку рогов Морев выехал с небольшой кучкой друзей. С ним были его старший женатый сын, недоросль Малафей, и четверо помочан — Мамонтов Ивойла Викулович, Чашегоров Фис Канатич, Бухтеев Евграф Зотеич и Пахтин Феепен Фенопентович. Выехали с вечера, чтобы по утренней заре начать загон зверей.

Ночевали прямо у изгороди сада, около большого костра. Коней расседлали, стреножили и пустили на траву.

Андрон Агатимович спал плохо. Он все думал. За изгородью встревоженно бродили звери. Костер их беспокоил. Стуки звериных копыт на твердых взлобках напоминали заглушенные удары камня о камень. В отдалении немолчно текла Талица. Вода в ней точно кипела, с шипением и бульканьем. Туман нависал густым, белым паром, заволакивал небо. Перепела, как пасгухи, били звонкими бичами, стерегли

своих самок. Коростели бегали вдоль невидимых частоколов и трещали о них носами.

Угли в костре лопались с треском, как красные орехи. По другую сторону изгороди стояла ручная маралуха, Тонконожка, и смотрела на огонь темными, чelовечьими глазами. Андрон Агатимович несколько раз вставал к ней и кормил ее из рук хлебом. Он ласкал и баловал молодую маралуху за ее редкостные глаза. Они были у нее такие же большие и печальные, как у погибшей Сусанны.

Морев в молодости любил Сусанну. Она любила другого. Родители девушки были на его стороне. Он считался в селе первым женихом. Другой решил обвенчаться с ней убегом. Убежать им не удалось. Родители настигли жениха с невестой на полпути. От побоев жених долго хворал. Сусанна дала отцу слово выйти за Андрона. В ночь перед свадьбой она выбежала из дому в одной рубахе и бросилась в Талицу. Труп ее, распухший и изломанный нашли через две недели в двадцати верстах ниже Белых Ключей. Соперники потом встретились, и Андрон сказал другому:

— Раз не мне, так лучше никому.

Восьмилетний вожак с пудовыми, ветвистыми рогами водил стадо с места на место. Звери долго ходили по глубокой тропе вдоль изгороди, напрасно искали выход. На крепком заплате белели черепа погибших при загонах, точно белоголовая звериная смерть стояла у всех углов и берегла дорогу на волю. Человек очертил на земле круг, указал зверю ходить по нему от рождения и до конца дней. Он даровал ему жизнь в неволе и муках. Зверь должен был каждый год отдавать человеку свое драгоценное оружие — золотые окровавленные рога.

Осенями маралы-самцы дрались за самку. Соперники налетали друг на друга, как безрукие борцы. Они билась жалкими, короткими культиками-пеньками. От беспомощной этой безрукости и неволи любовная трубная песнь одомашненного марала уступала в ярости страстному реву дикого. Она превосходила его своей скорбной певучестью.

Во время гона Илья Дитятин всегда ездил в маральники, по заре слушал звериные тоскливые, страстные песни и нередко у себя на щеке ловил соленую слезу.

За горами поднималось солнце, страшное, как костер. Звери, не оставившись, ходили по замкнутому кругу. Люди ловили коней, затягивали у них под животами толстые седельные ремни. Из села спешил верхом дед Магафор. Старик ехал пить звериную кровь. В сером, рассветном тумане он черной тенью мелькал с горы на гору.

Андрон Морев перед вездом в сад перекрестился и сказал помочанам:

— Со восподом, гражданы.

Он пропустил мимо себя всех четверых.

— Нонче ни зверя, ни коня беречь не будем.

Морев закрыл ворота.

— Своими руками все хозяйство нарушу.

Малафея поставили в конце длинного открьлка у ворот, в крытый загон. С'емочного станка у Андрона Агатимовича не было. Он предпочитал срезку рогов свалом.

Всадники рассыпались лавой и поскакали.

Мамонтов был толст и высок. Борода у него расплзалась по животу черной тучей. У Морева, Бухтеева и Пахтина бороды задрались на плечи рыжими гривами. Чащегоров, голощекий и круглолицый, походил на пожилую женщину в длинных чембарах.

Маралы бурой стаей спугнутых птиц мелькнули по зеленому склону и понеслись над землей. Под острыми копытами трещала и сыпалась искрами мелкая каменная пыль. Ноги у зверей были напряжены, как струны, рога закинута на спину. Рога почти не колебались в неистовом беге. Звери несли их бережно, как хрустальные хрупкие сосуды.

Магафору казалось, что маралы со страшной быстротой плывут по воздуху. Старик, прижавшись лбом к изгороди, жадно следил в щель за гоном.

Тугой холодный ветер бил всадникам в лицо. Они скользили, точно на лы-

жах, по следам зверей. Рога над стадом, как заросли кустарника, то редели, то густели. Загонщики отжимали рогачей к узкому рукаву, старались отделить их от самок и телят.

Андрон не раз зимой по глубокому снегу гонял на лыжах и ловил живьем диких маралов. Он забыл, зима сейчас или лето, снег под ногами у лошади, лед или камень. Он ничего не видел, кроме бегущих зверей. У него была только одна мысль — загнать.

Первым заскочил в крытый загон поджарый, полнорогий, шестилетний зверь. В стаде он был третьим по силе.

Лепестинья Филимоновна и безбровая Пестимея подошли к маральнику со сменными конями. Хозяйка привезла загонщикам свежих шанег и два туяса медовухи.

Андрон не пустил женщин в загон, чтобы они не испугали запертого марала. Загон был щелявый. На звеоя легли узкие, длинные полосы света. Он стоял, весь полосатый, точно опутанный светлыми ремнями, и мелко вздрагивал. Зверь дышал трудно и тревожно. Тревога трепетала у него в точеных, сухих ногах, в тонких, темных ноздрях, на концах мягких, шерстистых пантов. Загонщики длинными палками осторожно подсунули под ноги маралу сырмятные ременные арканы. Палки беспокоили, пугали марала. Он переступал с ноги на ногу и попадал в петли.

Лепестинья Филимоновна полезла в загон с туясом для крови, как только увидела, что ноги зверя накрепко стянуты ремнями.

Загонщики медленно потянули на себя арканы. Задние и передние ноги у спутанного стали сближаться. Зверь задрожал весь, взмахнул своими ломкими сучьями и, как подрубленное дерево, мягко повалился на бок. Помочане легли на него, прижали к земле. Лепестинья Филимоновна положила маралу на глаза белую холщевую тряпку. Андрон давно стоял с пилой наготове. Он упал на колени, схватился за рог и начал пилить. Рог был мягкий и теплый, как волосатая рука. Пила хрипела и хлопала, точно Андрон пилил в воде.

Кровь выметывалась со свистом, пачкала пальцы и расползалась по белой тряпке.

Магафор на четвереньках, лохматый, весь в белом, подполз к окровавленной голове зверя и припал к ней беззубым ртом. Пеньки рогов были, как тугие сосцы на волосатом брюхе медведицы. Старик мял их голыми деснами, захлебываясь и сопя, сосал красное, соленое молоко.

Лепестинья Филимоновна стала трясти старика за плечи.

— Дедушка, будя, друтого пососишь, зверь заслабеет.

Он с трудом оторвался от головы марала и посмотрел на нее пьяными, блуждающими глазами. Косматый рот у него был в крови, как пасть белого медведя, задравшего тюленя.

Магафор отполз в дальний угол загона, лег и сразу задремал. Лепестинья Филимоновна посмотрела на него и сказала:

— В пользу дедушке кровь пошла, ишь, дремлетса ему.

Помочане разом встали с марала. Малафей спрятал у себя за спиной снятые рога. Марал вскочил, зашатался, как новорожденный теленок, широко расставил ноги. На лбу у него красной бахромой висели сгустки спекшейся крови. Кровь текла из пеньков маралу в глаза, каплями падала на землю. Зверь точно плакал. Андрон помахивал на него арканом, ласково приговаривал:

— Ну, поди со восподом, поди.

Марал комолой коровой дрябло затрусил из загона.

Магафор сквозь дремь услышал, как опять грузно затопали в маральнике кони и защелкали на камнях легкие копыта зверей.

Рогачи забегали в загон один за другим. Малафей захопывал ворота ловушки. Звери со спутанными ногами падали на землю, роняли рога, бились под тяжелыми телами людей.

Люди припадали к сладостным сосцам, как дети, чмокали губами.

Кровь пили все: Моревы, Мамонтов, Чащегоров, Бухтеев и Пахтин. Пестимея и Лепестинья Филимоновна вымазали себе щеки. Мужики окровавили бороды.

Рога маралов, словно вздетые к небу руки, мелькали перед глазами Магафора. Черепа хрустели, кровь хлюпала, окровавленное золото звенело в сундуках. Он плыл на льдине через всю Россию и промышлял в море. Магафор не разбирал, кто у него на пути — зверь, человек, русский, алтаец, киргиз, — он рубил.

Восьмилеток-вожак не хотел итти в открылок. Загонщики гоняли его одного, — марал не давался. Андрон прижал уже запалившегося зверя к горелой сухой лиственнице на середине маральника. Рогатый раб неожиданно взбунтовался. Он по-волчьи зашелкал зубами и быстро, как копьём, ударил коня передней ногой в ребро. Ребро проткнуло сердце. Конь грохнулся на землю. У марала серой тряпкой вывалился язык. Он, задыхаясь, сел на зад и тихо лег. Андрон отстегнул от седла топор и с плеча рубанул зверя немного выше глаз, поперек всего лба. Морев вырубил панты с куском черепной кости, крикнул помочанам:

— В каперации получу, как за дикого!

Загонщики привязали к изгороди пегих от пота коней, пошли на стан. За ними брела Тонконожка, мордой толкала Андрона в спину. Она просила хлеба.

Андрон остановился, посмотрел на маралуху. Тонконожка шершавым языком начала лизать у него руки. Он закрыл полый пиджака ее покорные, ласковые глаза и закричал:

— Товарищам тебя не покину!

Нож висел у него на поясе. Он резнул ее по горлу от уха до уха. Тонконожка захрипела. Хозяин оттолкнул от себя свою любимицу. Она упала на траву, завилыла коротким, овечьим хвостом.

Морев, устало переминаясь с ноги на ногу, оглядел сад. Рогачи, уцелевшие от гона, и самки с телятами жались в одном углу пугливым, дрожащим табунком. Вожак, бездыханный, лежал под лиственницей рядом с мертвым конем. В разных концах маральника валялись и бродили запаленные звери с обезображенными головами. Гон был нехозяйский.

Морев носком сапога пошевелил ухо Тонконожки и вдруг остервенело заплясал, зашел:

Ах, тах, тирдардах,
Разобью Мотаню в прах,
Чтобы глаз мой не глядел,
Никто б Мотаней не владел.

Хозяин плясал с широко-раскинутыми руками, один в своем опустошенном саду, пьяно скалил зубы.

Рога под крышей загона висели ровным рядом срезанных сучьев. Охотники храпели, задрав в небо окровавленные бороды. Фиолетовые мухи ползали у них по лицам. Пестимея подкладывала дрова под большой чугунный котел. Дым шел прямо и высоко. Лепестинья Филимоновна, крикая, рубила топором ободранную Тонконожку. Малафей зевал и почесывал свою вершковую редкую бороденку.

Снежные вершины покрылись красными пятнами заката, точно на них упали огромные капли горячей звериной крови. Лиственница торчала над маральником обломанным мертвым рогом зверя.



Продавец из кооператива Иван Иванович Шеболтасов заехал по делу к Поликарпу Петровичу Агапову вскоре после Безулого. Шеболтасов прямой дорогой и без остановок обогнал коммуниста, вернулся в Белые Ключи на сутки раньше. Под окна к Мореву, а потом и в дом он угодил к началу пировья, устроенного по обычаю после срезки рогов.

Андрон Агатимович мельком взглянул на продавца и сказал ему:

— Проходи, Иван Иванович, гостем будешь.

Шеболтасов присел у дверей на лавку, фуражкой обмахнул запыленные сапоги, красным платком вытер с лысины пот. Лепестинья Филимоновна с поклоном подала ему полный ковшик. Шеболтасов сквозь длинные рыжие, редкие усы подул на медовуху и за один вздох втянул в себя сладкое и хмельное питье. Фис Канатич тонким

и медовым своим голоском рассказывал индусскую легенду о сотворении земли. Хозяин и гости внимательно смотрели ему в рот.

— И вот, значит, граждане, довелось мне услышать от этого самого знаменитого ученого, от Григория Иваныча Потанина, одну умственную и справедливую сказку. Он своей рукой списал ее в книгу в Индейском царстве. Сказывают эти индей, что в одно прекрасное время богиня Жаму позвала к себе богиню Гму, дала ей подол земли и наказала сотворить из нее нашу землю, животных и людей. Землю, говорит, изладь ровной, гладкой, чтобы не было на ней гор. Людей всех сделай равными, ни богатых, ни бедных чтобы не было. Иди, кидай из подола землю и приговаривай: «Где горам быть, чтобы не было гор. Кому богатому быть, не быть богатым. Кому бедному быть, не быть бедным».

Фис Канатич умышленно сделал паузу, зачерпнул себе ковш медовухи. Слушатели томилась, смотрели, пока он пил, как у него вздувалось горло.

— И вот возрадовалась богиня Гму, что ей такое великое дело препоручено, да на радостях все приговоры-наговоры и перепугала. Идет, из подола землю кидает и говорит: «Где горам быть, будьте горы. Кому богатому быть, будьте богаты. Кому бедному быть, будьте бедны».

Фис Канатич засмеялся первым, за ним захохотали все. Всем сказка пришлась по душе.

— Гму эта самая и сделала нашу землю с горами, а людей неравных, богатых и бедных.

Андрон Агатимович сказал, поглаживая бороду:

— Согласен с тобой, Фис Канатич, умственность в сказке большая. По ровному месту и вода не бежит. Гор бы не было, реки не текли бы. Все будут равны, работать никому не захочется.

Все согласились с хозяином. Хозяин спросил Шеболтасова:

— Откуда бог несет, пошто ко мне завернул, до дому не доехал?

Шеболтасов шмыгнул носом, пощупал свои широкие ноздри.

— Надобность есть в вас, Андрон Агатимович, везу вам поклон от Поликарпа Петровича.

— За поклон поклон, за память спасибо. Об другом-то сказывай.

— Другое у меня вроде как у богини Гму, тоже с наказом, только не в подоле, а за пазухой.

Шеболтасов выгашил и отдал Мореву кепку Безуглого.

— Поезжай, говорит, и сотвори доброе дело, открой людям глаза. Безуглый этот, говорит, есть сын помещика и работает на старую власть, чтобы, значит, возворотить крестьян в крепостное право.

Морев недоверчиво и обрадованно спросил:

— Ну?

— Поликарп Петрович с им из одной местности и всю его родовую знает до единого человека. Дед, сказывает, первейший садовод и богач из всей Тамбовской губернии.

— Фуражку каку привез, к чему?

Шеболтасов пососал усы.

— Кепку эту он по пьяному делу у Поликарпа Петровича забыл. Он у него на даровщинку напустился на малиновую настойку, а она жененая.

Морев не понял.

— Это как?

— Ну, значит, с подмесью чистого спирта, со спиртом жененая, на язык, на голову высокое давление оказывает.

Фуражка пошла по рукам. На черной подкладке было отчетливо видно серебряное клеймо — Москвошвей, Москва.

Фис Канатич спросил Шеболтасова:

— Скажи, Иван Иваныч, и в меру он выпил?

Шеболтасов ощерился. У него недоставало спереди в верхней челюсти трех зубов.

— Вокурат в меру, как вышел на крыльцо, так и свалился. Ночь целую на улке проспал. Хозяйка коров доить насилиу дверь открыла.

Шеболтасова расспрашивали долго, рассказ его повторяли со смакованьем. Морев спрятал фуражку коммуниста в сундук и отпустил продавца.

— Спасибо тебе, Иван Иванович. Вечеру приходи, мучицы насыплю. Ступай со господом.

Шеболтасов покосился на большой лагушок медовухи и со вздохом вышел.

За столом сидели Лепестинья Филимоновна, Малафей, Пестимей, Магафор и помочан с женами. На дворе работали младший сын Мартемьян с батрачкой-сиротой Меримеей, жившей в доме под видом родственницы. Пировья настоящего не было. Оно скорее походило на вечер воспоминаний или заседание штаба армии перед выступлением на позиции. Хозяин и гости перелистывали толстую долговую книгу, подсчитывали протори и убытки. Они не забыли ничего и не собирались прощать своим должникам. Они строили и обсуждали самые точные планы на ближайшее будущее. Хозяин говорил больше всех. Он был в селе первым человеком.

— В двадцатом годе, в самую разверстку довелось мне мимоездом побывать в Верхне-Мяконьких у своего шурыка Аристарха Филимоныча. Заезжаю и вижу: в ограде у него прямо страсти господни. Шурык с ножом, кум его Омельян с ножом, баба с топором. Один свинью супоросую пластат, другой ягущек режет, баба гусям головы рубит. Кровища хлещет, перо летит, гагаканье, визг. Я спрашиваю, чего, мол, ты робишь? «А не говори, Андрон Агатимыч. С перелисью завтра придут». Глянул на рыжку его, — стоит, на себя не похож: маслаки да ребра одни. Пошто — спрашиваю — коня не кормишь? Плачу, — говорит, — да не кормлю. Сыгтый будет, — боюсь, товарищи возьмут. Созвал он меня в избу. На столе полная чаша, ровно в праздник, а дело было в пост перед рождеством. Я говорю — грех. Он мне: «Ешь, Агатимыч, все равно коммунисты заберут». Вся семья его, родова и знакомство ели аж до блевотины. На улку выбегут, поблюют и опеть за стол, только бы продукцию уничтожить.

Гости засмеялись. Андрон Агатимович покачал головой.

— Ночью, бывало, выйдешь, кругом зарево, ровно на войне. Мужики жгли

и солому, и сено, и дрова, лишь бы в город не заставили везти. А которы если и возили, боле того по дороге раскидывали для облегчения коней. Хозяйство у товарищей такое было, что никто не спрашивал, сколь довед, была бы отметка — трудгуж выполнен.

Андрон Агатимович поднял руку.

— Гражданы, может ли хрестьянин позабыть, как по весне товда зачала на складах мука преть, зерно загорелось, мясо, яйца стали тухнуть. Душина пошла, аж дыхание спирает. Хлеба навезли—девать некуда, ни мешков, ни анбаров нехватало. А продагенты знай свое — вези. Ну и везли и валили под открыто небо, под вольный дождичек. Каково было хрестьянину глядеть на труд свой. Народ прямо умом помутился, со страху зачал в камень подаваться. Думали мы товда, что всеобчая эта кумына кончит нас всех голодом.

Морев поглядел на Чащегорова.

— Фис Канатич, ты, верно, думаешь, пошто он нам рассказывает, сами, мол, все знаем? Согласен, что дела эти известные. К чему же я речь веду? К тому, дорогие люди, что коммунисты опеть на новый лад запели старые песни. Опеть хрестьянин вези в город последнее.

Морев спросил:

— Гражданы, ужели мы хуже пчел окажемся? Пчелу одну задави, все налетят, жильть начнут.

Мамонтов вздохнул, крепко свел пальцы в темный волосатый кулак.

— Ране народ был доброхочий, дружный.

Магафор ответил ему:

— Теперь штарину, как во шневидели.

Пахтин поднялся из-за стола.

— Правдедушки наши от китайца, от кыргыза отбились, неужто коммунистичек не спихнем?

Андрон Агатимович возразил куму:

— Не дело говоришь, Феепен Фенопентович. Восстанье подымать нонче дураков не сыщешь. Нам теперь надо гнуть линию другую.

Андрон Агатимович хитро прищурился.

— Наша линия такая — от дела не бегай и дела не делай. А главное —

яма. Хлеб спрячь, скотинешку под нож, машины приломай, дураки в Металл-торге хоть цельный плуг в лом примут, одним словом, хозяйство наруши и сиди около ямы, кормись с семейством потихоньку.

Нефед Никифорович Помольцев остановился под окном с длинным удилицем и паевкой через плечо. Морев замолчал. Помольцев поздоровался.

— Андрон Агатимыч, просьба у меня, отрежь волосков от счастливой своей бороды. Хариус на нее беретса што-исть на лету, закинуть удочку не дает.

Морев захохотал и, задрав бороду, щедро махнул ножом. Он подал рыбаку блок своего золотого руна.

— Для друга я не то бороду, голову себе отрежу. Пивка выпьешь?

Помольцев оглянулся и сказал:

— Пожалуй, не откажусь.

Морев сунул ему из окна полный ковш.

— Нефед Никифорович, запомни — от Андрона плохого никто не видел. Из партизан пришел — кто тебе помог? У Андрона будет — и у всех будет. Андрон на боку лежать не любит, оттого у него и достаток.

Помольцев ничего не ответил Мореву. Он свернул в переулок к реке. Длинное белое удилице покачивалось высоко над заплотами.

В селе было известно, что у Моревых пьют. На медовуху, как муравьи на сладкое, стали сползаться друзья.

Жена Улитина, сероглазая, круглолицая нарядная Фекла, была давнишней любовницей Морева. Она пришла, как к себе в дом. Лепестинья Филимонова помутнела лицом и подала ей ковшик. Андрон стал расспрашивать ее о делах ячейки. Фекла пила и похохатывала. Она спела ему:

Ты, миленок, мне не льсти,
Тебе меня не провести.
Я на то сама пойду,
Тебя скорее проведу.

Горбуна Пигуса Фекла встретила шутивным приветствием:

— Хозяину веселого завода почтеньце.

Морев спросил его:

— Как завод?

Пигус бледной тонкой рукой обтер свою голую лисью мордочку.

— На полном ходу, достижения выше г сударственных, сто один градус крепости.

Он захихикал.

— Уполномоченный Безуглый мне говорит: «Ты вредитель». Я ему отвечаю: «От самогону хрестьянину одна польза, вред от него не мне, а государству».

Андрон Агатимович посмотрел на расписной потолок.

— Иван Федорович сам не дурак выпить.

Хозяин рассказал о заезде Безуголого к Агапову. Рассказ свой он повторял потом каждому новому гостю — конокраду и контрабандисту Хусайну, красноглазому пасечнику Фалалею Асоновичу Лопатишу, бедняку и пьянице Елифану Покатидорожке, председателю Желаету, секретарю сельсовета Подопригоре, гармонисту и лодырю безусому Женьке Шераборину.

Морев был разговорчив и ласков со всеми. Он вспоминал все ошибки или преступления отдельных советских работников, обобщал их и делал вывод:

— Слепому видать, куда тянет советская власть хрестьянина. Одно слово — барщина. Сынки помещичьи за наш же хребт нам глаза копают.

Он спрашивал гостей:

— Слыживали когда пословицу: «Не привязан медведь — не пляшет»? В колхозе хрестьянин будет, ровно медведь на цепи — и в лес охота, и железа не перекусишь.

Чащегоров поучал:

— За старе держись. Что старо, то свято, что старее, то правее, что исстари ведется, то не минется, ветхое лучше есть.

Морев на последнем своем пировье был добр, как никогда. Хлеб он раздавал пудами и возами. Всю ночь в амбарах у него шла возня, гремели весы. Малафей развешивал зерно и приговаривал:

— У тяти есть — и у всех есть. У тяти не будет — ни у кого не будет.

В темноте по селу из двора во двор шмыгали люди с мешками, заезжали и выезжали телеги и верховые.

Ночью много было выпито пива. Не стало от него веселее хозяину. Песня, привезенная Магафором с Поморья, сама запросилась к столу. Поморы с ней выходили в море. Она была похожа на покойнишний вой. Андрон всегда запевал ее первый. Он схватился руками за голову, опустил лицо, закачался.

Ай, и где мы, братцы, будем день
днeвать,

Ночь коротати?

Гости хором ответили на вопрос запевалы:

Будем день днeвать во синем море,
На большом взводне,
На белом гребне,
Ночь коротати глубоко на дне

Магафор задрожал и, пришепетывая, запел вместе со всеми:

Одеялышко нам — желты пески,
Изголовье — горюч камень.

Люди пели древнюю песнь зверобоев-рыбаков и плакали. Магафор, жилистый, костистый мясоруб и грабитель, тер глаза. Пальцы у него были темные, узловатые, как коренья. Андрон, землепашец, колонизатор и бандит с ковшом отравленного меда в руке, обливался слезами. Лепестинья, его тихая сообщница, утирала щеки концом головного платка. Головы певцов были опущены. Они точно смотрели на дно водяной своей могилы и томились предчувствием гибели.

Сине морюшко разгуляется,
Добрых молодцев позовет гостить...

Андрон напряженно вытянул из себя последние слова:

Позовет гостить — в вековечный сон.

Он черпнул ковш, выпил и еще выпил, и еще.

В крытых темных сенях Мартимьян обнимал Меримею. Меримея шептала: — Проходу он мне, Тяночка, не дает, лапает.

Мартемьян больно сжал руку девушке.

— Сходи к Ивану Федорычу, заяви на него, старого чорта... В голубце хлеб за фальшивой стеной... На хранение роздал Масленникову, Фис Канатичу, Желаеву...

Лепестинья Филимоновна вышла из дому. Она мочилась шумно, на всю ограду и пьяными толстыми губами шептала молитву:

— Богородица в дверях, пресвятая в головьях, андели по стенам, архандели по углам, вокруг нашего дома каменна ограда, железный тын, на каждой-то тынинке по маковке...

Она икнула громко с утробным выкриком.

— ... на каждой-то маковке по крестыку, на каждом крестике по анделу и по арханделу...

Хозяйка домолилась на крыльце.

— ... андели, архандели, спасите нас...

Гости остались ночевать у Моревых.

Андрон с Лепестиньей легли на свою широкую кедрового дерева кровать.

Сон у Андрона был тревожен и страшен. Он увидел, что дом его насквозь проточили тонкие черные черви. Дом стал щелявым загоном для срезки рогов. Хозяин стоял в нем весь полосатый, словно марал, опутанный светлыми ремнями.



Пировье у Морева гремело во все окна. Безуглому не удалось проехать мимо. Андрон выскочил из ворот, схватил за повод.

— Здорово ночевал, Иван Федорович.

Глаза у кержака были красны. Нос и губы опухли. Он пил вторые сутки под ряд.

— Очень нам хочется пригласить тебя в нашу канпанию.

Безуглый отказался.

— Должность не позволяет, значит, на людях выпить?

— Я вообще мало пью.

Андрон засмеялся громко и нагло. Коммунист увидел во рту у него мелкие, острые, как у лисы, зубы и вишневые десны.

— Жалко мне тебя, Федорыч. Пашня у твоей бабы — одно званье, жалованье получаешь малое... Друзья мы с тобой до скончания века. Однако, пришлю тебе мешечков пять пашанички, медку туюсок...

— Я вас сегодня арестую.

— Не строжься, Федорыч, не таись от меня. Человек ты званья высокого, родитель у тебя не кто-нибудь... Думаешь, я не знаю?

Безуглый потемнел, изо всех сил рванул повод. Андрон повис у лошади на морде.

— Помещику без богатого мужика с деревней не совладать...

Коммунист закричал на всю улицу:

— Сейчас же отпустите повод, или я стопчу вас!

— Не шеперься, Федорыч, кепочка твоя у меня в руках. Одно только слово скажу Игоне, и не видать тебе партии, как своих ушей.

Всадник вздыбил коня. Кержак навзничь упал на дорогу.

Безуглый проскакал галопом до дому. Во дворе белоголовым кружком сидели ребятишки. Они были совершенно поглощены игрой. Никто не заметил рассерженного отца. Никита изображал председателя собрания. Он тыкал пальцем в прудь пятилетнюю Настю Помольцеву и говорил ей:

— Наська-делегатка, твоя слова.

Девочка сопела и опускала голову.

— На, бери твоя слова.

Безуглый увидел, как Настя захлопала глазами, надулась и вдруг сказала басом:

— Однако надо в колхоз писаться.

Она звонко засмеялась. Председатель ушипнул ее за бок. Безуглый захохотал следом за делегаткой. Никита оглянулся и закричал:

— Тятя приехал!

Сын кинулся к отцу на шею. Отец на руках унес его в дом. Бабушка Анфия сидела с чулком, домовничала. Петух стаял около ее ног, вытянув шею, и с тревогой смотрел на вошедших. Бабушка захопотала около стола.

Безуглый сел на стул, Никита к нему на колени. Сын пальцем потрогал стриженные усы отца.

— У тебя, тятя, под носом репьи. Колю-ючие.

— Ну, уж так и репьи?

— Верно слово.

Прикосновения тонких пальцев сына были необычайно приятны. Безуглый зажмурил глаза и начал бодать Никиту. Сын запустил ему в вихры обе руки. Оба долго смеялись.

За чаем Никита неожиданно опечалился, спросил у отца:

— А нельзя отбить телеграмму мамке, пускай скорей приезжает?

— Тебе зачем ее?

Никита стал чертить пальцем по блюду.

— Пускай бы она самовар ставила, стряпала.

— Это и бабушка может.

Никита готов был заплакать. Голова у него опустилась. Глаза наполнились слезами. Он еле выговорил:

— Ну, еще чего-нибудь будет делать.

Мальчик встал из за стола, подошел к окну, посмотрел на огород.

— Октябрятам воровать огурцы нельзя.

Он вздохнул.

— Тятя, отчего бывает жара?

— От солнца.

— Залить ее нельзя?

— Нет.

Никита опять глубоко вздохнул. Отец дал ему большую конфету в цветистой бумажке. Он сразу повеселел и сказал бабушке Анфии:

— Фартовый мне тятяка попался. Гляди, опять какая конфетина отломилась.

Безуглый поцеловал сына в голову, попросил его сходить в сельсовет за председателем и дежурным исполнителем. Никита зажал в кулаке сладкую драгоценность и выбежал на улицу. Отец услышал, как зашлепали по пыльной дороге босые ноги сына. Он конечно пустился бегом.

Коммунист достал бумагу и сел писать заявление уполномоченному ОГПУ в Марьяновском руднике.

«Мною по рассеяности оставлена фуражка в доме кулака Агапова Поликарпа Потровича, у которого я ночевал».

Безуглый сам не знал, почему он уехал с заимки с непокрытой головой. Не то стыдно было, что заснул на крыльце, не то не хотелось еще раз встречаться с Поликарпом Петровичем.

«Названный Агапов использует названную фуражку как средство для моей дискредитации и распространяет ложные сведения о моем социальном происхождении».

Коммунист перечитал написанное, зачеркнул слово «названную».

«Кулак Агапов — враг советской власти, в чем мне сам признался с полной откровенностью. Считая Агапова элементом социально опасным, прошу арестовать его и привлечь к ответственности за контрреволюционную агитацию и подрыв хлебозаготовок».

Конверт Безуглый прошил ниткой и залепил сургучом.

Андрон встал с дороги, погрозил кулаком спине Безуглого. Дома он сунул за пазуху фуражку коммуниста и немедленно отправился к Игонину. Гости не расходились. Бабы затянули протяжную и печальную песню.

Полынь ты моя, полыньюшка, горькая
трава

Секретарь ячейки удивился приходу Морева, во все время разговора с ним был сух и насторожен. Андрон начал издалека.

— Вам известно, Фома Иванович, что с товарищем Безуглым у нас знакомство и дружба давнишние?

— Знакомы вы с ним с 21-го года, знаю. Насчет дружбы ничего не слышал. У коммуниста с кулаком, по-моему, она быть не может.

— Восходи, ужели вы меня, Фома Иванович, признаете за кулака?

Игонин, подражая Мореву, пропел елеинным голоеом:

— Ужели нет, Андрон Агатимыч?

— Да вы спросите любого бедняка в Белых Ключах, когда я кого избидел? Ивану Федоровичу жизнь спас. Грамоты почетные имею от земельных органов. Отроду против советской власти слова не вымолвил.

— Рассказывайте: зачем пришли? Морев закрыл рот бородой.

— Не вышло бы подрыву партии от Ивана Федоровича. Верный человек говорил, что фамелия у его сменная, родом он как бы из помещиков.

Игонин зло сдвинул брови.

— Давно ли вы сохнуть стали по партийным делам?

— Я завсегда, Фома Иванович, душою болею за всю нашу дорогую революцию, опасуюсь, обострения не случилось бы в крестьянстве.

— Вот бы вам, кулакам, радость была.

Морев сделал обиженное лицо, вынул из-за пазухи фуражку Безуглого.

— Не со сплетками бабими пришел я к вам, Фома Иванович.

Он положил фуражку на стол.

— Ошибся Иван Федорович у Агапова в гостях, лишнего малость выпил. Нетверезый и уехал, кепочку даже оставил.

Игонин недоверчиво оглядывал Морева.

— Оно, слов нет, один бог без греха, с кем не случается. Однако, если тебя партия послала на такое восударственное дело, держись крепко за генеральную линию.

Морев прижал руку к сердцу.

— Спасибо скажите мне, что кепочку я прибрал и человеку, который ее привез, строго-настрою наказал, чтобы никому ни боже мой. Я ведь понимаю — один коммунист проштрафится, а на всю партию пятно.

— Зачем же вы мне его фуражку принесли? Друга своего вздумали топить...

Морев, как на молитве, завел глаза под лоб.

— Восходи, да для партии, советской власти я не то друга, отца родного не помилую. Вам, Фома Иванович, как первому лицу в нашем селе, одному и заявляю, от вас секретов никаких быть не должно.

Игонин больше не мог слушать кержака. Он закричал, не помня себя от злости:

— Катись от меня к чортовой бабушке, рыжая лиса!

Морев поспешно встал. На лице у него были гордость и смирение.

— Мер если не примете, до Москвы дойду.

Игонин подбежал к нему, схватил его за шиворот и вытолкнул на улицу.

Андрон вернулся злой. Борода у него моталась огненным языком. Гости пели про горькую траву.

Не сама ли ты, польнюшка, злодей,
уродилась,

По зеленому саду, злодей,
расплодилась.

Заняла ты мне, польнюшка, в саду
местечко,

В саду место доброе, хлебородное.

Фис Канатич сунулся голой рожей к уху. Андрон отвернулся и громко сказал:

— Не спрашивай.

Он стукнул кулаком по столу.

— Ворон ворону глаз не выклюет.

Фис Канатич еле держался на ногах, чтобы не упасть, обнял правой рукой хозяина, левой полез ему в бороду, задребезжал тончайшей фистулой:

На лету у сокола крылышки
примахались,

От худой погодушки перья
приломались.

Под окнами мычали коровы. Они возвращались с пастбища.

Андрон усадил старика на лавку, высвободил бороду. Лепестинья Филимоновна подала ему большой ковш медовухи. Хозяин выпил, обсосал усы и заорал:

— Лепестинья, лезь в голобец, цеди медовуху в ведра, выноси на двор! Желая угостить в остатный раз всю свою скотину!

Гости от смеха закланялись, замотались пестрой травой на ветру.

— Жеребцу тащи катанки! Пушай Воронко в обутках по селу погуляет!



Безуглый услышал скрип ступенек крыльца, посмотрел на дверь. Он ждал людей из сельсовета, чтобы идти с ними к Мореву. В комнату вошла Меримея. Девушка тяжело дышала, глаза у нее были темны и беспокойны. Она

быстро подошла к Безуглому и выпалила:

— Мы надумали сказать вам про хлеб. Морев его распрытал по разным местам.

— Кто это мы?

Меримея заметно порозовела.

— Мы с Тяной.

— Он чего с отцом не поделил?

Румянец неуверенно расплывался по щекам девушки.

— Он давно привержен к советской власти. Ему отец сколь разов говорил: «Тяночка, не в ту сторону тянешь».

Меримея рассказала Безуглому о всех ночных перевозках Андрона и его тайном зернохранилище в подполье. Безуглый встал, погладил Меримею по голове.

— Ну, спасибо тебе, деваха, на добром слове. Мартемьяну своему скажи, что если он за твоим хвостом только к нам тянется, тогда толк из него небольшой.

Дежурным сельисполнителем был Помольцев. Он шел по улице следом за Никитой. Мальчик свистел и скакал на одной ноге.

Ворота у Моревых были раскрыты настежь. В ограде Андрон держал под уздцы пьяного всхрапывавшего жеребца. Малафей осторожно обувал вороного в валенки. Помольцев и Никита не видели недоросля из-за спины гостей. Гости вдруг захохотали, завизжали и шарахнулись в разные стороны. Жеребец взметнул передние ноги выше головы хозяина, прыгнул, подбросил зад и понесся в ворота, спотыкаясь в стоптанных, старых катанках. Никита увидел длинные с прожелтью зубы, огненные глаза, синие космы гривы и потерял сознание. Жеребец сбил ребенка, рванул его всей пастью за грудь и наступил ему на правую ногу. Помольцев закричал диким голосом:

— Парня задавили, гады!

Безуглый на крик выбежал из дому. Помольцев нес на руках Никиту. Отец сразу заметил, что одна нога у сына неестественно вывернута.

Жеребец от мальчика шарахнулся на зазевавшуюся желтую собачонку, затоптал ее на-смерть и поскакал к ком-

мунисту. Один катанок с передней ноги у него слетел. Он поэтому прихрамывал и мотал мордой. От него с кудахтаньем разлетелись рябые куры, и, задрав хвосты, неуклюже взбрыкивали полным махом четыре теленка, бурые и лохматые, как медвежата. Безуглый, задыхаясь и бледнея, выхватил маузер. Револьвер прогремел дважды. Первая пуля пронизала у жеребца острое поротое ухо, вторая пробила лоб. Вороной упал на колени, ткнулся зубами в землю и завалился на бок. Селезенка у него промко екнула, точно в могучем брюхе лопнула крепкая, толстая жила. Над улицей повисла пыль, поднятая жеребцом, прозрачная, как дым из револьвера Безуглого.

Гости Андрона, быстро трезвея, разбежались по домам. У Безуглого под окнами стали собираться любопытные.

Никита напомнил коммунисту изломанного Федора на дне ущелья. Отец боялся прикоснуться к сыну. Ему казалось, что он холоден, как брат, погибший в Кобанде. Бабушка Анфия быстро раздела мальчика, ощутила у него голову, ребра, руки и ноги. Она обернулась к отцу и сказала:

— Перелом правой ноги выше щиколотки, на груди выкушен левый сосок, остальное все цело.

Старуха в свое время кончила курсы сестер милосердия, поэтому работала умело, без суеты. Она промыла и перевязала рану, сложила сломанную ногу и скрепила ее бинтом с двумя лучинами.

Помольцев растерянно топтался у порога и в десятый раз начинал и не кончал рассказ о пьяном жеребце.

— Этта мы, идем с Никитушкой, а он как вылетит... Я, значит, туда, а он подался сюда...

Безуглый послал его отогнать от окон праздных зрителей и попросил сходить в сельсовет за подводой. Надо было немедленно везти сына в больницу.

Никита застонал, открыл глаза. Безуглый подошел к нему, взял за руку. Рука была чуть теплая, влажная и липкая от растаявшей недоодеженной конфеты. Ребенок заметил слезы на глазах

отца, заплакал. Безуглый уткнул голову в подушку, затрясся от рыданий. Он был уверен, что Никита на всю жизнь останется калекой. Бабушка закричала на него:

— Уйдите, Иван Федорович, от ребенка! Вы его без нужды расстраиваете. Смотрите, какой он молодец.

Никита перестал плакать, сказал отцу:

— Не реви, тятя, я оздоровею.

Безуглый выскочил на улицу. Он бесцельно закружился по двору, стал заглядывать в окна. Бабушка от мух закрыла лицо ребенку кисеей. Никита под покрывалом побледнел и пожелтел, как покойник. Отец со страхом смотрел на его неподвижный профиль и часто вытирал глаза.

В больницу Никиту увезла бабушка Анфия.



Безуглый нехотя пожал руку Леонтия Леонтьевича Желаева. Он обругал себя за медлительность с первыми выборами сельсовета. Желаев и Помольцев стояли у порога. Он подал им стулья.

— Я вызвал вас для производства обыска у гражданина Морева.

У Желаева дернулись бесцветные щетиновые брови.

— Разве что заметили за им? Мужик он будто справный.

— Мы должны будем арестовать его независимо от результатов обыска.

— Чем он вас прогневил, Иван Федорович? Вы ведь у него и от белых спасались, и на охоту с им ездили.

— Он мне предлагал сегодня взятку—раз, пытался шантажировать меня—два, спрятал хлеб—три. Я думаю, что сельсовет не может оставить без внимания и историю с жеребцом.

Безуглый подтянул ремни у сапог, пощупал в кармане маузер, одел фуражку. Он не дал мыслям о сыне снова овладеть собой.

Желаев сказал:

— Жеребец, можно сказать, был первый производитель по всему сельсовету.

Безуглый посмотрел на него с изумлением. Он не мог разобрать, изде-

зается Желаев, или просто не понимал, что речь шла не о лошади.

На улице Безуглый стиснул в кармане кривую рукоятку револьвера. Ни одной мысли о сыне. Он должен думать только о деле. Сын поправится. Нога сростется правильно.

Малафей успел ободрать вороного. Конь лежал голый, черный от крови. Около трупa грызлись собаки. Безуглый отвернулся.

Бабушка Анфия — надежная сиделка. Никита не может умереть. Довольно о нем.

Дома застали только Андрона с женой и Малафея. Безуглый попросил хозяйна открыть амбары и кладовки. Обыск был непродолжителен. Закомры оказались совершенно пустыми. Морев не оставил ничего даже мышам. Коммунист спросил кулака:

— Где у вас спрятан хлеб?

Андрон стоял среди двора, накручивал на палец бороду и смотрел на темное звездное небо.

— Бог дал, бог и взял.

— Не валяйте дурака.

— Дураков из нас советская власть сделала, Иван Федорович.

Безуглый услышал шопотки и хихиканье за воротами. На улице около дома шмыгали друзья и сочувствующие.

В узкой ограде заднего двора с ревом носились и стучали рогами коровы, опоенные пьяной медовухой. В стойке валялась в растяжку опьяневшая двадцатипудовая свинья и блаженно взвизгивала.

Коммунист приказал кулаку принести топор и пешню. В голобец они спустились вдвоем. Желаев с Помольцевым остались в горнице. Председатель сельсовета жадно потянул в себя воздух, пропитанный запахом медового пива и воска. Лепестинья Филимоновна поставила на стол туяс. Желаев зачерпнул ковш и топорливо выпил, обливая щеки и рубаху. Помольцев покосился на люк в подполье и тоже опрокинул одну посудину. Лепестинья Филимоновна стояла, подперев рукой подбородок, тихо всхлипывала. Малафей, разинув рот, прислушивался к голосам отца и коммуниста.

В большом доме было тихо. За окнами только усиливался шум и разговоры. На стеклах плюшились носы соседей.

В голобце Андрон обмяк, разрыхлел, растаявшей восковой куклой повалился в ноги Безуглому. Борода его липкими медовыми струями растекалась по сапогам коммуниста.

— Федорыч, дружок... помиримся... у меня всем хватит... ничего для тебя не пожалею...

Безуглый высвободил из рук жержака свои ноги.

— Не тратьте напрасно время.

Андрон по голосу коммуниста понял, что никакие просьбы и обещания до него не дойдут. Он встал с пола взлохмаченный, багровый. Фонарь с тонкой восковой свечкой слабо и неровно освещал лицо жержака. Безуглый не видел его глаз. Пальцы Андрона судорожно вздрагивали на топорнице. Коммунист бессознательно опустил руку в карман, на маузер. Они стояли молча друг против друга. Один — с топором, другой — с револьвером. Мгновение было долгим и тягостным. Андрон вздохнул со стоном.

— Спас ты меня от медвежьей казни, видно, на муку вечную.

— Ломайте стену.

Морев повернулся спиной к Безуглому, осторожно отодрал топором несколько досок, пешней продолбил глинобитную перегородку. Свет фонаря упал на серые тугие мешки с зерном. Коммунист спросил:

— Пшеница?

— Сортованная, зерно к зерну.

— Зачем спрятали?

— Свое спрятал, Иван Федорыч, не краденое.

— От кого спрятали?

— От воров.

— От каких воров?

— Воры известно какие, которых замки ни днем ни ночью не держат, которые хрестьянина грабят и его же без стыда, без совести расхитителем объявляют.

Андрон нагнулся за топором. Безуглый навел ему на грудь револьвер.

— Положите. Он вам больше не нужен.

Морев засопел, разжал пальцы. Топор стужнулся об пол.

— Зря, командер, испужался. Я жить еще не соскучился.

— Поднимайтесь наверх.

В горнице кержак открыл окно и заговорил громко, чтобы его слышали на улице:

— Пиши, Леонтий Леонтьич, протокол...

Желаев заерзал на лавке.

— Наше дело маленькое, Андрон Агатимыч, как играют, так и пляшем.

— Пиши так и так, мол, нашли у крестьянина Морева в голобце хлеб, который он сам посеял, сам со своего поля собрал...

Безуглый перебил его:

— Прошу не заниматься контрреволюционной агитацией. Вы арестованы. Товарищ Помольцев, отведите гражданина Морева в сельсовет.

Андрон деланно засмеялся.

— По каким-таким статьям-законам меня за мое кровное добро в каталажку?

— Вы привлекаетесь к ответственности по 107-й статье за скрывание в спекулятивных целях хлебных излишков и за ряд других преступлений, о которых с вами подробно поговорит судебный следователь.

Малафей зашмыгал носом. Лепестинья Филимоновна заголосила, запричитала.

— Змея лютого на груди у себя пригрел ты, мой Андрон Агатимыч... Не послушался ты тогда меня, бабу глупую...

Морев строго посмотрел на нее и сказал:

— Мольчи, не позорься перед народом. За свое страдаем, не за чужое.

Он одел похожую на пирог, длинную войлочную шляпу.

— Сухарей засуши. Путь мне дальняя.

Андрон с подчеркнутым спокойствием сошел с крыльца, перекрестился на восток, поклонился дому, амбарам, стайкам и народу за воротами.

— Граждане, вор и злодей Андронка Морев прощения просит. Добром моим теперь честные люди распорядятся.

Он подошел к раскрытому окну.

— Иван Федорыч, счастливо вам оставаться в моем доме. Жизнь, милый дружок, загогулина не простая. Гляди, еще повстречаемся мы с тобой.

В толпе кто-то крикнул:

— На трудящихся руку поднимают!

Толпа смолчала. Лицо у Морева окаменело. Помольцев шел сзади со своей ржавой берданкой подмышкой. Кулак спросил конвоира:

— Нефед Никифорович, бороду мне сейчас будешь резать на мушки, аль повременишь, покудов меня расстреляют?

Помольцев слова не проронил до самого сельсовета.

Безуглый высунулся из окна, фонарем осветил столпившихся у дома. Головы поникли. Бороды завилыли лохматыми собачьими хвостами. Сообщники Андрона, укрыватели его хлеба, его родственники, дружки стояли перед коммунистом в величайшем молчании.

Безуглый захлопнул окно. Он ни к кому больше не пошел с обыском. У него созрел другой план. В доме Морева коммунист сидел до рассвета, составлял подробную опись имущества.

Телеграмма мужа о несчастье с Никитой была для Анны новым неожиданным горем в день ее выезда из Улалы. Она и без того чувствовала себя плохо. После слета селькоров Анна ходила во врачебную комиссию. Она хотела прервать свою беременность. Разрешения на аборт не дали. Анна обратилась к бабке. Бабка сделала ей операцию вязальной спицей.

Анна приехала в Белые Ключи осунувшаяся, бледная, с темными подглазницами. Игонин увидел ее в окно, крикнул:

— Бурнашева, зайди ко мне на минутку!

Анна попросила ямщика остановиться.

В избе у Игонина были Улитин, Рукбилов и учительница Аলেখина. Игонин сказал Анне:

— Видишь, весь актив в сборе. Других членов я не собирал.

Он внимательно посмотрел на нее.

— Дело у нас узкое, касаемое твоего мужа.

Игонин передал ей все разговоры о Безуглом, начавшиеся в селе после приезда Шеболтасова с фуражкой коммуниста. Анна, не задумываясь, возразила:

— Вры. Никакой он не помещик. Кто с бандами в 21-м году воевал? Вы сдурели, чего ли?

Игонин отвел ее довод.

— У нас некоторые красные партизаны из партии повыходили и кулаками стали. Мало ли кто кем был, надо поглядеть, кто он есть на самом деле.

Анна совсем побелела.

— Головой ручаюсь за Ивана Федоровича.

Она стала кусать свои посиневшие губы.

Игонин постучал по столу трубкой.

— Голова тебе твоя еще годится, не торопись. Ячейка хочет узнать: баба ты, мужняя жена, или сознательный член партии? Подписывай на него заявление.

Улитин подал Бурнашевой исписанный лист бумаги. Она узнала руку АLEXИНОЙ. В заявлении коммунисты из Белых Ключей просили областную контрольную комиссию начать следствие против Безуголого. Игонин сказал Анне:

— Мне думаешь, легко было, когда Морев пришел с его фуражкой? Я и так, и эдак прикидывал. Социальное происхождение, может быть, еще и не факт. Ну, а кепку из песни не выкинешь. Одним словом, обязаны мы оследствовать все дело.

Бурнашева положила бумагу на стол.

— Вы его спрашивали?

— Кого?

— Ивана Федоровича.

Улитин поддержал Анну.

— Товарищи, на самом деле, надо добавить к заявлению и его показания. Нам с ним в прятки играть нечего. Поручим Игонину расспросить его начистоту.

Все согласились с Улитиным. Анна сморщилась от боли в животе, пошла к двери. Игонин закричал ей вслед:

— Смотри, ему пока не заикайся!

Анна с трудом влезла в ходок. Безуголого испугали ее свалившиеся щеки

и невеселые, чужие глаза. Он сначала объяснил все болезнью Никиты, потом увидел, что она и сама нездорова.

Анна разожгла самовар, умылась и легла на кровать. Безуглый устроился рядом на стуле. Она тихо сказала ему:

— Погубила я себя, Иван Федорович.

Он встrepенулся, схватил ее за руку.

— Неладно мне бабка выкидыш сделала.

— Почему ты не пошла к врачу?

Анна облизала сухие синие губы.

— Доктора отказали. У тебя, говорят, муж есть, и можешь ты воспитать дите.

— Совершенно верно. Я был бы только рад. Почему ты со мной не посоветовалась?

Анна протянула к нему руки, взяла его за голову.

— Боялась я, уедешь ты опять на семь лет, бросишь меня брюхатую... учиться мне охота смертная... Одной с грудным, знаешь, какое учение...

Безуглый поцеловал ее холодный и влажный лоб.

— Дурочка ты моя маленькая.

Она прижала его голову к своей груди.

— Нехорошо про тебя в селе говорят.

— Знаю.

— Ты пил у Агапова?

— Здорово напился малиновой настойки.

— Фуражку спьяна бросил?

— Сам не разберу.

— Как так?

— В другой раз поговорим, все это дело выеденного яйца не стоит.

Анна приподнялась на подушке.

— Гляди мне в глаза.

Безуглый покраснел, но взгляда не отвел.

— Баб у тебя много было, а жена одна. Не должен ты врать жене. Объясни мне всю свою родовую.

Безуглый встал и раздраженно ответил:

— Мать—прачка, отец—бурлак. Все остальное—сплетни.

Он вышел в сени, принес скипевший самовар. Анна медленно поднялась с постели, села к столу.

— Тощехонько мне. Оба мы с Никитой ровно под одну машину угодили. Она застонала.

— Никита если жив останется, женись на Сухорословой. На городской женишься, мальчонке плохо будет.

У Безуглого стали медленно холодеть руки. Он отвернулся к окну.

— Не говори глупостей. Я тебя лечиться в Москву отправлю.

К окну подошел Игонин, приложил руку к козырьку фуражки.

— Можно к вам, Иван Федорович?

Безуглый почувствовал в голосе и в глазах у него неприятную сухость. Игонин присел на край стула, от чая отказался.

— Мне нужно задать вам несколько вопросов по поручению бюро ячейки.

— Вы хотите узнать о приключениях моей фуражки и о том, кто был мой отец?

Игонин не донес до рта руку с трубкой.

— Вам Анна Антоновна рассказала о собрании актива?

— Ничего она мне ни о каком собрании не рассказывала.

— Откуда вы тогда узнали, зачем я пришел?

— Неужели для этого надо быть ясновидцем? Все село обо мне болтает. Сейчас жена допрашивала.

Безуглый вскочил со стула.

— Все чепуха, дорогой товарищ Игонин. Вы в праве конечно спросить у меня объяснения. Со своей стороны я написал в ГПУ об Агапове. Вам следует для прекращения всяких кривотолков возбудить в партийном порядке против меня дело. Завтра утром в письменной форме я дам ответы на все ваши вопросы.

Безуглый разговаривал с Игониным и не спускал с него глаз. Он точно искал в его наружности новые, враждебные себе, черты. Игонин сидел прежний — широкоскулый, с косо прорезанными глазами, с толстым носом, и, непотухающий вулкан, любимая трубка дымилась в его руке. Безуглый видел, что он стал для Игонина другим человеком. Он вдруг почувствовал вокруг себя глухую пустоту. Можно конечно было протянуть ру-

ку и погладить по голове Анну. Она наверное даже улыбнулась бы ему. Сам он только никогда ей больше не поверит, что у нее нет в голове затаенного вопроса: «А кто тебя знает?..» Игонин держался совсем, как следователь.

В тяжелые для партии дни Безуглый бормотал или напевал свою спасительную формулу—препятствия, преодоление, победа. Себя теперь утешить ей он не мог. Он знал, что его социальное происхождение не имело особенного значения. В партию иногда принимали и выходцев из других классов. Мог и Безуглый родиться в усадьбе помещика. Никогда его никто бы этим не попрекнул. Все разговоры, на первый взгляд пустячные, приобретали значимость оттого, что возникло подозрение в его честности. Он скрыл свое происхождение, обманул партию. Одна мать знала правду. Кто поверит ей после революции?

Сам по себе ничтожный случай с фуражкой тоже разрастался в событие, подобно снежному кому, пущенному с горы. Ни одной контрольной комиссии в мире Безуглый не смог бы толком объяснить, почему он оставил у Агапова свою кепку. Самым правдоподобным оказалось бы утверждение, что он был пьян. Безуглый не мог с этим согласиться, так как утром он встал совершенно трезвым. Вообще опьянение было незначительным и кратковременным. Он проспал на крыльце у кулака два три часа, вот и все.

Анна зажгла лампу.

Из окна тянуло свежей сыростью и запахом пихты с горьковатым привкусом дыма. Дым шел от костров, разложенных во дворах для варки ужина. Село затихало. Вода реки с шумом вертела ворчащие каменные колеса вечной мельницы. На высоких полях, в спящем хлебе, перепела отбивали звонкие секунды, коростели каждую минуту передергивали хриплую цепочку неостанавливающихся часов.

Часы эти Безуглый слушал и раньше. Он никогда не думал всерьез, что они отсчитывают и его сроки. Сейчас он с радостью ощутил неотвратимую мощь времени. Мысль о смерти впервые воз-

ника в его сознании. Она была горька и сладостна.

Анна, кажется, тянет последние дни. Никита может отправиться за ней. Он жил без них, почему теперь... Тогда у него было дело, за которое он боролся всю жизнь... Не будут его исключать из партии... Ну да, останутся только омерзительные шепотки: «А кто его знает...»

Безуглый выглянул в окно. Луну закрыла лохматая, черная туча. Она вздыбилась над горами, словно гривастое, длиннозубое, безглазое чудовище в стоптанных катанках. На село от него легла широкая и длинная тень. Коммунист пристально посмотрел на Анну и на Игонина. Ему показалось, что и у них потемнели лица.

В узком квадрате окна тихо появилась голова старшего сына Ефросиньи Пантюхиной—комсомольца Павла. Комсомолец глядел на задумавшегося Безуглого.

— Уполномоченный, заснул?

Безуглый чуть вздрогнул. Павел пожал ему руку.

— Выдь на улку. Дело есть к тебе. Они вышли все втроем. Комсомолец сказал:

— Слышите?

Сквозь размеренный шум реки прорывались тихие, скребущие звуки лопат, визг свиней и мык коров.

— Хлеб гады прячут. Скот уничтожают.

Анна прислушалась и сказала:

— Мелентий Аликандрович стается.

Павел возразил:

— Один рази он.

Игонин зашептал Безуглому:

— Ровно германец на фронте окопы роет, скотину у поляка шевелит.

В селе сильно пахло палениной.

Безуглый, как командир в строю, приказал:

— Товарищ Игонин, соберите всех надежных коммунистов и комсомольцев.

Игонин успел сделать только один шаг. В рыхлую тишину ночи гулко ружнул выстрел, загрохотал по улицам села. Около сельсовета кричал дежурный исполнитель:

— Убег! Держитя!

За околицей рассыпалась бешеная дробь копыт.

Второй выстрел был тише. Коммунисты услышали звон железа и взвизг рикшетирующей пули. Игонин крикнул:

— По стремю угодал... созвенело... может, коня охватил по брюху!

Андрон не чувствовал, что пуля оторвала у него мизинец на левой ноге. Он стегал на обе стороны длинным поводом и бил ногами своего гнедого мерина.

Безуглый пожал плечами.

— Ну, что же, в горах одним медведем стало больше.

Пантюхин закричал, выбегая из ворот:

— Догоним!

Андрон Морев скакал далеко в горах. Конь под ним храпел и задыхался. В селе его верные солдаты рыли подземные склады, резали скот, ломали ставшие ненужными орудия земледельца. Они готовились к длительной осаде.

На двор к Безуглому собирались люди с трехлинейками и берданками. На всех улицах скрипели ворота, ржали лошади, звенели стремена. Коммунисты седлали коней.

Конец первой книги.

Люди и факты

1. П. Ширяев — Высокая земля. 2. С. Обручев — Полет на остров Врангеля

1. ВЫСОКАЯ ЗЕМЛЯ

П. Ширяев

ЧАСТЬ ПЯТАЯ¹⁾

35

Встреча с Облепихиным странным образом дополнила мой познания о Чолпан-Ата и Нарыне. После встречи с ним и его рассказов для меня более выпукло и четко обозначились «дела и люди» этих двух совхозов...

Так всегда: выбравшись из непроветриваемой и затхлой комнаты, острее ощущаешь свежий воздух.

36

В разное время по разным поводам, часто случайно и урывками, собирал я кусочки биографий работников Чолпан-Ата и Нарына. Но, чем дальше шло это накопление, тем плотней ложились куски эти один к другому, и из отдельных биографий возникала —

одна общая биография нового человека, заряженного творческой энергией.

Первый «нарынец», с которым я познакомился, был Павел Александрович Гофман. О нем я слышал еще в Москве. Директор Коневодтреста А. К. Илюшин, напутствуя меня в Нарын, говорил:

— Боюсь, что вы раз'едетесь с Гофманом. Это — директор Нарынского конесовхоза. Сейчас мы забираем его в

Москву... От него вы узнали бы о Нарыне столько, сколько ни от кого! И вообще вам необходимо с ним поговорить! Нарын — это же его детище и его роман!..

Сидя в вагоне «Москва — Пишпек», я вспоминал разговор с Илюшиным, и Гофман рисовался мне почему-то приземистым блондином, с бородкой, солидный, похожий на преподавателя немецкого языка...

— А что, Гофман уже выехал в Москву? — первым делом спросил я инспектора Коневодтреста Я. М. Удриса, когда приехал во Фрунзе.

— Нет. Он здесь.

— Я хотел бы с ним повидаться.

— Присаживайтесь! Он должен скоро... да вот он и сам! — улыбнулся Удрис навстречу человеку, вошедшему в канцелярию.

Высокий, сухой брюнет в полувоенной форме крепко тиснул мне руку.

— Гофман.

Он прихрамывал, а когда сел, вытянул левую ногу, как жердь, — она не сгибалась в колене.

Мы договорились встретиться у меня, в гостинице.

«Совсем и не блондин, и на преподавателя не похож, и бородки нет» — думал я о нем, возвращаясь к себе.

Гофман пришел точно в назначенный час. Опять до боли крепко и как-то коротко тиснул мою руку и уселся к

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 7-8, 9, 10 и 11 с. г.

столику. Левую, негнущуюся ногу положил, как костыль, на стул.

— Для знакомства с работой Нарынского конесовхоза я хотел бы прочитать вам мой доклад правлению Коневодтреста, — предложил он.

И, не дожидаясь моего согласия, начал читать.

Доклад был написан на машинке, на сорока двух полулистах. Доклад специалиста специалистам. Я не был специалистом, но слушал Гофмана до конца с напряженным вниманием. Его реплики, чтение и все построение доклада, даже паузы, которые он делал, были пронизаны такой страстью и любовью к делу, что «специальный для специалистов» доклад превращался почти в поэму.

Запомнились мне страницы о «дружбе жеребцов».

Вопрос этот спорный в коневодстве. Большинство коневодов относится отрицательно к табунному, совместному содержанию жеребцов-производителей, не веря в их способность к дружбе и мирному житию бок о бок друг с другом.

— Вы понимаете, это — неправда! Это — рутинка! Я утверждаю... — Гофман прервал чтение; его острые, блестящие глаза отточились страстью еще более. — Я утверждаю опытом многих лет, что это — неправда! Слушайте дальше, вы поймете!..

Я слушал дальше...

— Вы понимаете, — опять прерывал чтение Гофман, — только противостественное, тюремно-конюшенное содержание жеребца превращает его в глупого, ограниченного и злого зверя... И это не может быть оправдано ни экономически, ни зоотехнически. Я утверждаю — не существует ни одного жеребца, которого нельзя было бы подружить с другими! И могу привести вам примеры дружбы жеребцов, граничащей с самоотвержением. Я знаю случаи, когда друг без друга они отказываются от корма; когда они совершенно спокойно стоят в одном деннике и, если их разлучают, страшно волнуются и нервничают. Я могу вам рассказать...

Я слушал до конца. И готов был слушать без конца.

Программа воспитания чувства дружбы у жеребцов была разработана в каждой мелочи с такою любовью и была так убедительна, что ей мог бы позавидовать любой «воспитатель человека».

Но доклад был для меня интересен не только этим. По нему я ознакомился не только с методами работы Нарынского гиганта.

Он был биографичен. Он был куском биографии нового человека.

И лишь незначительным добавлением к этой биографии были скудные слова Гофмана о самом себе.

.....

— Что у вас с ногой?

— Перебита.

— Вы — участник войны?

— Рядовой, в империалистическую. В июне 1917 года вступил в партию большевиков. Командовал конно-партизанским отрядом. Впоследствии отряд этот был ударной частью 8-й армии южфронта. Девять раз ранен. В 1921 году штабом передан в Туркестан. Десять лет работаю по коневодству в Средней Азии...

Гофман смблк, сунул в карман доклад и заговорил о Нарыне.

37

Я мог бы привести еще «куски» биографий других работников Нарына и Чолпан-Ата.

Например Удрис, Яков Мартынович, зачинатель Чолпан-Атинского конесовхоза и пионер советского коннозаводства в Средней Азии. —

... конноразведчик в царской армии. Потом — Красная армия. Подпольная работа в Самаре. Остервенелые попытки чехов изловить его за взрывы путей. Ликвидация анархистов. Работа следователем в губчека. Инспекторская работа по формированию красных кавалерийских отрядов и пр..

Было о чем рассказать и у иссык-кульского «адмирала», дважды краснознаменца, Леонида Львовича Раппопорта —

«... восточный фронт; Бухара и басмачество; схватки с Энвер-пашой...

И у любителя изящной литературы, молчаливого и скромного кузнеца Лященко, «арестованного с оружием в руках в Сибири в тысяча девятьсот пятом году...»

И у многих, многих других...

Но выразительней всех этих «анкетных данных» была окружающая действительность и «дела и дни» этих людей. Иногда бытовая «мелочь» вдруг раскрывала человека полней и ярче, чем все его автобиографические признания.

38

Помню, в Нарыне... Я и Елеференко сидели в юрте табунщика, в урочище Кара-Саз. Вечерело. Ледяной, яростный ветер врвался в юрту сквозь верхнее отверстие и зябко поросил лицо мелким снегом. Отогревая у очага замерзшие руки и ноги, я думал о том, что никакая сила не заставила бы меня сейчас вот оторваться от очага, выйти из юрты, сесть в холодное седло и куда-то ехать... Елеференко с табунщиками был занят выяснением кормовых ресурсов на предстоящих зимовках табунов и овечьих отар...

Полог у юрты приподнялся, и, сгибаясь, в юрту вошел рослый, круглолицый парень, одетый в короткий полушубок и валенки; на подстриженных в скобку русых волосах — залепленная снегом кубанка. Следом за ним, также пригибаясь, пролез уже знакомый мне смотритель табунов Мохоньков.

— Аман, здравствуйте! — по-киргизски и по-русски проговорил парень. Голос у парня был грудной, низкий, но не мужской.

— Наш зоотехник, товарищ Мечинская! — познакомил меня с круглолицим парнем Елеференко.

— Вы откуда, из Казан-Куйгана? — обратился он к ней и Мохонькову.

— Да.

— Прозябли?

(От Казан-Куйгана до места, где мы находились, было не менее 50 км.)

— Да уж пого-одка, язви еел... — вместо ответа добродушно выругался Мо-

хоньков и, присев на корточках к очагу, начал крутить цыгарку. Скрутил и передал кiset с махоркой Мечинской.

За чаем разговор о зимовках возобновился.

Размещение табунов и отар по зимним пастбищам было делом безотлагательным, а невыясненность наличия кормов на некоторых урочищах мешала составлению точного зимовочного плана.

— Свои табуны я могу разместить здесь, — говорил Мохоньков, — топлива заготовил на всю зиму, землянку оборудовал, теперь только насчет продовольствия надо...

— А я думаю, тебе надо зимовочку потрудней, — улыбнулся Елеференко, — парень ты боевой, выдержишь!..

Я слушал и с вождением поглядывал на ворох стеганых одеял позади меня. Слабо тлеющий очаг согривал мало. Дуло в спину. Тянуло холодом из-под кошмы, на которой сидели. Порошил сверху снежок.

«Укрыться бы сейчас с головой... сделать все дырочки, чтоб не поддувало, и...»

— Товарищи, «утро вечера мудренее!» — хотелось мне посоветовать и Аркадию Васильевичу, и Мохонькову, и Мечинской, и всем, кто был в юрте.

— А что, валенки в Казан-Куйган прибыли? — спросил Мохонькова Аркадий Васильевич, прислушиваясь к ветру, сотрясавшему юрту.

Этот вопрос смахнул мои мыслишки об уюте и тепле под стегаными одеялами. Аркадий Васильевич думал о табунщиках в дырявых башмаках и рваных чабанах, охранявших в этот неподгодный вечер золотые табуны...

— Вот что, товарищи, — помолчав, заговорил снова Елеференко, — разговоры наши о зимовках ни к чему, пока мы доподлинно не будем знать, что и где есть. Надо срочно обследовать наличие кормов в этих местах!

Елеференко назвал один из участков совхоза с невыясненными кормовыми ресурсами.

Участок этот находился километрах в сорока от юрты, где мы пили чай.

Мечинская и Мохоньков переглянулись и в один голос, как бы спрашивая друг друга, проговорили:

— Поедем?

И встали.

— Шимшибай, я твою кобылу возьму, а Мечинская — твою, Султан. Наши пристали, — сказал Мохоньков, обращаясь к двоим из табунщиков.

— Поехали! Кош! К послезавтра утру будем обратно.

— Кош!

Нахлобучив шапки и подтянув кушаки, Мечинская и Мохоньков вышли в темень, в ярость ветра, снега и холода...

Я был поражен. Только-что слезшие с седла после пятидесяти горных километров, иззябшие, а может быть, и голодные (какая же еда — чай с ячменными лепешками!), они без малейшего колебания, без лишних разговоров двинулись в новый и нелегкий путь.

— Надо?

— Есть!

Уплотненность слова и дела была предельная.

И в этой уплотненности, в этой внутренней мобилизованности и ежесекундной готовности к действию лежали причины стремительного роста Нарына и Чолпан-Ата и залог их дальнейшего развития.

— Мечинский, он¹⁾ ничего не боится, — угадывая мои мысли об ушедших, заговорил один из табунщиков, — буран, шурга — все равно пойдет! Ночь темная — не боится! Совхоз весь знает, какой перевал где есть, какой дорога где есть. Когда басмач тут был, отряд пришел басмача ловил. Мечинский проводником отряд водил, к самой границе с отрядом ходил... Ой, какой-о человек, ой какой!..

39

Около Чолпан-Ата есть ущелье Чон-Таш. Глухое, нелюдимое, напоминающее величавые ущелья Нарына.

В это ущелье мы поехали на охоту за кабаном — агроном К. М. Рисс, я,

Лященко и приехавший в Чолпан-Ата провести свой отпуск Я. М. Удрис.

Возглавлял нашу «экспедицию» Лященко. Огромный, усатый, на соловой кобыле, он ехал впереди и то и дело ошупывал мешочки, свертки, притороченные к седлу, покрикивал на собак, осматривал поочередно каждого из нас, наших лошадей, и был весь он какой-то спокойный и хозяйственный. Глядя на него, я испытывал нечто, похожее на самочувствие человека, вышедшего на мороз и стужу в крепком полушубке, туго подтянутом кушаком.

— С Лященко не пропадешь!

Горная охота на кабанов — дело трудное и утомительное. Дерзается они обычно на очень высоких местах, в малодоступных увалах, в арчевых зарослях. А для меня это было дело не только трудное, но и новое. В добавление к этому серая кобыленка, на которой я ехал, причиняла мне немало хлопот. Она горячилась без толку, упиралась при спусках, неизвестно зачем делала прыжки, когда приходилось брать подъём...

Поднимались мы по узенькой, звериной тропе. У арчевых зарослей, на высоте примерно в две тысячи метров, мы разделились на две группы. Спешившиеся Удрис и Лященко, оставив нам лошадей, полезли в гору, а я и Карл Мартынович двинулись дальше по тропке. Рисс ехал впереди с привязанными к подхвостнику кобылами Удриса и Лященко и, поминутно оборачиваясь ко мне, басил:

— Мы переросли свою территорию. Все, что могли освоить, освоили. Пухнуть дальше мы не имеем права. Наша задача теперь — интенсификация всех отраслей хозяйства. И не только наша. И совхозы, и колхозы должны превратить сельское хозяйство из промышленности в промышленность...

Я заслушался и чуть было не вылетел из седла, — моя кобыла неожиданно взбрыкнула.

— Удружили вы меня лошадкой! — крикнул я Риссу.

— А что?

Ответить я не успел.

¹⁾ В киргизском языке женский род отсутствует.

Бежавшие по тропе впереди агронома два пса вдруг с визгом и лаем сплелись в комок, судорожно забившийся на одном месте.

У меня было такое впечатление, будто они схватились в смертельной драке с неведомым и опасным зверем. Я сдернул с плеча винтовку и хлестнул кобылу, посылая ее вперед. Кобыла уперлась.

С визгом собаки бились на одном и том же месте.

Карл Мартынович турманом скатился с седла и бросился к псам.

— Капка-ан!.. Помогайте, скорей! — крикнул он.

Волчий капкан, искусно замаскированный на тропе, по которой мы двигались, защемил передние лапы собак. С большим трудом Карл Мартынович и я освободили взвизгивающих пленников. К счастью, лапы обоих псов оказались целыми. Рисс долго и нежно ласкал вздрагивающих псов, осматривая лапы.

Прежде, чем снова взобраться на седло, я прошел назад, к тому месту, где моя кобыла неожиданно взбрыкнула задом. Ее поведение стало для меня понятным. Там, из тропы, торчали две защелкнутые полудуги капкана. Случайно не защемили зубастые челюсти задней ноги кобылы. След копыта был от них совсем близко. Я вырвал капкан и швырнул его вниз, под обрыв. Наблюдая за его падением, я вспомнил рассказ Лященко о капкане, и на минуту мне стало не по себе...

Лященко поехал на кабанью охоту с одним охотником-киргизом, прекрасно знавшим «кабанью угодья». Ехали по такой же звериной тропе, как я и Рисс. Под киргизом была молодая, только-что заезженная лошадь.

Справа — почти отвесная скала, слева — обрыв и ельник.

— Едем... Смотрю, вдруг его кобыла раз задом, потом в дыбошки, потом опять задом, одним словом, взбесилась!.. И — хоп вниз, в обрыв!..

Лященко прыгнул с седла и подбежал к обрыву, откуда, как острия пик, торчали верхушки молодого ельника. Его спутник и лошадь, ломая ельник,

осыпая за собой камни, стремительно скатывались вниз... Наконец всадник вылетел из седла, а лошадь понеслась дальше и исчезла...

— Я к нему. Спустился, смотрю: лежит, не дышит, из носу и изо рта — кровь, глаза закрыты, думаю, конец!.. Принес воды, обмыл, дал выпить, привел в чувство, а встать не может и ничего не говорит. Кой-как вытащил его наверх, на седло и — айдати домой!.. А лошадь нашли дня через три. Как жива осталась!? Вся изодранная, как мартовский кот, шкура тряпками болтается, и на левой задней — лисий капкан. Она угодила, значит, прямо в него, ну и, натурально, взбесилась...

— Ну, поехали? — крикнул мне Рисс.

Я еще раз посмотрел вниз, куда швырнул капкан, мысленно подставил на место капкана себя с лошадью и, взобравшись на седло, весело отозвался: — Пое-хали!

До вечера мы пропутались по увалам ущелья в надежде напасть на кабанью «рытву». Сошлись все четверо у огромного камня, запримеченного днем. Здесь решили заночевать. Камень был величиной с хороший двухэтажный дом, и был он такой формы и так лежал, что одна из его сторон образовывала как бы навес. Рядом с камнем корчились, словно провололочные заграждения, арчевые заросли, обугленные пожарищем, — необходимое топливо для ночевки в холодную горную ночь на высоте в две с половиной тысячи метров.

Расседлав лошадей и спутав их, мы первым делом принялись за «заготовку» топлива. Топором и руками ломали высушенный пожаром арчевник и стаскивали его к ночной квартире. Потом развели костер и, разостлав шубы, приступили к одному из самых больших удовольствий на охоте — к еде и чаепитию.

Карл Мартынович нарезал кружочками конскую жирную колбасу (продукт организованной им в Чолпан-Ата колбасной), остругал две палочки и, нанизав на них куски колбасы, начал их поджаривать на костре.

Шесть псов, расположившись полукругом около нас, смотрели, как завороченные, на вкусно шипевшие кружки колбасы и облизывали гибкими языками влажные носы. Облизывались и мы.

А Карл Мартынович, с мучительной медлительностью повертывая над костром палочки, философствовал:

— Кони́на конине — рознь! Например неезженная двухлетка сломала себе ногу. Или годовичок-жеребенок. Это, доложу я вам, — деликатес! Пальчики оближешь!..

Каплями жира колбаса сочилась на огонь. Одна из собак, облизываясь и взвизгивая, на брюхе, вкрадчиво подползла к Карлу Мартыновичу.

— Уже поджарилась! — глотнул слюну Удрис.

Крякнул и Лященко и скромно отметил:

— Сало-то, жалко, вытекает!

— Еще малость! — продолжал повертывать палочки агроном. — Этот сорт колбасы, в сущности, хорош и неподжаренный!..

— А за каким же лешим ты его жарить?!

— Хорош и неподжаренный, — продолжал Рисс, — но конечно поджаренный (он зажмурился и поичмокнул)... Свиная — куда хуже! Помню, в прошлом году... кобыленка, полуторник, сломала правую переднюю. Прирезали и привезли ко мне, в колбасную...

Карл Мартынович поднес одну из палочек к носу и понюхал. Лицо у него было серьезное.

— Я никогда не видел такого мяса, — продолжал он, — это был плом-би-ир, не мясо, а плом-бир!

— А мне вспоминается чеховский рассказ «Сирена», — улыбнулся я Карлу Мартыновичу.

— Хороший рассказ! — согласился он. — Но я вам серьезно говорю — не мя-со, а плом-би-ир!

Удрис с ожесточением вырвал у Рисса палочки и ловко сдернул с них на разостланную газету дымящиеся кружочки колбасы.

— Довольно поэзии!..

Ели мы много и жадно. Потом так же долго и жадно наливались чаем из

огромного лященковского чайника. Вплотную придвинулись псы и, внимательно следя за движением каждого из нас, на лету, без промаху, ловили бросаемые им куски.

— А один раз со мной был такой случай... — нахмурившись, с тяжелой серьезностью начал Карл Мартынович.

И смолк.

Мы ждали. Он молчал.

— Какой же случай? — спросил я.

— А так обычно начинаются «охотничьи рассказы» у костра! — улыбнулся Рисс и встал. — Да минует нас чаша сия! Давайте укладываться!..

.....

Ночь в горах, в глухом ущельи, на высоте двух с половиной тысяч метров, не сравнима ни с чем. И самое необычайное в ней —

тишина.

Я помню тишину полей; ночную тишину в песках Кара-Кума; тишину соснового бора в душные июльские ночи; помню бессонную тишину одиночной камеры...

Тишина горных вершин — иная.

Там, внизу, в лесу, в поле, в пустыне, — тишина земная, она исходит от земли. Тишина в горах опускается сверху. Тишина горных вершин — это тишина пространств.

Закроешь глаза и словно видишь и слышишь — стоит она вот тут, рядом с тобой, над тобой, за тобой, дальше, выше, всюду, везде, огромная, безмерная, больше земли, больше всего, извечная, мировая тишина. Никакие стихии, ни грозы, ни бури, ни ревущие воды океанов, ни землетрясения с ней не сравнимы. Она — больше. Она — всеобъемлюща. В ночной тишине гор оживают предметы, и говорят камни. И треск костра выразителен, как живая речь.

.....

Я не спал. Рядом со мной, завернувшись в шубу, похрапывал Карл Мартынович. Он уснул с папироской в зубах. Лященко, прежде чем лечь, долго возился с устройством ложа; вниз он подстелил два потника; седло — под голову; на седло — торбу с ячменем. Когда он улегся и накрылся своим ту-

лупом, он показался мне еще огромней. Удрис лег поодаль от костра, у небольшого камня, защищавшего его от тихого, но холодного ветерка, тянувшего по ущелью.

— Вы что же не спите? — посмотрел на меня Лященко.

— Да так, что-то не спится!

Лященко помолчал и еще раз посмотрел на меня.

— У Тургенева, Ивана Сергеевича, — заговорил он тихо, — «Бежин луг» очень мне нравится; мальчишкой когда был, очень похоже все... Теперь вот таких книжек не пишут. Иной раз читаешь-читаешь, и плюнешь! Туманит голову, а зачем, и не понять!

— А кого из теперешних писателей вы читали?

Лященко назвал несколько имен.

— И опять же сквернословия теперь много в книжках, — помолчав, добавил он раздумчиво, — раньше этого не было.

— Отсталый ты человек! — неожиданно пробасил Карл Мартынович; загозился, придвигаясь ближе к костру, и начал раскуривать папиросу. Выкурил и мгновенно захрапел.

Лященко натянул на себя тулуп.

— Давайте и мы ночь делим! Если пофармит завтра, кабана добудем непременно. Спокойной ночи!

Он затих.

Неподалеку от костра паслась лошадь. В тишине я отчетливо различал приглушенный звук от движения ее челюстей, перетиравших траву. Осторожно бряцала уздечка.

Я слушал и думал:

— Лошади... собаки... и мы... Ночь и горы... Все земное, привычное, светливое осталось там где-то, внизу...

Спал Карл Мартынович. Спал Лященко. Дремал могучий овчар в ногах агронома. Костер, потухая, вспыхивал и отпугивал наседавшую со всех сторон темень.

Я привстал и начал поправлять сучья.

Неожиданно в том направлении, где паслись наши кони, раздался собачий дерзительный вздох. Дремавший около агронома овчар огромным прыжком,

рыча, перемахнул через меня и Лященко и сгинул во тьме...

Мне запомнился Удрис.

Он так стремительно вырос из-за камня, будто под ним взорвался котел под давлением в сотню атмосфер. Вскочил и напряженно замер на какой-то короткий миг. Потом хищно пригнулся к земле и прыжками ринулся вперед, держа перед собой обеими руками винтовку.

Почти одновременно с ним рымакнул из-под тулупа огромный, усатый Лященко и так же, как Удрис, молча, без единого восклицания метнулся в темень, туда, где лаяли псы, где... —

где:

Человек?

Зверь?

Бандит?

Чорт?..

Кто был там?!

Сто чертей и сто бандитов?!

Все равно —

на встречу!!!

В тот же момент на костер, гася свет, навалилась огромная крылатая птица. Из освещенной мишени (отвратительное самочувствие!) я превратился в невидимку, в человека, более или менее способного к самозащите и даже к «наступлению».

Это Карл Мартынович, «крепко спящий», по моим предположениям, бросил на костер шубу.

Пока в темноте я искал лежавшую рядом винтовку, он уже исчез.

Я остался один...

Кто там и что?

Из вихря мыслей самая навязчивая была —

басмачи?..

Я всматривался в темень, и ничего не видел. Прислушивался, и ничего не слышал. Лишь лаяли псы. Лаяли все шесть. Наконец они смолкли.

Почему?

Куда исчезли Удрис, Лященко... Карл Мартынович?.. В чем дело?

Разрешая мои сомненья, из тьмы неожиданно вырисовался овчар Герд. Спокойный, помахивая тяжелым хвостом, он подошел ко мне, потеряв могучей шеей о мое колено и, крякнув, лег...

Сразу стало свободнее дышать, будто расстегнул тугий воротник.

Впереди захрустел под ногами сухой арчевник. Потом послышались голоса. Говорил Лященко:

— Не может быть, чтоб в таких местах собака забрехала зазря!

— Ей присни-илось! — басил в ответ Карл Мартынович.

— Тут — не село и не проезжая дорога. Кроме нас, никого тут быть не может! — продолжал Лященко.

— После колбасы собакам всегда хорошие сны снятся! — шутил агроном.

.....
Снова весело трещал костер. Закипел чайник.

— Ложная тревога иногда полезна! — улыбаясь, говорил Удрис.

— Ложная тревога мешает сну-у, — тянул басом Карл Мартынович, — и вынуждает чело-вечество снова пить чай и жрать кол-ба-су-у...

— Чур, неподжаренную!

Пили чай. Опять ели колбасу. Шутили и смеялись над ложной тревогой.

Пять минут тому назад «ложная» тревога никому из нас не показалась ложной. Если басмачи — прошлое, то, бай-манапское охвостье, бандиты до сих пор еще бродят по ущельям Тянь-Шаня...

Я смотрел на Удриса, на Карла Мартыновича, на Лященко и, припоминая их молниеносную и «организованно-деловую» реакцию на тревогу, думал:

«Каждый из них — солдат. Агроном, кузнец, инспектор, — каждый из них в любой момент займет и нужное место в фаланге бойцов, встречающих врага».

.....
С утра, на другой день, мы напали наконец на кабанье «рытво».

— Рытво свежее! — проговорил Лященко и посмотрел вверх, куда уходил увал. — Должны быть там, наверху!

Мы спешились. Спаренных лошадей оставили внизу. Удрис, Лященко и Карл Мартынович полезли в гору, в обход увала. Я, по совету Лященко, перебрался на другую сторону ущелья и выбрал себе позицию за камнем, против увала.

— Если мы на них напоремся и спугнем, они обязательно пойдут вниз по

увалу, вы их тут и встретите, — настаивал меня Лященко, — и туда, во-он, посматривайте, видите, где ельничек, они и туда могут податься!

Я долго наблюдал, как мои компаньоны карабкались в гору. Подъем был крутой и трудный. Лященко взбирался медленно, ровно и без остановок. Карл Мартынович часто останавливался и почему-то оглядывался назад, вниз, где мы оставили лошадей. Удрис сразу забрал влево и вскоре исчез из виду. Я всегда поражался, глядя на этого человека. Он был из железа. Сделать лишние сотню-другую метров по горам для него ничего не стоило. А сто метров в горах, на высоте в две тысячи метров, это, пожалуй, стоит десятка километров по ровной дороге!..

Скрылся за пригорком неторопливый Лященко.

Дольше всех в поле моего зрения оставался Карл Мартынович. Он шел зигзагами, то и дело останавливался и, нагибаясь к земле, что-то рассматривал, очевидно кабанье рытво и следы. Раза два он начинал красться к увалу, и тогда я замирал. Укладывался поудобнее за камнем, брал на прицел одну точку за другой и ждал.

— Кабаны?..

Наконец и Карл Мартынович утонул в какой-то выемке.

Я честно выжидал за камнем больше часу. Искурил полпачки папирос. До мелочей «освоил» заросший арчей и загроможденный камнями увал. Жила во мне уверенность, что кабаны выйдут именно из этого увала, прямо на меня. Я уже представлял себе, как покажется из-за камней огромная, клыкастая голова, как спокойно я посажу ее на мушку, как громыхнет первый мой выстрел...

Прошло полчаса. Час. Кабаны не показывались.

Еще полчаса. Все так же безнадежно тихо и спокойно.

Моя уверенность дала первую трещину. Я почувствовал, что у меня затекли ноги; лежать стало вдруг неудобно.

«А не лучше ли встать и дойти до ельника, на который мне указывал Лященко?.. — раздумался я. — Ведь охот-

ничье «счастье» идет в руки тому, кто активнее, кто неутомимее, кто не ленится обшарить каждый кустик, каждую дыру!.. Под лежащий камень и вода не течет!..»

В общем я убедил себя и встал. Но, отойдя шагов сто от камня, снова заколебался.

«А вдруг... ушел вот, а они как-раз!?. Лященко ведь знает!.. Ведь очень же часто бывает так: ждешь, ждешь — нету, а только уйдешь — как-раз тут и есть!.. Например трамвай в Москве...»

Я вторично убедил себя в том, что терпение на охоте — абсолютно необходимым качеством. Вернулся к камню и лег.

«Буду ждать!»

Карл Мартынович, Удрис и Лященко канули, как в воду. Никого и ничего.

Прошло еще полчаса.

И для меня вдруг стало очевидно, что никаких кабанов в этом увале нет и лежать дольше за камнем и ждать — бессмысленно.

Перекинув винтовку за плечо, я неспеша зашагал по склону ущелья; потом начал карабкаться вверх в надежде, что, забравшись выше, увижу оттуда кого-нибудь из моих спутников. Постукивало в висках, и с каждым шагом усиленнее билось сердце. Я поминутно останавливался и передыхал.

День был пасмурный, тихий, а горы, как всегда в мутные дни, задумчиво-бархатные и мягкие. В пасмурные дни покой гор глубже. Сидеть бы, не шевелясь, и утопать в нем!..

Я лез все выше и выше.

Громяхнувший вдруг сзади выстрел был так неожиданен для меня (я уже забыл о кабанах!), что я даже растерялся... Срываясь и падая, бросился вниз, к своему камню.

— Идиот! Дурак! Ушел!.. Прозевал!..

До камня было далеко. Из-за бугра, на другой стороне ущелья, выросла фигура Карла Мартыновича. Он так же, как и я, кувыркался вниз, взмахивая смешно винтовкой при падении. Потом я увидел, как из увала выскочил огромный кабан и помчался по тропе влево, а через несколько секунд — еще три. Эти пошли стремительно вниз.

У меня так колотилось сердце и так дрожали руки, что ни о какой стрельбе нечего было и думать! Да и расстояние было не близкое.

Тропа, по которой мчался первый кабан, круто повертывала вправо, огибая скалистый, острый выступ.

Карл Мартынович, докатившись до тропы, вскинул винтовку по ухотившему зверю; трех кабанов, удиравших вниз, он очевидно не видел. В этот же момент я увидел Лященко. Он вырос неожиданно из арчевника над тропой, по которой прямо на него неслись кабан. Ни кабан, ни Лященко друг друга не видели: выступ скалы на повороте скрывал их одного от другого. Лященко шел с винтовкой через плечо, и по его спокойной походке было видно, что он совершенно не подозревал о близости зверя.

Рисс выстрелил. Кабан споткнулся и еще бешенее помчался вперед.

— Хо-оп! Хо-оп! — что было сил закричал я Лященко, предупреждая его об опасности.

Лященко не слышал. Я видел, как он нагнулся, что-то рассматривая на тропе, потом повернулся к горе, к арчевнику, и остановился. Он был всего лишь в какой-нибудь полсотне шагов от поворота, к которому приближался свирепый и очевидно слегка рененный Карлом Мартыновичем кабан.

Чтобы как-нибудь привлечь внимание Лященко, я снял пиджак и начал им размахивать. Лященко не замечал.

Все, что произошло потом, было великолепно.

Кабан, вымахнув из-за поворота, мгновенно увидел идущего к нему навстречу человека. Остановился и тут же, нагнув огромную голову рванулся снова вперед.

Мгновенно увидел и Лященко его.

Сдернув с плеча винтовку, он широко расставил ноги, слегка наклонился, огромный, неуступный, и, подпуская к себе кабана на какие-нибудь двадцать шагов, выстрелил.

Кабан сразмаху ткнулся рылом в землю, потом привстал, осел на задние ноги, играя клыками, и опрокинулся на бок...

— Хо-оп! Есть! — радостно закричал я Карлу Мартыновичу, бежавшему по тропе.

Спокойно и неторопливо, с винтовкой наготове подходил Лященко к поверженному зверю.

.....

Два эти «случая на охоте» — тревога и поединок Лященко с кабаном — были для меня ценнейшими кусками биографии «нового человека». И я, еще и еще раз, убеждался, что этот «новый человек» сумеет, когда это потребуется, превратить эмблему мирного труда — «серп и молот» — в грозное и смертельное оружие для врага...

40

Было это в июле, в разгар сенокоса.

Вернувшись из косяков, я застал в своей комнате Л. Л. Раппопорта. Лицо у него было озабоченное; у пояса — кобура с револьвером, в руках — карабин.

— Куда вы так нарядились?

Он ответил не сразу. Присел на кровать и начал ерошить свою густую шевелюру. Потом спросил:

— Григорьевку знаешь?

Григорьевка был довольно большой русский поселок километрах в тридцати от совхоза.

— Сейчас мне сообщили по телефону, что там беспокойно.. Завозилось кулачье. Понимаешь, все это конечно ерунда!.. Но, понимаешь, могут сорвать се-ноуборочную... У меня и так нехватка рабочих рук. Каждый день дорог. Травы начинают гореть, а косилки всюду не пустишь, есть места, где только вручную можно косить. Надо в Урюкты поехать, а тут — на вот тебе!.. Ты один или с Антоном приехал?

— Один.

— Как там?

— Там все в порядке, тишь и гладь!

— Понимаешь, я же знаю эту сволочь! — помолчав, заговорил снова Леонид Львович. — Взбаламутят десятка два-три дураков, а сами — в горы; до границы — рукой подать! Этого я и боюсь: косяки-то все у меня в горах, — отхватят эдак полкосяка и... до сви-

данья, а ты сам знаешь, я одного Гадауина на всю Григорьевку не променяю! Вот и приходится отрывать ребят от работы и посылать туда, предупредить... И за Урюкты боюсь: там ведь у меня самая головка — Маркони, Прибой, Силач¹⁾... И на все Урюкты — три винтовки!

.....

Остаток дня и ночь прошли в тревоге.

Как всегда в таких случаях, в совхоз просачивались слухи, один нелепее другого. О каких-то хорошо вооруженных бандах, спустившихся с гор, о захвате ими г. Каракол и т. п...

Вряд ли кто из работников совхоза верил этим слухам, но о них все-таки думалось, и до утра, всю ночь, спокойный и всегда невозмутимый Лященко вместе с другими, у кого было хоть какое-нибудь оружие, зорко оберегали свой совхоз... Поздно вечером из косяков приехал Антон Борковский. И приехал не один. Спускаясь с гор, он встретил пробиравшегося к косякам уволенного им табунщика. Табунщик этот имел репутацию байского прихвостня.

— Говорит, что шел к ребятам, в косяки,—докладывал Антон директору,— а я знаю — ребятам он не нужен, и делать ему там нечего, особенно в такое время. Вы его знаете, Леонид Львович, это тот самый, который ребят баламутил!..

— У тебя там все спокойно? — спросил Раппопорт.

— Все по-хорошему. Ребят своих я знаю. Только вот что, Леонид Львович, я...

Антон замялся.

— В чем дело, говори.

— Я хотел бы жену с детишками отсюда взять сюда, вниз. Без нее мне там посвободнее. Я сейчас же обратно туда поеду, к утру она здесь будет.

— Делай, как лучше!

— Ну, а у вас как тут? Ребят наших я видел сейчас, и по дороге дежурят, и у щели двое...

Я вместе с Борковским вышел во двор. Ночь была глухая, темная.

¹⁾ Чистокровные производители конесовхоза.

— Антон Станиславович, а вы даже без оружия? Рискованно так!..

— Я оставил винтовку ребятам, там понужнее. До свиданья!

Он прыгнул в седло и исчез в темени.

Утром из Рыбачьего прибыл грузовик с милиционерами, а в полдень на этом же грузовике я, Раппопорт и человек пять милиционеров выехали в Урюкты, элитный филиал Чолпан-Атинского конессордхоза.

В самый последний момент, когда грузовик уже тронулся, из конторы стремительно выкатился Михаил Малахович Слепенко.

— Подождите, Леонид Львович, подождите!.. Я — тоже в Урюкты!

В руках у Михаила Малаховича были какие-то папки, бумаги, ватная куртка, еще что-то, кажется, ведро с черешнями...

— С отчетом там беспорядок, надо проинструктировать, — торопливо говорил он, забрасывая в автомобиль папки, бумаги, куртку, потом начал карабкаться сам.

— Огложил бы до другого раза!.. Попадешь вот в лапы банде, так-ую инструкцию тебе пропечатают, в другой раз не захочешь, — шуливо пытался отговорить его от поездки Раппопорт. — А черешни зачем везешь?

— А как же?! Гостинцы бандитикам.

Кряхтя, Михаил Малахович перевалил через борт грузовика свое тело, выплюнул изжеванную папироску и решительно произнес:

— Поехали!

От Чолпан-Ата до Урюкты — семьдесят пять километров по тракту Рыбачье — Каракол, через Григорьевку и районный центр — Сазановку. По дороге, справа и слева, то и дело — квадратные полотнища чудесных и нежных цветов, белых, розовых, лиловых и мрачно-красных, — плантации опийного мака.

По сравнению с жалкими киргизскими кишлаками, которые мы проезжали, русские поселения, Григорьевка и Сазановка, казались иным, роскошным миром. Киргизские кишлаки — это ряд

приземлившихся глиняных мазанок, с нелепыми дырами вместо окон и дверей, с наваленными кустами джержанака вместо изгороди, ни одного деревца, ни одного зеленого кустика, — солнце, зной и пыль, грязные полураздетые киргизята с бритыми головками, украшенными смешным «запорожским» чубом, растрепанные старухи в рваных бешметах со связками ключей, подвешенных на концы жестких кос, заплетенных в несколько узких жгутов.

Григорьевка и Сазановка щеголяли широкими улицами, обсаженными тополями; все постройки были хозяйственно-солидны, опрятны, с резными крыльцами, с темнозелеными кущами садов позади.

Это противопоставление убогих киргизских кишлаков и цветущих русских поселков говорило не только о разнице культурного уровня... С убийственной наглядностью выпирало из этого мрачное наследье царизма. Колонизация Киргизии, начавшаяся примерно в 1866 году, по существу, была грабежом киргизского населения. Показательны в этом случае цифры.

Вначале душевой надел переселенцев-крестьян был определен в 32,78 га. Потом эту норму снизили до 10,93 га на душу. Для русских казачьих хозяйств душевые наделы были определены в гораздо большем размере. По данным обследования Пишпекского и Пржевальского уездов, приходилось земли на двор: по Пишпекскому — 30,5 га, а по Пржевальскому — 45,3 га. У киргизов же на один двор приходилось 2,24 га. По одному только Пишпекскому уезду было изъято из пользования киргизов 712.089,23 га земли. В ферганской части Киргизии, по данным 1913—1915 гг., было изъято 82.000 га; на которых устроилось около 50 русских селений. Особенно усиленно шла колонизация Киргизии в последние годы перед революцией. И хотя при колонизации считалось, что за коренным, киргизским населением необходимо сохранять их «насиженные места, постройки и обработанные поля», но на деле это бессовестно нарушалось путем административных захватов то по мотивам

государственной важности, то для удобства переселенцев и т. п. Результатом этой упорной колонизационной «работы» и было восстание 1916 года. А после его подавления, по плану, утвержденному генералом Куропаткиным, предполагалось в наказание за восстание переселить киргизов из района озера Иссык-Куль и Чуйской долины в гористую часть Киргизии (Нарын, Сон-Куль и другие районы) и изъять у киргизов два миллиона га удобных земель. Только Октябрьская революция расстроила эти планы оголтелого царизма...

.....

В Григорьевке и Сазановке мы узнали некоторые подробности «восстания». Его организатором явилась семья русского кулака, очевидно почуявшего конец своему паучьему благополучию. Как и предполагал Раппопорт, «организаторы», взбаламутив часть киргизского населения, сами скрылись в горы в надежде добраться до границы. Жертвой кулацкого выступления оказалась незаметный и мирный производитель работ в Григорьевке. Его вытащили в поле и там после жутких пыток прикончили. За что? Почему? Никто не знал. Не знали и трое фактических его убийц, арестованные на другой день по указаниям населения...

В Урюкты мы добрались к вечеру — я и Михаил Малахович. Раппопорт задержался в райкоме, в Сазановке.

После Чолпан-Ата и особенно после сурового и дикого Нарына Урюкты напоминает бонбоньерку. Это — небольшой, изящный хуторок, расположенный километрах в двух-трех от тракта, близ Урюктинской щели.

Раньше Урюктинский завод именовался рассадником. Основан он был известным коневодом (впоследствии управляющий коннозаводством Турккеспублики) В. А. Пяновским. Потом он перешел в ведение Кирплемтреста и в течение нескольких лет был балованным, единственным и дорого стоящим «дитем» молодой Киргизской республики. Его удельный вес в союзном конноза-

водстве был ничтожен. Как производственная единица он ожил лишь после того, как вошел в систему Коневодтреста и слился с Чолпан-Атинским конесовхозом.

Сейчас Урюкты — элитное отделение Чолпан-Атинского конесовхоза. В нем сосредоточены ценнейшие чистокровные производители совхоза, и в нем же происходит тренинг и подготовка скакунов к ипподромным состязаниям.

В Урюкты паразителен воздух. Он так густо-пахуч, так насыщен ароматами неведомых цветов и трав, что, казалось, его можно черпать. Чудесен и пейзаж. В отличие от лысых, безлесных гор, окружающих Чолпан-Ата, ущелье Урюкты сплошь покрыто тянь-шаньской елью, и ее густая и темная зелень придает всему ущелью какой-то особый, углубленно-синий тон.

— Хорошо у вас здесь! — высказал я свое восхищение Михаилу Малаховичу, утопавшему в бумажном потоке ведомостей, балансов и прочих бухгалтерских премудростей.

Слепенко вскинул на лоб очки, посмотрел на меня непонимающими, не освобожденными от цифр глазами и переспросил:

— Что?

И тут же ответил:

— Очень плохо! Мы хотим всю элиту перевести отсюда в Чолпан-Ата. Тут — суставолом. Заболевания у лошадей. Простуда. Каждую ночь здесь страшные и вредные сквозняки из ущелья. Убедитесь сами!..

.....

С Урюктинского хутора мы возвращались на лошадях.

Подъезжая к киргизскому селению Темировка, мы встретили бричку, запряженную парой лошадей. Бричку сопровождали четыре конных милиционера-киргиза. Сидело в ней три человека со связанными руками. Я запомнил одно лицо, — даже не лицо! — низкий, вдавленный лоб и под ним глубоко запряжанные, маленькие, не умеющие смотреть прямо глаза озлобленного животного.

Это были арестованные убийцы несчастного григорьевского прораба...

К Чолпан-Ата под'ехали, когда было уже темно. У молочной фермы нас оставил окрик:

— Кто?

Из темноты выросла фигура с винтовкой.

— Леонид Львович? Живы-здоровы? А мы уже опасались, не случилось ли чего!

Это был один из работников совхоза, кажется, заведующий кооперативом.

41

Перед от'ездом я и Л. Л. Раппопорт зашли к Михаилу Малаховичу. Несмотря на поздний час, Михаил Малахович и К. М. Рисс сидели над составлением промфинплана.

Как всегда, в комнатах был очаровательный беспорядок, и всюду — окурки, окурки и еще раз окурки: в блюдцах, в стаканах с недопитым чаем, на подоконниках, в пустых спичечных коробках. Табачный дым висел, как дымовая завеса.

Карл Мартынович сидел в кепке, в неизменной стеганой кацавейке, дымя махоркой и на наше появление не обратил никакого внимания. Михаил Малахович сидел в другой комнате и тихо поругивал авторов формы составления промфинплана.

— Бюрократы!

— Мертвецы живые!

— Вредители!

И еще целый ряд лестных эпитетов.

На его негодующее бормотание изредка отзывался и Карл Мартынович.

— Прр-авильно!

— Ведь вы понимаете, — срывался с места Михаил Малахович, — есть рубрики, которые мог выдумать только ненормальный человек... И я, понимаете, обя-зан, обя-зан с ними считаться! А еще говорят — борьба с бюрократизмом!?. Там сидят чиновники, а не живые люди. Каждый думает: «А какой бы еще выдумать параграф, чтоб под меня подкопаться нельзя было!?»

Дымя махоркой, мычал над цифрами и Карл Мартынович.

— Давайте пить чай, я обалдел! — предложил Михаил Малахович, решительно громыхнув стулом.

За чаем зашел разговор о дальнейшей организации чолпан-атинского хозяйства. Разговаривали я, Раппопорт и Слепенко. Карл Мартынович продолжал свои вычисления и, казалось, не слушал наших разговоров. Но в какой-то момент он отбросил карандаш, отвалился на спинку стула и, щурясь поочередно на каждого из нас, забасил:

— Австралийский баран Давид дал в июле 1927 года девятнадцать килограммов шерсти и был продан за пятьдесят пять тысяч рублей... Понятно? Хотите еще? Слушайте. В Дании 1.400.000 коров дают восемь миллионов пудов экспортного масла. Средний удой одной коровы — 200—220 пудов. То же и с урожайностью. В той же Дании гектар пшеницы дает в среднем 200 пудов, рожь — 120, овес — 140, ячмень — 175 и так далее. Мы же, товарищи, — расточи-тели, хи-ищники!!! Если организация мелкого единоличного районного хозяйства представляет агрономическую нелепость и вредную утопию, то мы-то ведь — совхоз! У нас-то ведь все возможности, все карты в руках!.. Я настаиваю, Леонид Львович, что территориально нам незачем расти. Наша задача — интенсификация всех отраслей хозяйства. Наша задача — превратить совхоз в высококультурный, образцовый очаг новых научных методов ведения хозяйства, чтоб каждая корова была молочной фабрикой, каждая свинья — беконным заводом, каждый гектар — безотказным кормильцем! Сельскохозяйственный промысел мы должны превратить в сельскохозяйственную промышленность!..

Жуя папиросу, внимательно слушал Михаил Малахович и посматривал то на меня, то на Раппопорта. Потом он встал, закурил новую папиросу и с какой-то особой, юношеской взволнованностью проговорил, ни к кому не обращаясь:

— А ведь, действительно, какие-не у нас возможности!.. Подумать — голова кружится! Ведь что можно сделать из Чолпан-Ата!..

Он вскинул на лоб очки и, остановившись у ёстола, уставился в одну точку. Глаза у него блестели.

— Мы до сих пор едем на каких-то рабьих, нищенских навыках, — продолжал Рисс, — одни пословицы чего стоят!.. «Не то беда, что во ржи лебеда, а вот две беды, коли нет ни ржи, ни лебеды». Ведь это же — пословица побирушек, нищих!..

Раппопорт слушал и улыбался. И улыбка его была хорошая. Она как бы говорила:

— Все будет! Сделаем!

Мы проговорили до рассвета. Выходя от Михаила Малаховича, я уносил в себе зарядку неиссякаемой веры в будущее совхоза. И почему-то мне вспоминалась любимая фраза нарынского директора, Аркадия Васильевича Елефренко —

«Вся премудрость на сегодняшний день опять же упирается в человека».

42

У крыльца конторы стояла бричка, запряженная парой. Поверх вороха сена — кошма и огромный Лященко. Я скинул Чолпан-Атинский совхоз.

День был тихий, солнечный.

На крыльце конторы стояли Раппопорт, Михаил Малахович, Рисс, кое-кто еще из совхозных работников и позади всех улыбающаяся, круглоликая Оля.

— Расскажи там в Москве, как мы живем здесь, — говорил мне Леонид Львович, — там ведь о нас ничего не знают!

— Насчет журналов не забудьте, пропадают, не получаем! — в десятый раз напоминал Михаил Малахович.

— Пишите! — басил Рисс.

Было грустно уезжать. Я жал руки, обещал...

— Прощайте, Оля, я и о вас расскажу в Москве.

Оля зарумянилась.

— Обо мне нечего рассказывать. Я зимой в техникум поступаю. Приезжай-

те еще к нам! — проговорила она, улыбаясь своей чудесной, светлой улыбкой.

— А мне вот стыдно, Леонид Львович! — забасил агроном, спускаясь с крыльца и подходя к бричке. — Разве это бричка?! Разве это лошади? Совхозная бричка, упряжь, кони должны быть — ро-о! Чтoб каждый знал, как взглянет, — вот это совхоз! Эстетика-с нужна во всем, да-с, товарищ директор, совхозная эстетика!..

— Все будет! — смеялся Раппопорт, — о бричке Ширяев, пока-что, помолчит в Москве, а потом и брички, и эстетика — все будет!..

Выезжая из совхоза, я обратил внимание на канавы, вырытые вдоль дороги.

— Зачем это? — спросил я Лященко.

— Для насаждений. Тут будет аллея из тополей. Деревья уж заготовили, корней с полтысячи.

Лященко помолчал и мечтательно проговорил:

— Очень хорошо, и прекрасно будет под'езжать по аллее!

«Вот начинается и эстетика!» — подумал я, оглядываясь в последний раз на Чолпан-Ата.

.....

На полдороге к Рыбачьему, в зарослях чия, у самого тракта, я неожиданно разглядел белую знакомую шляпу Облепихина. Он сидел, обняв колена, и что-то жевал. Рядом с ним лежала довольно об'емистая котомка и палка. Через плечо — неизменный бинокль.

Лященко остановил лошадей.

— Федор Васильевич, здравствуйте! — закричал я. — Садитесь, подвезем!

Облепихин посмотрел на меня, молча приподнял шляпу и отмахнулся, как бы говоря:

— Поезжайте. Я сам по себе дойду! Наставать я не стал.

Москва. 1932—1933 гг

2. ПОЛЕТ НА ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ¹⁾

С. Обручев

Уже скоро пять дней, как мы сидим в Уэлене. Уэлен — это небольшое чукотское поселение, одно из крайних восточных населенных мест Союза. Восточнее лежит только Наукан, селение эскимосов вблизи мыса Дежнева, в Беринговом проливе, отделяющем Азию от Америки. А Уэлен стоит на узкой косе между Полярным морем и тихой лагуной. С севера выползают на косу льдины; то они сгущаются у берега, то ветер начинает отдавливать их к северу. Милях в двух от берега льды движутся сплошной массой на восток, в Берингов пролив, и днем, и ночью слышен жуткий шум трущихся друг о друга льдов.

С другой стороны косы — ровная гладь лагуны, а на косе — длинный ряд чукотских яранг, напоминающих круглый ламповый колпак, свернутый несколько набок.

Яранги покрыты моржовыми шкурами, поверх которых висят на ремнях тяжелые валуны, чтобы шторм не обнажил кровли.

Вся жизнь чукотского селения связана с морем и его фауной. Как только состояние льдов позволяет, чукчи выезжают в кожаных лодках — байдарах — на охоту за морским зверем и, искусно лавируя между льдинами, к вечеру возвращаются с окровавленными тушами тюленей и кусками моржового мяса (морж слишком велик, чтобы его целиком втащить в байдару). На широком галечном пляже хмуро бродят собаки в поисках пищи, и, как только подходит байдара

с мясом, они собираются вокруг сотнями в надежде на поживу. Люди отбиваются от них, бросая пригоршни камней, но стоит только охотнику отвернуться, как десяток собак хватает кусок мяса или голову моржа и тащит добычу в сторону. Зимой собак кормят регулярно, но летом они должны большей частью сами заботиться о своем пропитании.

В Уэлене, кроме яранг, несколько русских построек — здания радиостанции и школы, исполкома, маленькая кооперативная лавка. Нас задерживает в Уэлене починка пускового моторчика, без которого нельзя заводить мощные шестисотсильные моторы самолета. Моторчик испортился как-раз во время прилета в Уэлен, и наш борт-механик воспользовался мастерской здешней радиостанции для починки.

Кроме того, мы не знаем, есть ли горючее на северном побережье дальше к западу, и нам надо связаться с судами Колымской эскадры Евгенова, ушедшей недавно из Уэлена к устью Колымы и находящейся сейчас где-то возле мыса Северного.

К сожалению, уэленская радиостанция находится сейчас в том периоде, повторяющемся несколько раз в год, когда она может сноситься только с ближайшими судами и не имеет связи ни с Петропавловском, ни с другими удаленными пунктами. Но на наше счастье на другой день после нашего прилета среди льдов на северо-западе показывается темный корпус — это пароход «Колыма», который зимовал у берегов Чукотки на обратном пути после успешного рейса к устью Колымы.²⁾

«Колыма» быстро приближается, смело раздвигая льды и умело маневрируя, то идя вперед, то отступая, чтобы полным ходом снова ударить вперед и раздвинуть льдины. По этой точности и смелости маневров я узнаю сразу, что на ней идет капитан Д. Сергеевский, мой старый знакомый, с которым в 1930 г. на той же «Колыме» я проделал

¹⁾ В 1932 г. автор, по поручению Арктического института, производил исследование Чукотского округа с самолета. Для выполнения этой работы самолёт совершил перелет от Красноярска до Чукотского полуострова, затем до острова Врангеля и обратно к Охотскому морю. В 1933 г. эти исследования были продолжены на другом самолете и закончены съемка и общее географическое изучение Чукотского округа. Печатаемый очерк представляет главу из подготавливаемой автором к печати книги «На самолете в Восточной Арктике», содержащей описание обоих путешествий.

тяжелый ледяной поход от реки Колымы до мыса Дежнева.

Когда «Колыма» останавливается среди льдов против Уэлена, я на маленькой байдарке подвезаю к ее борту. Вверху, на мачте, в «вороньем гнезде» — Д. Сергеевский, высматривающий проход между льдами.

Радиостанция «Колымы» в исправности, и я получаю возможность переговорить с Н. Евгеновым. Оказывается, появление нашего самолета на полярном побережье весьма кстати — уже несколько дней, как выяснилась необходимость послать самолет на помощь острову Врангеля.

Чтобы читателю было понятно, в чем дело, надо вернуться назад, к истории советской колонии на острове. В 1926 г., когда было решено освоить этот остров, первая группа колонистов была направлена на него под начальством Г. А. Ушакова (впоследствии начальника и исследователя Северной Земли). Партия эта прибыла на остров на пароходе «Ставрополь» и пробыла до 1929 г., когда на ледорезе «Литке» приехали новые колонисты. Эскимосы, привезенные в 1926 г. из бухты Провидения, найдя, что условия жизни на острове лучше, чем на материке, остались здесь на постоянное жительство. Из русских, прибывших в 1926 г., остались на второе трехлетие два промышленника, а остальные были сменены новыми.

В 1931 г. предполагалось послать на остров Врангеля шхуну «Чукотка», специально построенную для полярных плаваний и уже плававшую в этих водах. Но она была раздавлена льдами у берегов Сибири, не успев пройти к острову.

В 1932 г. с новым составом колонии, с запасом продовольствия и угля пошел к острову пароход «Совет» под начальством известного полярника, капитана К. Дублицкого. Пароход этот не ледокольный, и совещания, которые состоялись во Владивостоке и Петропавловске весной, высказались против его посылки на остров Врангеля. Но отсутствие на Дальнем Востоке подходящих судов (кроме «Литке», который был

занят ответственной операцией по проводке судов к устью Колымы) заставило все же в конце концов отправить на остров Врангеля «Совет», хотя, по мнению совещания, «при наличии тяжелого режима льдов судно не обеспечивает рейса».

17 августа «Совет» вошел во льды и вот по настоящему момент не может пробиться к острову. Остров с юга огражден полосой сплоченных льдов в 25 — 30 миль шириной, медленно дрейфующей к юго-западу, и пароход, войдя в эти льды, также уносится к юго-западу, не в силах раздвинуть их. Улучшения состояния льдов не предвидится, и поэтому начальник острова товарищи Минеев и Дублицкий уже 21 августа пришли к убеждению, что только на самолете можно завезти на остров необходимые продукты и вывезти оттуда часть зимовщиков.

Легче всего могли бы достичь острова самолеты Колымской экспедиции, но оба они были слишком малы: один — двухместный, поплавковый — вообще не пригоден для дальних полетов в море, а другой — деревянная лодка типа «Савойя» — не поднимет достаточного количества груза и людей. Поэтому Минеев, Дублицкий и Евгений решили обратиться в центр с просьбой о присылке большого самолета, — выход теоретически мыслимый, но практически, в течение оставшегося короткого времени (полеты на Врангеле возможны до 5 — 10 сентября), совершенно невыполнимый. Перспективы для острова Врангеля были довольно неутешительны, — колонистам очевидно приходилось оставаться на четвертый год, при этом не имея достаточных запасов продовольствия, патронов и горючего.

Наше внезапное появление на полярном побережье сразу разрешило это безвыходное положение, и Евгений с большой настойчивостью начал просить нас совершить полет на остров, убеждая, что «только «Дорнье-Валь» может это сделать продуктивно». Минеев и Дублицкий полагали, что самолет должен сделать несколько рейсов между «Советом» и островом, — Евгений был осторожнее, предлагая сделать по край-

ней мере один рейс с мыса Северного на остров.

Просьба острова Врангеля нас несколько смутила. Для исполнения прямых задач экспедиции — с'емки и географического изучения Чукотского округа — нам необходимо было остаться на материке. К тому же из-за серьезной аварии в начале перелета мы очень запоздали, и времени для нашей большой и ответственной работы оставалось очень мало. Кроме того, полет на остров и особенно перелет к пароходу, стоящему во льдах, являлся довольно рискованным: наши моторы имели в запасе всего 20 часов работы, и их скоро нужно было менять. Могли ли мы, не имея прямых заданий от Арктического института и от владельца самолета — Ком-северопути, — рисковать машиной и людьми?

С другой стороны, действительно только наш самолет мог помочь колонистам, и в случае нашего отказа они обречались на новую зимовку.

Я знал, что весь экипаж охотно пойдет в этот рискованный полет, и ответил Евгенову согласием, обусловив, что мы сделаем только перелет с мыса Северного и обратно и вывезем 6 человек, а от перелета к пароходу, как очень рискованного, отказываемся. Евгений обещал оставить на мысе Северном горючее для нас и продукты для острова.

1 сентября, к вечеру, наконец «Бри-столь», пусковой моторчик, был побежден, и 2-го мы вылетели на запад. Чтобы произвести с'емку внутренних частей Чукотского полуострова, мы пошли вдаль от моря, и вскоре белая полоса его льдов скрылась в дымке. Легко и быстро самолет «Даша», как его ласкательно называли летчики (от «Дорнье-Валь»), набрал высоту, яранги Уэлена превратились в кучку маленьких бугорков на узкой ленточке — косе. Под нами тянулись округленные серые горы с острыми гребнями утесов-кекуров кое-где на вершинах.

Мы шли прямо к Колючинской губе — заливу, памятному в истории полярной авиации: здесь в 1928 г. был разбит штормом и выброшен на косу самолет «Советский Север», родной брат наше-

го. Этот самолет под руководством Кра-синского, с пилотом Волинским должен был совершить перелет вокруг Азии и Европы, вдоль побережья Полярного моря, но успел только пройти первую часть своего пути по Тихому океану, от Владивостока (через Петропавловск и побережье Берингова моря).

Колючинская губа встретила нас так же неприветливо: низко над водой стлались ватные облака, которые дальше на запад сливались в сплошной серый покров, и нам пришлось нырнуть между тучами вниз, к самой воде, и итти брещим полетом.

Всего в 10 — 20 метрах под нами лежали в воде у берега полупрозрачные льдины, а за узкой косой серела недвижная ленивая поверхность лагуны.

Но скоро и этот путь, довольно опасный, — ведь стоило только на секунду сдать моторам, и мы разбились бы об лед или о косу, — скоро и этот путь был прегражден: мы встретили идущие с запада снеговые тучи, и берег впереди скрылся. Предстояло между тем обойти острый скалистый мыс Онман, выдающийся в море перед рекой Ванкаремой.

Помня о печальном опыте с мысом Наклонным, который две недели назад внезапно и грозно выдвинулся на нас в тумане, во время перелета к Охотску, командир самолета решил переждать. Выбрав удобную лагуну, мы сели. «Даша» побежала по лагуне, рассекая воду и постепенно замедляя свое бурное движение. Сразу стало спокойно. Кругом серо, вдалеке на косе сквозь снег виднелась яранга, но жители не показывались, вероятно опасаясь приблизиться к этому чудовищу, упавшему с неба. А нам к ним выбраться трудно, — из-за мелководья самолет не подходит к берегу, а надувать резиновую лодку долго.

Так мы и сидели на фюзеляже — завтрак кончен, и становится скучно. Вот на западе как будто поредело — и мы торопимся сняться, чтобы обойти мыс. Но, по совести говоря, снег идет все так же, и опасный утес едва виднеется даже в полукилометре. Еще несколько минут, он пройден, и мы снова над лагунами.

Под нами узкий низкий мыс — это фактория Ванкарема у устья реки того же названия. Дом, склад и несколько яранг. Выбегают люди — заведующий с черной бородой, чукчи. Мы летим совсем над домами, и Страубе смело выражает над факторией: надо сбросить почту.

Дальше — вперед, к мысу Северному. Все время набегают снежные тучи, но берег здесь плоский, и можно не бояться встреч со скалистыми боками мысов. Вот на косе пасется стадо оленей, — мы проносимся над ними так быстро, что они даже не успевают разбежаться. Вот яранга — чукчи при звуке моторов выскакивают наружу, но, увидав, что страшная птица летит прямо на них, низко-низко, прячутся снова под кровлю: может быть, моржовые шкуры спасут и укроют.

Действительно, мы летим так низко, что кажется — сейчас хвост заденет за крышу.

И в самом деле, чукчи имеют серьезное основание опасаться, что самолет упадет на их яранги. Зимой 1930—31 г. здесь, возле устья Амгуэмы, в пути, во тьме, прошумел самолет — и замолк. И только специальная экспедиция русских и американских самолетов нашла остатки машины и трупы летчиков — бесстрашного полярного летчика Эйльсона и его борт-механика, того Эйльсона, который вместе с Вилькинсом совершил замечательные перелеты над Северным полярным морем и над материком Антарктики и погиб здесь, перевозя пушнину с затертой льдами шкуны; погиб из-за нежелания отступить перед пургой и вернуться в базу, как сделал в тот день другой летчик.

Двести километров от Ванкаремы мы пролетаем всего за 1 час 20 мин., и перед нами — мыс Северный, узкий мыс со скалой, выдвигающейся в море и преграждающей дорогу льдам. Возле него всегда — громадные заторы льда.

Фактория — на низком перешейке, соединяющем утес с берегом, но, еще 12 километров не долетая до мыса, мы видим в лагуне, у косы, легкий зеленый самолет — это «Савойя» Колымской экспедиции, которая пережидает погоду.

Как полагается, мы делаем круг над «Савойей», летим на мыс Северный — посмотреть, где лежат бочки с бензином, и затем обратно в лагуну.

Как только мы подходим к берегу, все вылезает на нос, на фюзеляж, и сейчас же начинается при участии стоящих на берегу летчиков специальный авиационный разговор, для постороннего довольно нудный, о моторах, о деталях полета и посадок и т. п.

На берегу — четыре человека летного состава и начальник авиачасти Колымской экспедиции г. Красинский. Он радушно угощает нас разными вкусными вещами, и мы с ним обсуждаем вопрос о полете на остров Врангеля. Продовольствие, которое выделил Евгений, уже здесь, на берегу, и Красинский, не зная, прилетим ли мы (радиопередатчик «Савойя» так же, как и наш, не работает, и они могут лишь принимать сообщения), собирался уже доставить этот груз — всего 200 кг. — на остров.

Но горячего здесь, на косе, мало, — оно все выгружено у фактории, и надо позаботиться о доставке его. До фактории 12-километров, — три часа ходьбы, по гальке и болотам, — и наши летчики решают, что проще туда слетать. И, несмотря на низкие облака и снег, мы снимаемся и через четыре минуты садимся с восточной стороны мыса, на маленький участок моря, свободный от льдов. До фактории все же еще два километра по тундре, и, только спустя порядочно времени, мы, наконец, вытаскивая ноги из болота и проклиная земные путешествия, приходим в факторию. Я был здесь в 1930 г. и не могу узнать построек: большого хорошего дома нет, а на месте его — маленькая избушка, обложенная для тепла дерном, «тундрой», как его здесь называют. Оказывается, прежний заведующий факторией любил разводиться огнем бензином — благо в сенях стоит целая бочка — и поливал его в огонь прямо из чайника! И фактория исчезла в один холодный, но не прекрасный день. Внешний вид избушки незрочен, но внутри тепло и уютно. Новый заведующий, товарищ Венедиктов, приехавший недавно

с судами Колымской экспедиции и остановившийся здесь с женой, уже успел создать европейский уют, несмотря на крохотные размеры своего жилища.

Нам приходится оказать должное угощению. Быстро кончаем мы деловые разговоры и торопимся назад: льды могут быстро надвинуться, и тогда самолет будет заперт у мыса.

Весь вечер в нашем салоне — задней кабине самолета — ведется дискуссия о полете на остров Врангеля. Хотя самолет Красинского слишком мал, чтобы оказать существенную помощь колонистам, но он любезно решает лететь вместе с нами: радио на обоих самолетах бездействует, и поэтому хорошо лететь парой, чтобы на случай аварии одной машины другая могла подать помощь или, по крайней мере, сообщить о месте гибели.

3 сентября с утра погода мало благоприятствует полету. Низкие тучи, на море над льдами — туман. Льды сплошь подступают к материку, и только вблизи самого берега маленькие поляны.

Днем привозят горючее на байдаре, и мы можем заправить самолет. Часа в три дня действительно как будто становится светлее, над головой на короткое время появляется клочок голубого неба, но скоро его опять затягивает. Но всем не терпится: ведь вчера наш экипаж показал пример лихого полета в снежных тучах, и сегодня дух соревнования напряжен чрезвычайно.

До пяти часов вечера погода не улучшается, но ждать больше нельзя, — если не вылетим сейчас, то не только не успеем вернуться, но даже не успеем засветло долететь до острова Врангеля. Надо решать. И вот почти в 6 часов вечера наш самолет снимается и кружит над лагуной.

Внизу копошатся черные фигурки вокруг зеленого кузнечика — «Савойя»: она отрывается от берега и бежит, покачиваясь, как утка, по лагуне.

Низкие тучи, вверх подняться невозможно, — и мы жмемся к самым льдам. Они начинаются тотчас за узкой

полосой косы. Воды очень мало — все лед и лед, серый под серыми тучами.

Лед — страшен, действительно страшен для самолета. Это не гостеприимный гладкий лед Баренцова моря, где широкие, ровные поля приглашают садиться. Это — тяжелый, торосистый лед, который суровым напором с севера придавлен к берегам Сибири и переломлен, сдавлен, спрессован в бугристые массы.

Мы летим низко, бреющим полетом, и чувствуешь невольно всем телом, как при какой-нибудь ошибке пилота, при легком невнимании самолет своим тонким корпусом врежется в эти торчащие навстречу острые гребни и зубцы.

Но вот нас настигает «Савойя», и в легкой и веселой погоне двух самолетов мы забываем о льдах. «Савойя» быстроходнее нас и легче маневрирует, — и она летит то с одной стороны, то с другой, обгоняет нас, ее прозрачный, легкий корпус несет с изумительной быстротой мимо льдов. Она под нами, и видны головы летчиков, круглые маленькие наросты на теле веселой стрекозы. Эта гонка увлекает всех нас, я фотографирую «Савойю», льды и не замечаю, как сгущается все больше туман впереди. Наконец он настолько густ, что лететь нельзя. «Савойя» уже не видно, и мы делаем разворот в молочно-белой мгле низко над самым льдом. Разворот до тех пор, пока компас не покажет вместо севера юг.

Назад — уже в тумане, над льдом. Быстро проносятся под нами фантастические, от тумана кажущиеся огромными торосы. Вот налево движется какая-то серая масса — это медведь, потревоженный шумом мотора, лениво и недовольно отходит от туши тюленя, которого он свежерал.

Выходим к мысу Серерному. «Савойя» тоже возвращается — полет в этом тумане без специальных приборов для слепого вождения безумен.

На следующий день — снова туман, низкие тучи, снег. Весь день мы все бродим по косе между морем и лагуной. Кто ищет обломки дерева для костра, кто рассматривает кости моржей и тю-

леней, валяющиеся здесь и там; другие прыгают по льдинам, прибитым к берегу, но время от времени каждый поглядывает на небо: не разъянется ли? Красинский неизменно оптимистичен; он стоит на гребне косы и, подняв бороду вверх, следит за облаками, уверяя: «Вот уже светлеет, скоро разнесет. Ветер усиливается, он быстро растащит туман».

Но погода не хочет слушаться, все время налетают полосы тумана, сменяющие снеговые тучи. В 6 часов вечера на западе появляется голубое небо в разрыве облаков, но туман лежит на море и на горах.

5 сентября с утра — то же самое. Настроение становится все более напряженным: мы не можем тратить много времени на ожидание здесь, да скоро кончится и благоприятное время для полетов на остров, — лагуны начнут замерзать. Может быть, за эти дни, что у нас нет связи, «Совет» подошел уже к острову, и наш полет бесполезен? Но все считают, что надо во что бы то ни стало сделать попытку дойти до острова.

И, как только среди дня в низких тучах над лагуной появляется просвет, оба самолета один за другим отрываются и круто поднимаются в это голубое окно.

Под нами — сплошная белая пелена. Курс опять — норд 180°. Сзади, над облаками, — сияющие, совершенно белые от свежего снега гряды гор. Я внимательно слежу за ними, запоминая их меняющуюся форму, чтобы знать, куда нам нужно выходить к лагуне, если придется возвращаться над облаками. Холодно: мы быстро набираем высоту. Но впереди — только белесая масса облаков, колеблющаяся и неровная. То один, то другой из нас открывает в выступах облаков силуэт цепей острова, но через несколько минут снова изменяются и исчезают эти цепи.

Под нами изредка сквозь облака мелькнет поверхность моря — все те же тяжелые, сплоченные льды.

Через полчаса полета, в 75 километрах от берега, впереди над облаками наконец появляется гребень, темный

и отчетливый, который больше не исчезает: это — центральная часть острова с пиком Берри.

И немного погодя облака под нами разрежаются, и видна темная, почти черная вода между льдами и затем резкая граница большой полыньи. Свободная вода, открытая дорога для судов, идущих на Колыму, — путь, которым до сих пор еще не пользовались за отсутствием ледоколов и прочных транспортов. Она уходит на восток под облака, но на западе замкнута льдами; льды забили весь пролив Лонга между Врангелем и материком, и эта дорога на запад сегодня закрыта, да вряд ли откроется нынче и вообще: год очень тяжелый.

Сквозь редкие облака чернеет вода, и на душе становится веселее: здесь посадка возможна везде. Но километров через пятьдесят снова показываются льды: это уже большие поля в 1 — 2 километра, закругленные, с проходами между ними, забитыми мелким льдом. Мелкие, если смотреть с нашей высоты. А на самом деле — наверно льдины в десятки или сотни метров. Но судно может здесь свободно пройти, — воды достаточно.

Километрах в 50 не доходя острова сразу кончаются облака, и к востоку, и к западу тянется сияющее белое пространство, — это то кольцо льдов, перед которым остановился «Совет». Сверху кажется, что это — сплошная масса: настолько сплочены льды. Но если всмотреться внимательнее, то видно, что в этой полосе тесно сдавлены и поля, и мелкие льдины, а узкие трещины между ними, едва заметные, скреплены свежим льдом. Преграда эта действительно непроходима, — может быть, даже и для ледокольного судна.

Впереди все растет и растет темный хребет острова. Надо найти колонию у бухты Роджерса. Ориентируясь по пику Берри, самолет идет к восточной части побережья. Вдоль него — узкая полоса чистой воды, не более двух километров. Мы начинаем снижаться, — впереди видны косы, окружающие бухту Роджерса, и на одной из них игрушечные домики — радиостанция.

Самолет делает круг над домами, и уже можно различить людей, которые машут руками и танцуют.

Мы садимся в узкой, спокойной бухте и подходим к берегу. В это время снижается и «Савойя», — она уклонилась к западу в поисках бухты Роджерса и немного запоздала. Все наличное население острова сбегалось на косу, — сразу трудно сосчитать, сколько людей, но очень много. По последней статистике, всего на острове — вместе с теми, которые сейчас где-то на охоте, — 65 человек; из них 10 русских, остальные — эскимосы. Вероятно в составе колонии больше всего эскимосы, — на берегу множество детей, толстых и краснощеких, не испытывающих, по видимому, никаких лишений в этом удивительно суровом месте.

Наше появление было неожиданно и эффектно: мы запоздали против назначенного срока на несколько дней, и к тому же никто не ждал сразу двух аэропланов, которые один за другим спустились в уединенную лагуну, в течение трех лет не выдавшую ни одного чужого человека.

Мы провели на острове меньше суток, и это время протекло и для колонистов, и для нас в состоянии какого-то странного возбуждения, так что трудно дать протокольный отчет о последовательности событий.

Из общей массы людей, встретивших нас на берегу, сразу выделился начальник острова товарищ Минеев, небольшой человек с рыжеватой бородкой, заботливый и хлопотливый. Сегодня для него выдался горячий день, — надо было сразу разрешить столько вопросов: кого и что вывозить, кому остаться на острове, чтобы обеспечить метеорологические наблюдения и большое хозяйство острова.

Эскимосы, основные жители острова, настолько здесь акклиматизировались, что не испытывают желания вернуться на родину, на материк.

Здесь живет гораздо лучше, чем в бухте Провидения: климат почти такой же, а охота несравненно лучше. В то время, как на материке в этом году было мало моржей, — например за лето на

мысу Северном не убили ни одного моржа, а на Ванкареме только двух, — здесь моржей сколько угодно. Товарищ Ушаков, облетев в 1926 г. с летчиком Кальвицем остров, видел на льдах у северного побережья десятки тысяч моржей. Да и здесь, у южного берега, все время видны высовывающиеся из воды круглые головы моржей. Как нам говорит товарищ Минеев, если нужно к завтраку печенку, выезжаешь на лодке, и через короткое время убьешь двух-трех моржей, и от каждого получишь 25 кгр. первоклассной печенки.

Этой моржовой печенкой нас сейчас же угостили. Она ничем не отличалась от говяжьей, и даже Страубе, с которым в Уэлене делались чуть не судороги от моржовых котлеток, уплетал ее с удовольствием.

Врангелевские эскимосы живут в ярангах и палатках, русские колонисты — в здании радиостанции, на косе, и в жилом доме, на склоне горы. Рядом стоят еще две постройки — склады, лежат бочки с керосином и бензином, лодки, кучи мамонтовых бивней, головы моржей с громадными желтыми клыками. По косе лениво бродят собаки, но они даже не смотрят на моржовые головы, не то, что в Уэлене, где на каждый кусочек мяса сбегались целые стаи.

Льды, которые мы видим вокруг острова, конечно не пропускают «Совет», и нам надо вывозить с острова всех, для кого четвертая зимовка тяжела.

По последним телеграммам, «Совет» стоит вблизи кромки льда, к югу от острова Геральда (маленький островок, утес среди льдов, к востоку от Врангеля), и готов принять самолет.

Все на острове убеждены в том, что мы полетим к «Совету», и у нас не хватало духу настаивать на нашем более осторожном плане: вывезти всех на мыс Северный.

Вечер прошел в бесконечных оживленных разговорах, — колонисты были, как пьяные, от избытка новых впечатлений и от лихорадочных сборов.

На острове решили остаться два промышленника, Старцев и Павлов, уже проводившие здесь 6 лет, и начальник острова товарищ Минеев с женой, то-

варищем Власовой, который не мог бросить все большое островное хозяйство.

К сожалению, мне не удалось спокойно посидеть у них в их уютной комнате, сплошь заставленной книжными полками, и расспросить о трехлетней зимовке, — мне пришлось весь вечер провести на радиостанции в переговорах: сначала с «Советом», уславливаясь, где и как мы завтра встретимся, затем с Колымской экспедицией и с «Сибиряковым», который в это время шел с запада, от Колымы, к мысу Северному. Только ночью я пришел в дом, где мои спутники уже спали.

Жилой дом состоит из четырех комнат: в одной из них — кухня и столовая, в остальных — в каждой комнате живет по одной семье. В комнате у Минеева, кроме людей, живут еще воспитанники: две ручных полярных совы и лемминги. Белые, пухлые совы с любопытством и недоверием смотрят на посетителей и широко открывают желтые рты, когда к ним протягиваешь руку, но это не от злости, как их дикие собратья, а из любезности вероятно. Маленькие рыжеватые лемминги, заменяющие на Севере полевых мышей, поблескивают из клетки своими бисеринками-глазами.

Но, кроме этих домашних воспитанников, на острове есть и полудикие: на столбе, в клетке, сидят две взрослых диких совы, которые сердито шипят на проходящих, а в пристройке возле склада — одиннадцать белых медвежат. Это — результаты зимней охоты, — за три года колонистами убито всего более 200 медведей; нынешней весной медвежат оставляли, чтобы увезти на пароходе на материк, в зоологический сад. Теперь им наверное предстоит пойти на мясо и шкуры.

Сейчас они маленькие, толстые и очень забавные. Увидев человека, прячутся в глубь клетки и лезут вверх по задней решетке, но потом с любопытством, осторожно выходят вперед, вытягивая черные морды.

С острова нам предстояло вывезти восемь человек — двух радистов, метеоролога Званцева, одного промыш-

ленника, доктора Сенатского с женой-эскимоской и ребенком, родившимся здесь, и повара Петрика. Повар был взят в Петропавловске. Он уже раньше не был вполне здоровым; к концу пребывания на острове у него наступил рецидив. Его конечно надо было вывезти в первую очередь, и главным образом для этого и для доставки продуктов Минеев и вызвал нас.

Но наш самолет был достаточно грузоподъемен, чтобы забрать всех людей и даже часть пушнины, — мы могли поднять не менее тонны.

На острове было довольно много ценной экспортной пушнины — плод трехлетней охоты: тысяча песцов и более двухсот медведей. Медвежьи шкуры слишком тяжелы: в плохо выделанном виде сто шкур весят почти тонну, но песцы весят очень мало и пугали нас только своим объемом.

Тысяча песцов — это 25 больших кулей. Нам придется забить весь самолет.

Надо было рассчитать груз так, чтобы вывезти все в один рейс. Мы и так сильно рисковали машиной, садясь между льдов у «Совета», и, если мы повторим несколько раз эту операцию, мы в несколько раз увеличим и риск. А самое главное — у нас было горючего всего на три часа.

До «Совета» около 50 миль — туда и обратно 1 час 20 минут, да на материк самое меньшее — 1 час 40 минут, в обрез на три часа, даже без законного часового навигационного запаса на случай встречного ветра или вынужденного возвращения.

С мыса Северного мы не могли взять больше горючего — в лагуне больше не было, а доставка новых бочек потребовала бы еще двух суток ожидания: громадные бочки надо было тащить два километра на нартах по тундре, и затем десять километров пробиваться вдоль берега между льдов в кожаной байдаре.

Мы рассчитывали пополнить наши запасы на Врангеле или на «Совете», где было, как мы знали, много горючего. Но и здесь нас ждала неудача: наши моторы работали на смеси легкого бен-

зина с тяжелым бензолом, или на более тяжелом бакинском бензине второго сорта. А на Врангеле был только легкий авиационный бензин, совершенно для нас бесполезный. Какие сорта бензина были на «Совете», нам не могли сообщить за отсутствием указаний в фактурах.

Чтобы иметь возможность совершить перелет на «Совет», мы решили пойти на незаконный и вредный для моторов компромисс: влить в нашу смесь одну бочку легкого бензина из врангельских и гарантировать этим хотя бы навигационный часовой запас.

Утро 6 сентября встретило нас сурово, — низкие тучи, налетает снег, ближние мысы закрыты. Но все же надо готовиться. Колонисты несут свой багаж, эскимосы тащат пухлые мешки с песцами. С самолета мы снимаем все, что только можно. Всюду набивают песцов, и даже в носовой маленькой кабине, где едва помещаемся мы с командиром самолета, оказываются два мешка.

Я опять на радиостанции, — последний разговор. В десять часов утра Дублицкий сообщает: «Находимся у кромки сплоченного льда, в 15 милях на юго-запад от Геральда, который виден в редком тумане, волнения нет, ветер С.-С.-В. четыре балла, облачно, проясняется».

Идем еще полчаса, как будто становится яснее, потом опять снег, опять яснее. Надо лететь, как бы не стало хуже. Сообщаем «Совету»: «Вылетаем через двадцать минут, дайте густой дым». Дым, чтобы легче найти пароход среди однообразных, беспредельных льдов.

Выходим на берег. Радисты запирают радиостанцию: этой зимой она не будет работать, нет угля, чтобы отапливать здание. С нами идет Минеев, он полетит на «Совет», чтобы доложить о состоянии острова.

У самолета последние приготовления. Приносят Петрика. Жена доктора Сенатского несет своего сына, — первый европеец (или, вернее, полуевропеец), родившийся на Врангеле. Он еще очень мал, и из мехов едва видны черные глазки.

Наконец привозят еще пассажира, о котором не упоминалось в телеграммах: пушистую лайку Званцева. Она входит в вес разрешенного Званцеву багажа, и приходится ее взять.

Самолет похож на Ноев ковчег, но ковчег двадцатого века, который сейчас поднимется на воздух вместо того, чтобы ждать полагающихся по библии дождей. Но поднимаемся ли? Наша законная норма — 2.600 $\frac{1}{2}$ кгр.; мы нагрузили 3.200. Правда, мы уже летали с 3.100 кгр., и наверно поднимем и немного больше.

Из нашего экипажа летят все, — четыре человека летного состава (кроме Страубе и командира самолета Петрова, 2-й пилот Косухин и борт-механик Крутский) необходимы для управления самолетом; мы с Салищевым хотим воспользоваться этим исключительным по ценности полетом, чтобы заснять рельеф острова и произвести геоморфологические наблюдения. Если нам повезет и мы достанем на «Совете» горючее, облетим вокруг острова и сможем дать полное его описание.

«Савойя» не летит с нами — у них горючего также в обрез, но они не решаются приливать в баки легкий бензин: командир «Савойи» очень строго держится правил обслуживания самолета.

В четверть двенадцатого наша «Даша», победив по воде немного дольше обычного, поднимается над бухтой. Идем сначала вдоль острова, над узкой каймой воды. Мы летим низко, — серые тучи нас давят и не дают подняться.

Направо до горизонта — белая полоса льдов, впереди — снег. Остров опускается к морю стеной утесов, под ними — большие забои снега.

Утесы все повышаются. Впереди мыс Гаваи — высокая серая стена. За ней берег поворачивает круче на северо-восток, и скоро кончается черная полоска воды: льды с этой стороны обступают остров вплотную. Но сейчас плохо видно — на севере снежная туча.

Наш путь лежит на восток, и нам нужно отворотить от берега. Немного

жутко: как мы найдем среди льдов, в тучах и снегу пароход?

А если не найдем и придется вернуться, откуда взять горючее, чтобы лететь еще раз?

И затем: если сдадут моторы и мы сядем на торосистый лед, что будет с девятью пассажирами, которые так доверчиво полетели с нами?

Внизу уныло и жутко. Мы летим гораздо ниже, чем вчера, — тучи придают нам ко льду. Скоро остров скрывается в тучах, и вокруг — только матовое, белое поле, переходящее к горизонту в мутносерое, сливаясь с небом. На льду — никакой жизни.

Но проходит меньше 40 минут со времени вылета, и прямо на востоке показывается темное поле открытой воды с неровными языками и, прижавшись к краю льдов, стоит «Совет» — маленькое черное пятнышко с хвостом дыма. Дублицкий добросовестно исполняет нашу просьбу.

«Совет» стоит в довольно большой полынье, в которой ходят волны, и прежде, чем сесть, Страубе делает несколько кругов, чтоб выбрать более спокойное и свободное от мелких льдин место. Палуба «Совета» заполнена людьми, — все наличное население, за исключением кочегаров, высыпало наверх посмотреть на нас и помахать шапками и руками.

«Дорнье-Валь» снизу выглядит очень мрачно, — его подводная часть выкрашена в черный цвет, и среди полярных льдов и белесого неба он должен был произвести сильное впечатление на зрителей, в течение целого месяца видевших только море, льды и облака.

Наконец место выбрано в соседней маленькой полынье, самолет снижается. Наибольшая волна, мы подходим к кромке льдов и закрепляем якорь на льдину. «Совет» идет к нам, огибая перемычку, а стоявший наготове моторный бот пробирается прямо. Но, пока он подходит, льдина, к которой мы пришвартовались, отделяется от кромки, и мы тащим ее за собой, дрейфуя по ветру. Откуда-то собираются еще мелкие, но достаточно крупные, чтобы повредить наш хрупкий корпус, льдины.

Когда бот подходит к нам, мы в разгаре борьбы со льдинами.

В конце концов льдины распахнуты багром и просто ногами, бот взял нас на буксир, и мы идем вслед за «Советом»; он выбирает место для более спокойной стоянки. В середине полыньи нельзя стать на якорь, все время дрейфуют мелкие льдины, и Дублицкий решает, что лучше всего стать бортом к кромке льда, закрепиться якорями, а самолет подвести к борту.

Так и делаем. Но это не так просто: пока самолет подводится к борту, слева откуда-то выплывает льдинка и начинает угрожать подкосам левой плоскости и левой жабре. Только-что мы отвели эту льдину, — новое несчастье: конец левой плоскости коснулся борта, и с треском разлетается красная сигнальная лампочка. Все же удается закрепить крылья двумя оттяжками, чтобы нос не ударялся о борт парохода, подложить кранец, — и самолет в сравнительно безопасном положении.

Начинается высадка. Радостные встречи, — к одному из промышленников приехала жена и дочь, которые уже перестали надеяться в этом году увидеть его. Самолет разгружается от людей и груза, пухлые мешки с песцами вырастают в объеме, когда их вытаскивают из самолета, и занимают половину верхней кают-компании.

Капитан Дублицкий принимает нас сначала в своей каюте и расспрашивает о состоянии льдов. То, что мы можем ему сообщить, крайне неутешительно: кольцо льдов настолько плотно, что конечно «Совет» не сможет пробиться к острову. Дублицкий после многочисленных безуспешных попыток почти пришел уже к такому заключению, но сознание необходимости доставить на остров людей, уголь и продовольствие не позволяет ему отступить до тех пор, пока невозможность пробиться не станет безусловной.

После торжественного обеда в кают-компании устраивается совещание с участием, кроме прилетевших и комсостава корабля, нового начальника острова Астапчика и нескольких будущих колонистов. Цель совещания — решить,

должен ли «Совет» идти дальше, или вернуться. Состояние судна далеко не блестящее: гребной вал с самого начала был с значительными дефектами, и в настоящее время судно не имеет возможности давать задний ход, а при форсировании льдов без заднего хода нельзя раздвигать льдины, — ведь для этого надо сначала отступить для разбега. Таким образом, зажатый льдами «Совет» неминуемо обречен на зимовку, а на нем, кроме команды, 63 колониста, из них 36 женщин и детей; для половины людей нет теплой одежды.

Наш рассказ о состоянии льдов вокруг острова убедил совещание, что дальнейшие попытки пробиваться бесполезны.

Так и было сформулировано постановление, но тем не менее Дублицкий исполнил свой долг до конца, пробыл еще 6 дней у кромки льда в надежде, что изменившийся ветер откроет проход к острову, и только 12 сентября, когда уже окончательно выяснилась недоступность Врангеля в этом году, пошел обратно во Владивосток.

Во время обеда и совещания меня все время мучило опасное положение самолета у борта парохода, — время от времени льдины отрывались от кромки и грозили повредить самолет. Но нельзя было улететь, не произведя погрузки продовольствия для острова, и приходилось терпеливо ждать. К концу совещания в каюту прибежал встревоженный Страубе и в обычной своей экспансивной манере заявил, что надо немедленно улетать: льды придавливают самолет, и, отталкивая их, матросы повредили руль высоты. Действительно, кромка руля была несколько смята (повреждение пока еще несмертельное), и новая льдина теснилась к машине.

Надо было уходить, чтобы не потерять машины. Совещание спешно заканчивается, и мы один за другим соскальзываем по трапу в самолет. Концы отданы, лодка отбуксировала машину, моторы на этот раз заводятся быстро, — и вот уже прощальный круг над «Советом». Палуба снова полна людьми, но трудно с высоты 200 метров различить знакомые лица. Курс — обратно, на

запад, к мысу Гаваи, который сейчас хорошо виден. На северо-востоке виден и остров Геральда — мрачная скала среди льдов, круто возвышающаяся над торосами. Здесь предполагалось поселить нескольких колонистов.

«Совет» становится все меньше и меньше. Сначала — игрушечное черное суденышко у кромки сияющих льдов, потом — черная точка на сером поле.

Как всегда на самолете, оставленное сзади сейчас же забывается: смотришь вперед, на угрюмые утесы Врангеля, на злые льды, теснящиеся к нему. К сожалению, у нас нет горючего, чтобы облететь вокруг острова, и приходится ограничиться наблюдениями над восточной частью острова и тем, что можно видеть издали, с юга. Тем не менее на основании этих наблюдений Салищеву удалось составить карту острова, а мне дать его орографическое описание, значительно более полное, чем существовавшие раньше¹⁾.

На острове за несколько часов нашего отсутствия ничего не изменилось, стало только немного теплее. В бухте стоит зеленая «Савойя», и нас на берегу встречает Красинский; он так часто посещал остров Врангеля, как по воздуху, так и по воде, что чувствует себя здесь если не хозяином, то меценатом.

Было бы очень интересно пробыть на острове несколько дней и сделать геологическую экскурсию внутрь, к северной цепи, но уже начинаются заморозки, и нам надо спешить на материк, чтобы закончить там свою работу. Поэтому мы позволяем себе только короткий отдых. Еще немного моржовой печени и кофе, и в половине седьмого мы готовы к отлету.

Прощание с колонистами: они все собираются на берегу, и я снимаю всех ручной кинокамерой.

После нашего отлета сразу станет на острове тихо и пусто, особенно для русских: ведь их останется всего 4 человека.

Завести с «Совета» новых русских колонистов было нельзя, ведь для ка-

¹⁾ Напечатаны в журнале «Арктика», № 1, 1933 г.

ждого на год нужно больше полутонны продуктов. А, кроме того, для отопления домов нужен уголь, на острове его почти не осталось; и если старым врангельцам, прошедшим здесь от трех до шести лет, нетрудно будет прожить зиму в ярангах, в пологах, отапливаясь тюленьим жиром, то для новых колонистов это было бы тяжелым испытанием. Из-за недостатка угля пришлось закрыть и радиостанцию, — нечем было отапливать здание.

Но существование колонии зимой 1932 — 1933 г. не должно было быть тяжелым: за исключением необходимости зимовки в ярангах, колонисты ни в чем не могли испытывать нужды. Мы завезли дополнительное продовольствие, патроны, соль в количестве, достаточном для остающихся русских и эскимосов. Поэтому мы могли покинуть остров с сознанием, что до будущего года он обеспечен и что все, бывшее в силах для нашего самолета, исполнено.

Мы отходим от берега первые, но снова шалит «Бристоль», и самолет долго дрейфует по бухте. В это время «Савойя» кружит над нами, демонстрируя свое пилотное превосходство. Крутые виражи, — снизу хорошо видны люди в кабинах. Отойдя немного от острова, «Савойя» опять возвращается обратно. Наконец отрываемся и мы и летим на юг старым путем.

У острова опять чисто, и мы видим весь его южный фронт, мрачно чернеющий над льдами.

Снова сплошное кольцо льдов, затем большие полыньи и чистая вода, но тут начинаются облака и туман, мы поднимаемся над ним, и снова не видим ни моря, ни льдов. Впереди ничего утешительного: на материке громоздятся тучи. Не придется ли вернуться с перспективой остаться без горячего?

Ближе к берегу мы находим окно в тучах и ныряем ко льдам, на этот раз эти зубчатые торосы кажутся нам гостеприимными: ведь берег близок, и мы, если не навалится туман, пройдем под низкими тучами, над самым льдом.

Эти льды в проливе Лонга, между Врангелем и материком, видели многие: в них не раз у берегов Чукотки зимо-

вали суда, пробиравшиеся с Колымы, и не раз смелый капитан, дойдя до пролива Лонга, должен был оставить надежду пробиться в этом году домой. Один только Дублицкий, много раз ходивший в Колыму, умел миновать эти льды и проводить судно без зимовки.

В январе 1923 г. через пролив Лонга по этим льдам пробрались к материку три смелых молодых человека — Крауфорд, Маурер и Галле, приехавшие в 1921 г. на остров Врангеля по поручению канадского полярного исследователя Вильяльмура Стефансона с целью далеко не исследовательской: они подняли на острове английский флаг и объявили его присоединенным к великобританским владениям.

Пробыв на острове полтора года и не дождавшись летом 1922 г. судна, они решили выбраться по материку Сибири к Берингову проливу, чтобы организовать новую экспедицию. Но при переходе на материк все трое погибли; как предполагает Стефансон, вероятно во время ночевки взломался лед, и они потонули. На острове остался четвертый их спутник — Найт, но и он к весне умер от цынги, и корабль спасательной экспедиции, пришедший летом 1923 г. к острову, нашел здесь только домашнюю работницу экспедиции, эскимоску Аду Блекджек, с кошкой, — последние остатки этой странной завоевательной экспансии.

Стефансон продал свои права на остров Врангеля аляскинскому «оленьему королю» Карлу Ломену, и была сделана еще одна попытка колонизовать остров: туда завезли в 1924 году одного американца и нескольких эскимосов.

Но в августе 1924 г. они были вывезены во Владивосток нашим судном «Красный Октябрь», и с 1926 г. начался период интенсивной советской колонизации острова, положивший начало использованию его природных богатств.

Нам повезло при возвращении: берег был закрыт туманом, но узкая полоса его вдоль моря — пляж и косы — была чиста, и мыс Северный вырисовывался черной массой навстречу.

Самолет благополучно достиг лагуны, здесь уже снизилась быстроходная

«Савойя», и мы могли снова собраться в холодной палатке на косе, на этот раз уже с сознанием исполненной серьезной и опасной операции, имеющей большое значение для государства.

Следующие дни нам пришлось опять сидеть в ожидании сколько-нибудь сносной погоды. Туман, сильный ветер с северо-запада, пурга, и лагуны начало заносить снегом, который сбивался в эластичный покров «снежуры», грозивший перейти в лед. 8-го мы перебрались в Ванкарему, но только 10-го, в первый ясный день за все эти две недели, нам удалось пересечь Чукотский полуостров и выйти в Анадырь, но рассказ об этом был бы слишком долог.

Акционерное камчатское общество (АКО), владевшее в то время Врангелем, отнеслось к этому вопросу без должного внимания. Для снабжения острова был выделен мало пригодный пароход, рефрижераторное судно, специальные приспособления которого не позволили установить необходимые распорки для предохранения от ледового сжатия. Судно могло брать слишком мало угля — не более чем на 40 дней; имело чрезвычайно большую осадку, чугунный винт, который легко ломается во льдах, и наконец с самого начала состояние гребного вала было совершенно неудовлетворительно; поэтому, несмотря на ремонт в Петропавловске, после проникновения во льды судно лишилось заднего хода.

Несмотря на все эти дефекты, комиссии в составе капитана, начальника острова и других, осматривавшей судно перед выходом, пришлось согласиться на его использование для врангелевской операции, так как других, более подходящих судов к тому времени не было.

К этим техническим дефектам присоединились и административно-хозяйственные. Как видно из ряда официальных документов, состав колонии совершенно не соответствовал потребностям острова.

Вместо охотников и промышленников на остров посылались советские служащие, совершенно непривычные к северным условиям и даже не собиравшиеся жить охотой, а надеявшиеся на

какие-то мифические богатства острова. С ними ехало множество детей и женщин. Материальное снабжение было неудовлетворительно: боящиеся сырости продукты были упакованы в фанерные ящики; полярную, меховую одежду доставали только в Анадыре, да и то лишь для 50 проц. колонистов; в ящиках с оружием вместо 39 винчестеров, значащихся в накладной, оказалось 19, да и то подержанных.

В бухте Провидения предполагалось взять 12 семей эскимосов, но они не были подготовлены, и поехали лишь три семьи.

Начальник острова товарищ Астапчик был назначен за 1½ дня до выхода «Совета» из Владивостока (до него в этой должности сменилось два человека) и конечно не только не мог изменить что-либо, но даже не успел ознакомиться с положением дел. Изучив дорогой состав колонии, он решил взять на остров из 48 европейцев не более 15, а остальных отправить обратно, как непригодных.

Все это не сулило новой колонии особенно хорошего будущего, и, пожалуй, можно радоваться, что льды в 1932 г. были достаточно тяжелы.

Теперь в связи с образованием Главного управления Северного морского пути, которому переданы все полярные станции, в том числе и станция на острове Врангеля, положение должно резко измениться. В составе ГУСМП полярными станциями ведают товарищ Ушаков, прошедший три года на Врангеле и два — на Северной Земле и хорошо знающий все нужды острова Врангеля.

В 1933 году было решено на остров Врангеля колонистов завезти с запада, на ледокольном судне «Челюскин», которое должно было пройти северо-восточным проходом. Оно благополучно совершило этот путь, но, как известно, замерзло во льдах недалеко от Берингова пролива и не смогло пройти к Врангелю.

Снова вместо посещения Врангеля судном пришлось направить туда самолеты. Врангель видел в этом году 3 самолета Главного управления Северного

морского пути: в начале августа прилетел туда на «Н-8» пилот Леваневский, в конце августа на небольшом самолете с борта «Челюскина» летал туда Бабушкин с начальником ГУСМП профессором Шмидтом. Но главную операцию совершил опять-таки самолет нашей экспедиции, «Юнкерс-гигант Н-4». По окончании наших работ 1933 г. в бассейне Анадыря легчик Ф. Куканов направился на этом самолете на северное побережье для ледовой разведки и проводки судов. В конце августа — начале сентября он дважды летал с мыса Северного на остров Врангеля, вывез

оттуда всех русских и трех эскимосов и завез радиста Траутмана и борт-механика Демидова для обслуживания радиостанции и продукты для зимовщиков.

Нужно иметь довольно мощное ледокольное судно (даже не ледокол), которое в большинстве случаев может пробиться через сравнительно небольшое кольцо льдов у самого острова. Море между Беринговым проливом и этими льдами к концу лета почти всегда свободно от льда, но ледяное кольцо исчезает далеко не каждый год. Было оно и в этом году.

За рубежом

НА СТЫКЕ ДВУХ ЭР

Е. Гнедин

(Международный обзор)

1. Выход Германии из Лиги наций

Среди разнообразных событий и фактов, характеризующих конец капиталистической стабилизации, наступление нового тура войн и революций и банкротство всех послевоенных пацифистских иллюзий, выдающееся место несомненно занимает выход Германии из Лиги наций. Поэтому понимание общих тенденций в развитии внутриимпериалистической борьбы в наступающем 1934 году бесспорно может быть облегчено, если ознакомиться с причинами и последствиями выхода Германии из Лиги наций. Это событие побудило ряд капиталистических правительств предпринять сложные дипломатические маневры и одновременно дало сильный толчок и без того весьма энергичной гонке вооружений. Мы попытаемся в настоящей статье дать общий обзор дипломатической борьбы между европейскими правительствами после выхода Германии из Лиги наций и усиленной кампании за увеличение вооружений, поднятой в связи с тем, что конференция по разоружению в результате германского шага окончательно обанкротилась.

Прежде чем приступить к изложению фактов, мы приведем ту характеристику международного положения, которую дал в своем выступлении на сессии ЦИК тов. Литвинов. Эта характеристика

может послужить наилучшим исходным пунктом для того общего обзора, который мы далее попытаемся дать.

Свою обширную и блестящую речь на сессии ЦИК тов. М. М. Литвинов начал с указания на чрезвычайные исторические сдвиги в международной жизни. «Если можно говорить о дипломатических эрах, — сказал тов. Литвинов, — то мы, несомненно, стоим сейчас на стыке двух эр». Давая подобную характеристику международно-политической ситуации, тов. Литвинов исходил из того, что наступивший конец капиталистической стабилизации означает конец эры буржуазного пацифизма во внешней политике капиталистических государств.

На смену дипломатическим приемам периода буржуазного пацифизма, которыми капиталистические правительства прикрывали в первые годы после войны неизменную империалистическую сущность своей политики, приходят другие приемы, присущие политике империалистов в период непосредственной, неприкрытой и интенсивной подготовки войны. Именно в этом заключается отличительная черта международного положения к началу 1934 года. Мир вступил в период непосредственной подготовки войны. Это получило свое самое разное отражение и в тоне и лозунгах буржуазной печати, и в тактике и методах буржуазной дипломатии. «Бур-

жуазная пресса, — указал тов. Литвинов в той же речи, — вместо проблем мира стала открыто обсуждать проблемы войны во всех их отвратительных деталях. В Женеве и на дипломатических встречах и совещаниях вместо разоружения центральное место заняли вопросы вооружения или довооружения... «Новым задачам дипломатии должны соответствовать и новые формы. Вот почему более или менее открытые и гласные международные конференции оказываются уже устаревшим методом международного общения, уступая место более ограниченному негласным встречам 4, 3 и 2 министров, а от существующих международных организаций отворачивается одно государство за другим. О мире, о разоружении можно говорить публично, о войне, о вооружениях удобнее говорить с глазу на глаз, втроем или вчетвером».

Именно эти тенденции в международной политике, которые конечно давали себя знать и ранее, обнаружались с особой ясностью после выхода Германии из Лиги наций и конференции по разоружению. Если вступление Германии в Лигу наций в 1926 году явилось весьма существенной вехой и даже некоторым оформлением временной относительной стабилизации капитализма, то ее выход из Лиги ярко отобразил конец капиталистической стабилизации. Если мир действительно находится «на стыке двух эр» в области дипломатической борьбы, то 14 октября, день объявления о выходе Германии из Лиги наций, как бы указывает на водораздел между этими двумя эрами.

Германия объявила о своем выходе из Лиги наций в тот день, когда состоялось первое заседание бюро конференции по разоружению после длительного перерыва с весны 1933 года. Тогда органы конференции по разоружению прекратили свою работу, так как в Женеве создалась совершенно скандальная обстановка. Заседания открывались и закрывались при всеобщем смехе. Буржуазным дипломатам было нечего сказать, все трюки были исчерпаны, и дело сводилось к формальным прениям, происходившим при веселом равнодушии

всех присутствующих. Решено было создать снова бюро конференции по разоружению в середине октября 1933 г.

Но чем ближе была дата нового публичного обсуждения вопросов разоружения, тем большее беспокойство и нервозность проявляли руководители капиталистических правительств. Было очевидно, что последнее изобретение Женевской конференции — план Макдональда — уже не могло служить якорем спасения для конференции. Этот план был внесен на обсуждение конференции в середине марта, после того как английский премьер-министр Макдональд произнес торжественную «нагорную проповедь», в которой объявил, что Англия решила притти на помощь Женевской конференции, «предложив ей всеобъемлющий план безопасности консультативного пакта, сухопутных, морских и воздушных вооружений, запрещение использования ядовитых газов и общие правила ведения войны». В этом плане было, таким образом, все, «что угодно для души». Однако в действительности этот план никого не удовлетворил. Он не обещал Германии того восстановления вооруженных сил, которого добивались фашисты. Он вместе с тем предполагал известное сокращение французской армии. Этот план предвидел сокращение военно-морских сил всех государств, кроме Англии. Если план Макдональда был похоронен в марте 1933 г., то никак нельзя было ожидать, чтобы он мог быть принят в октябре, когда международные противоречия еще более обострились.

Франция была чрезвычайно встревожена фактическим вооружением Германии и той открытой и настойчивой пропагандой восстановления германской военной мощи, которую организовали национал-социалисты. Между тем Англия все больше склонялась к тому, чтобы частично удовлетворить германские требования и таким образом предотвратить более резкое столкновение между германским фашизмом, способным во имя пересмотра версальской системы обратить Европу в груды развалин, и французским империализмом, готовым вооруженной рукой защищать

версальскую систему. Само собой разумеется, что такая позиция Англии определялась не пацифизмом британских империалистов. Дело объясняется тем, что в настоящий момент Англия не заинтересована в том, чтобы участвовать на той или иной стороне в европейском вооруженном конфликте. Планы Англии нашли свое ясное отражение в статье, опубликованной в «Таймс» 16 сентября, в которой орган английского финансового капитала говорил следующее:

«То, что Германия будет доводиться, является фактом, которому надо взглянуть прямо в лицо. Она уже теперь делает это по мере возможности. Довооружаясь, она, несомненно, нарушает постановление Версальского договора о разоружении. Не подлежит сомнению, что французское правительство прежде всего поставит на обсуждение список предполагаемых нарушений договора, допущенных Германией. Но все, что можно сказать в этот момент, это, что, каковы бы ни были эти достойные сожаления нарушения договора, общественное мнение Англии придаст меньше значения техническим нарушениям договора, который должен был явиться только переходным, чем она придаст нарушениям конвенций, добровольно заключенных Германией».

Англия уже не впервые пытается добиться того, чтобы Германия приняла на себя добровольно несколько смягченные по сравнению с Версальским договором обязательства с тем, чтобы после этого можно было снять с обсуждения дальнейшие германские претензии. Такой тактики Англия неизменно придерживалась на различных этапах обсуждения репарационного вопроса вплоть до Лозаннской конференции, на которой пришлось зарегистрировать тот факт, что кризис сделал невозможными репарационные платежи. Однако осенью 1933 года такой маневр и в частности в применении к вооружениям уже не имел успеха. Борьба за пересмотр версальской системы зашла гораздо дальше, нежели в прошлые годы.

Германия была не одинока в своем стремлении изменить послевоенное соот-

ношение сил в Европе. Она имела в этом вопросе сильную поддержку Италии. Правильней будет даже сказать, что Италия ловко использовала выступления германских фашистов для укрепления своей позиции. Как-раз незадолго до созыва бюро конференции по разоружению Италия сделала новый шаг в борьбе за усиление своего влияния в Европе. Итальянское правительство разослало европейским государствам меморандум от 28 сентября, в котором предлагало план организации дунайских стран. Сущность этого плана, опиравшегося на решения конференции в Стреза (сентябрь 1932 г.), предусматривал заключение двусторонних договоров между каждым из балкано-дунайских государств, с одной стороны, и крупными европейскими странами — с другой. Эти так называемые преференциальные договоры должны были установить обязательства отдельных крупных индустриальных стран покупать у балканских государств зерновые продукты с тем, чтобы соответствующее количество промышленных товаров было закуплено той или иной балканской страной у своего индустриального партнера. Секрет этого плана заключался в том, что Германия и Италия закупают в Юго-Восточной Европе (Румыния, Югославия, Болгария) значительно больше хлеба, чем Франция или Чехо-Словакия. Следовательно, на основании двусторонних преференциальных договоров Германия и Италия получили бы соответственно возможность сбыта гораздо большего количества фабрикатов, чем Франция или Чехо-Словакия. Таким образом, итальянский план помощи дунайским странам означал не что иное, как попытку расширить фронт стран, связанных с ревизионистской итало-германской группой, и пробить брешь во французском блоке.

Это итальянское выступление на балкано-дунайском участке борьбы за влияние в Европе произошло как-раз в то время, когда велись особенно интенсивные переговоры по вопросам вооружений. Франция перед созывом бюро конференции по разоружению энергично добивалась соглашения с Англией и

Соединенными Штатами об общей позиции по отношению к германским требованиям.

В чем заключались эти германские требования в тот момент? Они были сформулированы в заявлении германского министра иностранных дел фон Нейрата от 16 сентября. После общих миролюбивых слов и заверений фон-Нейрат сказал: «Существует только одна альтернатива: либо осуществление равноправия, либо крах всей идеи разоружения, за непредвиденные результаты чего Германия не будет нести никакой ответственности». Это многозначительное предупреждение германского министра иностранных дел получило свое более резкое дополнение в речи фашистского министра внутренних дел Фрика на съезде гитлеровской молодежи 17 сентября. Он сказал: «Если сейчас нам снова попытаются отказать в равноправии вооружений, то никто не сможет нам помешать, если мы больше не захотим участвовать в этой игре и пожелаем уйти из зала международной конференции».

Итак, Германия ставила вопрос ребром — либо ей будет дано право довооружаться, либо она сорвет всякие международные переговоры о разоружении.

Считаясь с такой постановкой вопроса германским правительством, французское и английское правительства разработали компромисс, сущность которого сводилась к следующему. Рейхсвер и германские полувойенные организации ликвидируются. Зато вместо рейхсвера, представляющего профессиональную сотысячную армию, Германии предоставляется право иметь армию в 200 тысяч человек на основе обычной воинской повинности; эта армия может иметь в два раза больше военного снаряжения, чем это допускается Версальским договором. Однако Германия не может пользоваться никакими новыми типами оружия, запрещенными Версальским договором (на основании мирного договора Германии было запрещено иметь орудия калибра 77 и 105 миллиметров). Одновременно другие государства должны были обязаться сократить численность

своих армий и уничтожить наиболее мощные, так называемые наступательные виды вооружений. Впрочем, ни калибр, ни другие признаки так называемых наступательных вооружений не были определены.

Однако центр тяжести вопроса заключался не в споре о наступательных вооружениях, а в том, что компромиссное соглашение между Францией и Англией, достигнутое в конце сентября 1933 г., предусматривало установление 4-летнего периода, в течение которого должна была произойти замена рейхсвера и различных германских боевых организаций армией, построенной по принципу воинской повинности. Сокращение вооружений других государств должно было наступить только после выполнения Германией ее обязательств. В истолковании назначения этого 4-летнего периода между Францией и Англией имелись определенные разногласия. Французы называли этот период «испытательным», «контрольным», а англичане — «переходным». Иными словами, Франция предполагала установить 4-летний контроль над германскими вооружениями, между тем как Англия допускала возможность сокращения переходного периода по мере выполнения Германией ее обязательств.

Сущность этого компромиссного соглашения представляет значительный интерес не потому, что оно получило практическое осуществление, а потому, что оно послужило поводом для решающего германского шага, для выхода Германии из Лиги наций и конференции по разоружению. Когда было создано 14 октября бюро конференции по разоружению, Германия оказалась фактически изолированной. Франция и Англия выступали единым фронтом на основе изложенного соглашения, предусматривавшего 4-летний «испытательный», или «переходный», период. Соединенные Штаты в весьма определенной форме дали понять, что они против всякого германского довооружения. Италия с оговорками поддерживала франко-английский компромисс, быть может, уже зная, что Германия его отвергнет. Когда английский министр иностранных

дел огласил от имени Франции, Англии и Соединенных Штатов декларацию, содержащую проект 4-летнего переходного периода, германский делегат ограничился повторением германского тезиса о равноправии, а через час из Берлина пришла телеграмма о том, что германское правительство выходит из состава Лиги наций и покидает конференцию по разоружению. Игра империалистов вокруг «разоружения» дошла до своего логического конца. Империалисты, победившие в последней мировой войне, продемонстрировали свою решимость не уступать без боя плоды победы, империалисты, проигравшие последнюю войну, заявили о своем намерении начать новую вооруженную борьбу за передел мира.

В основе выхода Германии из Лиги наций лежат, таким образом, внутриимпериалистические противоречия, возникшие в результате исхода последней мировой войны. Эта война не только ликвидировала возможности возникновения новых войн, но, наоборот, как это подчеркивал т. Ленин, открыла период новых империалистических войн. Однако такое общее объяснение еще не дает ответа на вопрос о том, почему Германия вышла из Лиги наций именно осенью 1933 года. Освещение политики германского фашизма конечно выходит за рамки настоящей статьи, но нужно подчеркнуть, что выход Германии из Лиги наций нельзя понять без учета внутриполитической стороны дела.

Как уже сказано, к 14 октября 1933 г. Германия оказалась в Женеве в изоляции. Германский фашизм стоял перед угрозой полного банкротства своей внешней политики. Между тем внутреннее положение в Германии было весьма неустойчивым. Приближалась тяжелая зима. Обнаружилась нереальность всех национал-социалистических разговоров о сокращении безработицы. Голод уже не впервые стучался в холодные квартиры рабочих. В городах все сильнее проявлялась деятельность коммунистической партии, сумевшей из подполья направлять борьбу рабочего класса против фашизма. Процесс о поджоге рейхстага вскрыл не только перед всем миром, но

и перед населением Германии, несмотря на кампанию германских газет, преступность и лживость фашистского режима. Среди рядовых штурмовиков происходило брожение. В фашистской верхушке усилились раздоры и происходила ожесточенная внутренняя борьба.

В этих условиях уже не впервые германский фашизм попытался укрепить свой престиж внутри страны при помощи внешнеполитических авантюр. Одновременно с выходом из Лиги наций было объявлено о том, что 12 ноября состоятся перевыборы рейхстага и народное голосование по вопросу о том, является ли правильной внешняя политика германского правительства. Таким образом, выход из Лиги наций и конференции по разоружению должен был дать национал-социалистам возможность развернуть новую шовинистическую и милитаристическую агитацию, в угаре которой фашисты хотели заглушить возмущение среди трудящихся и голоса недовольства в их собственном лагере. Однако, несмотря на весь предвыборный террор, откровенную и циничную подставку результатов голосования от 12 ноября, его исход показал, что в Германии имеется несколько миллионов пролетариев, которые даже в самой трудной обстановке открыто демонстрируют свою готовность бороться против фашистского режима и борются против фашистской диктатуры.

Как бы то ни было, Германия вышла из Лиги наций и конференции по разоружению. Дальнейшая борьба в области вооружений должна происходить в новых условиях и на новых основаниях.

Что означал выход Германии из Лиги наций, с точки зрения борьбы рабочего класса против империалистической войны? Это событие свидетельствовало о том, что приближаются сроки новой империалистической бойни и что германский фашизм является одной из ведущих сил войны. Фашистская Германия, наряду с милитаристической Японией, представляет ту силу, вокруг которой конденсируется в особо сильной степени военная угроза, и в первую очередь против Советского Союза. Гер-

манские фашисты тотчас же после выхода из Лиги наций попытались заверить Францию в своих самых «миролюбивых чувствах», одновременно продолжая целеустремленную антисоветскую политику. В частности Гитлер в своей речи специально разъяснил, что германская молодежь обучается военному делу не для борьбы против версальских победителей, а для борьбы «против мирового коммунизма».

С точки зрения развития внутриимпериалистических противоречий, выход Германии из Лиги наций означал невиданное усиление гонки вооружений и лихорадочную дипломатическую подготовку новой войны. На развалинах пацифистских иллюзий происходит в империалистическом лагере перегруппировка сил в связи с надвигающейся новой мировой войной за передел земли.

2. Вместо публичных разговоров о разоружении — секретные беседы о вооружении

Как же дальше развивалась борьба по вопросу о «разоружении» и одновременно борьба за гегемонию в Европе? Естественно, что наиболее определенный ответ на германский шаг был дан Францией. Через несколько дней после выхода Германии из Лиги наций глава французского правительства Даладье, выступая в палате депутатов, отвечал на речь Гитлера, в которой тотчас же после женеvского разрыва Германия заявила о своих дружеских чувствах в отношении Франции. Смысл заявления Даладье заключался в том, что Франция не намерена отступить от своих позиций, не намерена отказаться от ведения всех переговоров о разоружении в Лиге наций при участии союзников Франции. В таком же духе высказался несколько позже французский министр иностранных дел Поль-Бонкур.

Однако Франция на этот раз оказалась в одиночестве. Англия была крайне обеспокоена резким германским шагом и не желала продолжать женеvские переговоры, дабы не вызвать новых неприятных германских демонстраций. Поэтому Англия настаивала на отсроч-

ке всяких женеvских совещаний. Того же добивалась Италия. В результате бюро конференции по разоружению сначала отсрочило заседания генеральной комиссии конференции до 4 декабря, а затем до 15 января 1934 года.

Но дело заключается не в отсрочках тех или иных совещаний. Происходит агония международной конференции по разоружению. Ее судьба получила законченную и меткую характеристику в словах тов. Литвинова на банкете, устроенном в его честь в Нью-Йорке после установления нормальных дипломатических отношений между СССР и Соединенными Штатами. Тов. Литвинов сказал:

«Женева — мертвец. Если не составлен акт о смерти, то лишь потому, что врачи боятся выслушать сердце, переставшее биться. Сейчас вопрос заключается не в том, принимают ли все страны британские, французские или другие методы разоружения. Поставьте на Женеvской конференции два простых вопроса: согласны ли ее участники на какое-либо серьезное сокращение вооружений, готовы ли они на какое-либо серьезное сокращение вооружений и готовы ли они допустить какой-либо контроль? Со стороны по крайней мере одной большой воинственной страны вы услышите отрицательный ответ на оба вопроса, с неизбежной ссылкой на «специальные условия». Такой ответ прозвучал бы, как погребальный колокол, над конференцией, и поэтому Женева постарается его избежать».

Итак, конференция по разоружению, это — труп, который капиталистическая дипломатия может попытаться гальванизировать, но пока еще не сумела это сделать. Но больше того. Вообще метод международных конференций после провала Лондонской экономической конференции открыто отвергается рядом буржуазных политиков. Когда-то в Женеве звучали сладкие, восторженные речи о содружестве народов, о великом значении международных встреч на конференциях при участии нескольких десятков правительств. Теперь конференции объявляются чуть ли не источником всех зол. Когда-то, в 1927 году, германский

министр иностранных дел Штреземан, принимая нобелевскую премию мира, произнес патетическую речь, в которой повторил слова Бриана о том, что «времена пушек и пулеметов ушли в прошлое» и что немцы и французы в будущем будут только соревноваться за «великие идеальные цели человечества». Штреземан восторгался речью Бриана на эту тему, говоря: «Кто эти часы пережил в Женеве, никогда в жизни их не забудет». А теперь! Германия находится вне Лиги наций, а такой крупный буржуазный политик, как Ллойд-Джордж, заявляет: «Конференции фактически содействовали лишь обострению разногласий между народами. Мировая экономическая конференция доказала, что страны не хотят сотрудничать в разрешении финансовых и хозяйственных проблем, ибо они находятся во враждебных отношениях друг с другом. Конференция по разоружению не могла повести ни к какому разоружению, ибо во время ее работ стало ясно, что ни одна страна не чувствует себя в безопасности» (статья в конце августа 1933 г.)

А другой крупнейший капиталистический политик, Муссолини, примерно тогда же, когда и Ллойд-Джордж, в июле 1933 г., заявил в категорической форме, что от метода международных конференций надо отказаться и вернуться к довоенной системе двусторонних переговоров. Так оно и случилось, как это обнаружилось совершенно конкретно после выхода Германии из Лиги наций.

Борьба империалистов вокруг вопроса о вооружениях была перенесена с арены международных конференций в закрытые дипломатические канцелярии. Она облеклась в форму секретных и полусекретных переговоров между европейскими столицами. Английский посол давал советы Гитлеру. Глава германского правительства излагал секретные предложения французскому послу. Тем временем французский министр иностранных дел жаловался английскому послу на непримиримость Германии и сообщал свои пожелания. Потом английские послы с'ехались в Лондоне,

затем вернулись обратно в Париж и в Берлин, между тем как французский посол в Берлине раз'езжал между столицей Германии и столицей Франции. Одним словом, происходила весьма усиленно дипломатическая суэта. Наступление новой дипломатической эры, когда перестали говорить о разоружении публично, а стали договариваться о вооружениях с глазу на глаз, проявилось в полной мере.

Главную посредническую роль во всех этих переговорах играет английское правительство. Основные мотивы английской политики и в дальнейшем определяли тактику английского империализма в вопросе о германских вооружениях. Связь Англии с доминионами, необходимость иметь свободные руки в Тихом океане побуждали Англию добиваться какого-либо, хотя бы временного, урегулирования европейских проблем без того, чтобы немедленно возник острый конфликт, и без того, чтобы Англия брала на себя новые обязательства. «Таймс» 23 ноября следующим образом охарактеризовал позицию Англии:

«Приходится с прискорбием признать, что нынешняя конференция по разоружению временно распалась и что вряд ли она сумеет снова с пользой собраться в близком будущем. На это время конференция должна быть заменена параллельными дополнительными переговорами. Если однако какая-нибудь нация не возьмет в свои руки руководства этими переговорами в определенном строгом направлении, то нелегко будет получить в нынешних условиях какие-нибудь положительные результаты от переговоров, которые будут происходить посредством обычных дипломатических методов». Продолжая дальше свои рассуждения, «Таймс» высказывает опасения, что Германия намерена добиваться пересмотра Версальского договора посредством войны, если в переговорах она не добьется успеха. «Таймс» говорит: «Становится все более ясным, что никакой существенный прогресс невозможен до тех пор, пока вопрос о пересмотре договоров не будет совершенно открыто поставлен и разрешен в ту или иную сторону».

Итак, английский империализм поставил своей задачей частично осуществить мирным путем то, чего Германия в ином случае попытается добиться при помощи войны. Британский империализм, понимающий, что дело идет к новой войне за передел мира, желает оставаться хозяином положения и хочет, чтобы война началась не в тот момент, когда это покажется своевременным германскому фашизму, с точки зрения германских интересов, а в тот момент, когда британский империализм сочтет нужным в своих интересах открыть ворота войне.

Исходя из этих соображений, Англия оказывает сильнейшее давление на Францию, чтобы добиться каких-либо положительных результатов в непосредственных франко-германских переговорах по вопросам вооружений, как и по другим вопросам, связанным с пересмотром версальской системы.

В этой своей политике, как уже сказано, Англия может опираться на Италию. Однако из этого не следует, что английские и итальянские интересы совпадают. Италия использовала выход Германии из Лиги наций и полный крах конференции по разоружению для того, чтобы повести решительную атаку против Лиги наций в целом, как против одного из столпов послеверсальской системы в Европе. В этом отношении решающим шагом явилось постановление итальянского Большого фашистского совета по докладу Муссолини от 5 декабря, в котором было заявлено, что Италия ставит свое дальнейшее пребывание в Лиге наций в зависимость от радикальной реорганизации Лиги наций в кратчайший срок. Поскольку можно судить на основании газетных сообщений, Италия добивается уничтожения всякой связи между уставом Лиги наций и Версальским договором, исключения статьи об ответственности Германии за войну, статьи о международных санкциях против нарушителя мира, изменения статьи о порядке пересмотра договоров и общего ограничения функций Лиги наций.

Итальянское требование явилось несомненно сильным ударом по сложив-

шейся в Европе после войны международно-политической системе. Однако в тот момент, когда это требование было предъявлено, оно вызвало известное успокоение во Франции, ибо означало, что Италия не идет по стопам Германии и не покидает Лиги наций. Сколь ни малопривлекательно для Франции и ее союзников итальянское требование, о нем можно вести переговоры, и во всяком случае оно отодвигает немедленный распад Лиги наций. Но независимо от этого итальянский шаг сам по себе означал новое углубление борьбы за гегемонию в Европе.

Проект Италии несомненно получил известную поддержку Англии и явился дополнительным средством побудить Францию начать переговоры о частичном удовлетворении германских требований.

Тем временем на другом конце Европы случилось событие, которое заставило Францию взять инициативу в свои руки. Дело в том, что Польша, используя миролюбивые жесты германского правительства после того, как оно «разбило посуду» в Женеве, предприняла шаги, которые, с одной стороны, должны были затруднить германскую агрессивность против Польши, а с другой — побудить Францию в переговорах с Германией и другими державами отнестись с большим вниманием к интересам Польши. Польский представитель в Берлине и руководители германского правительства после торжественной встречи объявили, что Польша и Германия «отказываются от применения силы» для разрешения спорных вопросов, стоящих между ними. Одновременно начались и вскоре благополучно закончились польско-германские переговоры по вопросу об экспорте ржи.

Эти польско-германские соглашения не могут ни разрешить, ни приблизить разрешения тех глубочайших противоречий, которые разделяют послевоенную Польшу и послевоенную Германию. Эти соглашения не приостановят и не приостановили германского стремления исправить польско-германскую границу в свою пользу. Эти соглашения вместе с тем усилили в Германии и без того

влиятельных сторонников антисоветских авантюр и агрессивных планов в Восточной Европе, попытка проведения которых принесла бы Польше большие потрясения. Но тем не менее польско-германские маневры свидетельствовали о том, что обострение внутриевропейских противоречий, вызванное выходом Германии из Лиги наций, может привести к значительному изменению международного положения в Европе.

Все эти обстоятельства побудили Францию проявить активность в двух направлениях. Во-первых, Франция принимает меры к укреплению связи со своими союзниками. Пребывание чехословацкого министра иностранных дел Бенеша в Париже и поездка Поль-Бонкура в Прагу и Варшаву представляют осуществление этой тенденции. Визит Бенеша в Париж был использован для весьма определенной демонстрации франко-чехословацкого фронта против ревизии договоров и против ограничения прав и полномочий Лиги наций.

Другое направление, в котором Франция попыталась отбить атаку против ее преобладающего положения в Европе, — это непосредственные переговоры между Парижем и Берлином. Это давало Франции возможность выйти из невыгодного положения атакуемой стороны и ослабить давление со стороны Англии.

Таковы были тактические моменты, обусловившие начало непосредственных франко-германских переговоров относительно требований Германии. Что касается существа дела, то во Франции несомненно имеется весьма влиятельная группировка, которая видит в сговоре Франции с Германией единственный выход из того положения, которое создалось после краха конференции по разоружению. Эта группировка, связанная с тяжелой промышленностью и крупными банками, с металлургическим трестом «Комитэ де форж», исходит из того, что фактическое довооружение Германии невозможно предотвратить и поэтому желательно легализацию в известных пределах германских вооружений использовать как основание для значительного увеличения французских вооружений. Надо сказать, что подоб-

ный ход мыслей несомненно разделяют, со своей точки зрения, и британские империалисты. Они, в свою очередь, во франко-германском соглашении о легализации германских вооружений и в увеличении французских вооружений видят хороший повод для военного строительства в Англии. Таким образом, между империалистическими группировками различных стран, во многом враждебных между собою, устанавливается своеобразное согласие о том, чтобы расчистить путь для новой гонки вооружений. Если бы к тому же удалось вернуть Германию на конференцию по разоружению и возобновить женевскую игру, облегчающую обмен масс, то империалисты были бы совсем довольны.

Франко-германские переговоры, помимо закулисных и секретных встреч, приняли форму двух бесед французского посла в Берлине Франсуа Понсе с Гитлером 24 ноября и 11 декабря. В промежутке между первой и второй встречей Англия принимала деятельное участие в определении позиции как Франции так и Германии.

Германия выставила следующие требования: 1) немедленная передача Германии Саарской области без назначенного на 1935 год плебисцита, с предоставлением Франции права эксплуатации саарских рудников до 1935 г., 2) увеличение личного состава германской армии до 300 тыс. человек, с годичным сроком службы, при условии, что размер французской армии остается без изменений. При этом германскому рейхсверу должно быть предоставлено право неограниченно пользоваться вооружениями «оборонительного типа», 3) допускается международный контроль над вооружениями на условиях равноправия для военизированных обществ всех стран, 4) подписываются пакты о ненападении сроком на 10 лет между Германией и всеми ее соседями. Кроме того, Германия согласна разговаривать об интернационализации гражданского воздушного флота, при условии, что раньше будут уничтожены существующие эскадрильи бомбовозов.

Таковы германские требования в изложении наиболее авторитетных и осве-

домленных органов германской, французской и английской печати. Для их понимания можно еще добавить, что, по сведениям английского «Таймс», под «оборонительными вооружениями», которыми Германия хочет располагать в неограниченном количестве, германские фашисты понимают танки до 16 тонн, полевые орудия, гаубицы и разведывательные самолеты с ограниченным радиусом действия. Этот краткий перечень показывает, каких широких возможностей по части увеличения вооружений добивается германский фашизм.

Но германские требования идут еще дальше, затрагивая ряд других областей. В качестве иллюстрации можно привести заявление германской газеты «Кельнише цейтунг» в передовой статье от 16 декабря, что условием заключения франко-германского пакта о ненападении должно явиться аннулирование постановлений Локарнского договора, дающего Франции и Бельгии право военной оккупации Западной Германии в случае нарушения Германией статьи Версальского договора о демилитаризации 50-километровой пограничной зоны. Следовательно, Германия добивается свободы милитаризации Рейнской области. Наконец, можно еще отметить, что германский официоз «Дейче дипломатише корреспондентц» 13 декабря, после второй беседы французского посла с Гитлером, заявил, что штурмовые отряды не подлежат учету при оценке размера германских военных организаций. Германский официоз заявлял: «Если в рамках переговоров о разоружении французское правительство потребовало бы роспуска штурмовых отрядов, это было бы абсурдным требованием». Итак, громадное увеличение вооружения, значительное усиление рейхсвера, сохранение грандиозной второй армии в виде штурмовых отрядов и права милитаризации Рейнской области, — таковы «минимальные» требования германского фашизма.

Нельзя предполагать, чтобы франко-германские переговоры, даже при самом деятельном участии английского маклера, могли на такой основе привести к положительным результатам. Герман-

ские требования, каждое в отдельности и все вместе, означают разрушение Версальского здания, с таким трудом построенного Францией.

Гитлер в одной из своих речей заявил, что после разрешения саарской проблемы между Францией и Германией не останется никаких разногласий. Это заявление можно было бы считать правильным только в том случае, если понимать, что за вопросом о Саарской области скрывается борьба по кардинальному вопросу — о ревизии Версальского договора.

Саарский бассейн в настоящее время находится под управлением комиссии Лиги наций. В 1935 году истекает этот переходный период, установленный в Версальском договоре. После этого должен быть проведен плебисцит, в котором население должно выбрать одну из трех возможностей: либо присоединение к Франции, либо присоединение к Германии, либо сохранение существующего управления международной комиссией.

Экономически Саарский бассейн тесно связан с Францией, так как саарский уголь необходим лотарингской металлургии, а лотарингскую железную руду использует саарская промышленность. Однако население Саарской области в подавляющей массе немецкое. Но будет ли оно голосовать за присоединение к фашистской Германии? Надо иметь в виду, что в Саарской области как-раз отсутствуют те прослойки населения, на которые фашизм обычно опирается. Крестьянство составляет не более двух процентов населения, городская мелкая буржуазия — не более 15 процентов. Подавляющая масса жителей Саарской области это — рабочие.

При таких условиях германские фашисты не уверены в достаточно приемлемом для них исходе плебисцита в Сааре. Они предпочитают сделать саарскую проблему предметом тайного торга между Францией и Германией. Они, видимо, даже готовы разговаривать о разделе Саарской области.

Однако французские правительственные круги заняли явно отрицательную позицию по отношению к германскому предложению. Французская буржуазия

не намерена ни ослаблять своего влияния в Саарской области, занимающей пятое место во французском вывозе, ни ставить под сомнение свое право владения саарскими угольными копами, перешедшими к французскому правительству на основе мирного договора. Но самое главное, — Франция не хочет создавать прецедента в вопросе о незыблемости Версальского договора. Между тем разрешение саарской проблемы в порядке непосредственных франко-германских переговоров, хотя бы и с последующим утверждением Лигой наций, означало бы на деле ревизию Версальского договора, ибо на основании последнего судьба Саарской области должна быть разрешена Лигой наций после плебисцита в 1935 году.

Таким образом, в саарской проблеме оказываются увязанными кардинальные вопросы европейской политики.

Таково «единственное разногласие» между Францией и Германией. Но оно к тому же вовсе не единственное. Имеются еще довольно немаловажные «разногласия», хотя бы по вопросу о вооружениях. И по этому вопросу оказались неприемлемыми германские предложения, сделанные по ходу непосредственных переговоров.

27 декабря французская пресса сообщила о том, что кабинет министров дал инструкции послу в Берлине Франсуа Понсе, в которых указывается, что, по мнению Франции, германские требования довооружения являются неприемлемыми, так как они «решительно расходятся со всей работой, проделанной конференцией по разоружению, и французское правительство полагает, что только в рамках Лиги наций и путем сокращения вооружений можно организовать всеобщую безопасность».

Одновременно Франция снова попыталась создать единый фронт с Англией, положив в основу очередного компромисса проект унификации европейских армий и — в несколько измененном виде — уже знакомый нам план установления переходного четырехлетнего периода, в течение которого Германия могла бы увеличить свою регулярную армию до 200 тысяч человек, а Фран-

ция сохранила бы право содержать 200-тысячную армию в метрополии и еще 200 тыс. солдат в колониях. Кроме того, Германии было бы разрешено иметь оборонительные вооружения и в частности артиллерию калибром не выше 105 миллиметров, а Франция сократила бы за определенный период число бомбовозов.

Французская дипломатия, как это прозрачно намекала печать, рассчитывает, что ее предложения могут быть приемлемы для Англии, но будут отклонены Германией. Таким образом, уже не Франция, а Германия оказалась бы «упорствующей стороной».

Однако из всего этого не следует, что непосредственные франко-германские переговоры не будут продолжаться. Они будут продолжаться точно так же, как на другом конце капиталистического мира могут начаться и продолжаться переговоры между другими двумя антагонистами — между Соединенными Штатами и Японией. Последняя энергично готовится к тому, чтобы повести сепаратные предварительные переговоры с Соединенными Штатами относительно новых норм военно-морского соперничества после того, как к 1935 году истечет срок вашингтонской и лондонской морских конвенций. Возможны переговоры между Англией и Соединенными Штатами, несмотря на то, что в данный момент этот основной внутриимпериалистический антагонизм чрезвычайно обострился, проявляясь в валютной и таможенной войне, в усилившемся ожесточенном соперничестве в Южной Америке и т. п.

К чему же могут привести эти самые различные «парные переговоры» между отдельными империалистическими правительствами? Они приведут к тому же результату, к какому привели многообразные и многосторонние конференции, — к еще более ускоренной подготовке войны и к гонке вооружений.

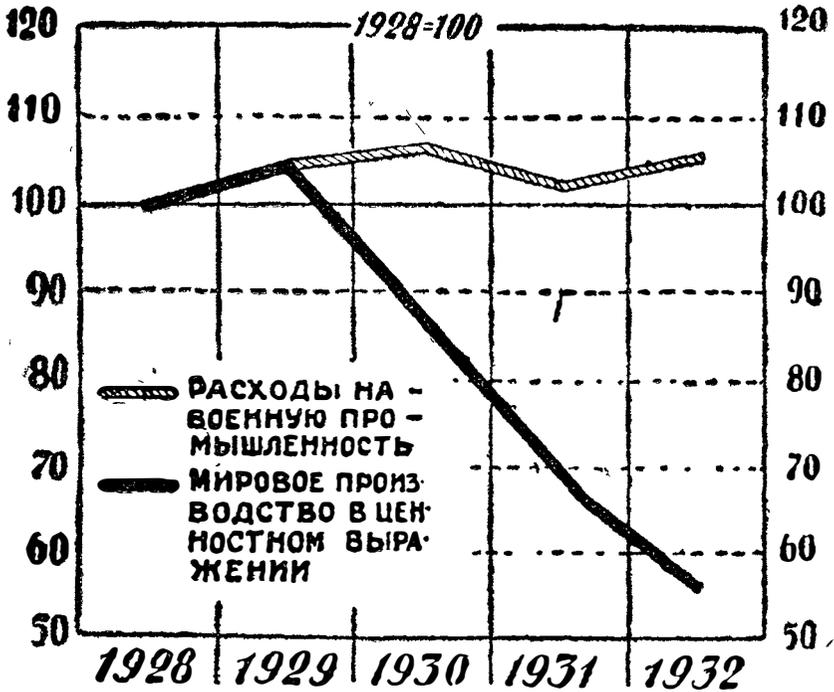
3. Новая гонка вооружений

Общая картина подготовки войны в капиталистическом мире раскрывается при ознакомлении с вычислениями, опу-

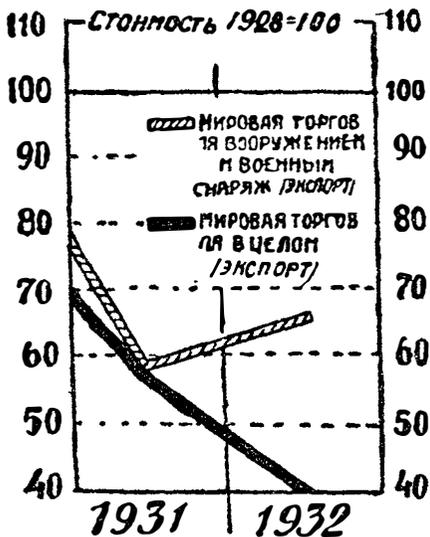
бликованными в очередном недельном докладе от 8 ноября 1933 г. Германского конъюнктурного института. Сведения

о вооружениях даны в сопоставлении с общим состоянием мировой торговли и промышленности. Обнаруживаются чрез-

Мировое производство и затраты на вооружения



Мировая торговля (экспорт) и торговля оружием и амуницией (экспорт)



вычайно интересные «ножницы» между общим состоянием торговли в капиталистическом мире и торговлей военным снаряжением, между общим уровнем производства и расходами на военную промышленность (см. диаграммы).

В то время как мировое производство упало с 1929 г. по 1932 г. в два раза, расходы на военную промышленность увеличились и бремя военных расходов по сравнению с общим уровнем производства удвоилось с 1929 года. В то время как общий мировой торговый оборот с 1931 г. по 1932 г. сократился почти на одну треть, торговля средствами войны за этот год увеличилась на 10 проц. Надо при этом указать, что здесь приведены несомненно преуменьшенные данные, ибо они взяты из официальных сведений, которые были предоставлены отдельными капиталистическими правительствами аппарату Лиги

наций. В действительности, следовательно, расходы на вооружения и торговля оружием выросли в значительно большей степени и в еще более разительном противоречии с общим падением торговли и производства в капиталистическом мире. Укажем для иллюстрации, что например Япония в 1932 г. ввезла военного снаряжения почти в 10 раз больше, чем в 1931 г. (10½ млн. марок вместо 1,2 млн. марок). Само собой разумеется, что в 1933 г. дела военной промышленности и торговцев оружием в капиталистическом мире находились в еще более «блестящем» состоянии.

Для конкретизации этих общих данных надо сказать несколько слов о последних планах вооружения в отдельных странах капиталистического мира.

Начнем с Германии. Пока германская дипломатия торгуется о праве довооружения, фактически Германия вооружается весьма энергично. Сведений об этом фактическом вооружении Германии, конечно, не имеется, но косвенных показателей можно встретить в европейской прессе многое множество. Так, например, парижский корреспондент «Таймс» сообщил 15 декабря ряд данных о реорганизации германского генерального штаба, о расширении армии, о механизации германской пехотной артиллерии, о военизации полиции и т. п. Кроме того, английский журналист привел ряд цифр, свидетельствующих о повышении курса акций и, следовательно, о расширении производства следующих германских предприятий: «Берлинер Карлсруэ Индустри Верке» (производство мелко-го оружия), баварские моторные заводы, производящие аэропланые моторы и пулеметы, металлургический концерн, вырабатывающий пушки, химический трест, производящий отравляющие газы.

Но есть и другие данные, говорящие о громадном размахе военного строительства в фашистской Германии. Это например, данные о структуре германского ввоза. Так, за первые 8 месяцев 1933 г. значительно увеличился ввоз в Германию железной руды, меди (на 50 проц. больше, чем в предыдущем

году), никеля, являющегося важнейшим сырьем для военной промышленности, целлюлозы, или «древесной массы», представляющей основной продукт для производства взрывчатых веществ. Ввоз этого военного сырья в Германию непрерывно возрастает, между тем как общий оборот германской внешней торговли столь же непрерывно падает. Статистические выкладки с полной очевидностью свидетельствуют о том, что все эти предметы ввозятся для производства военного снаряжения. В качестве иллюстрации укажем например, что целлюлоза используется в бумажной промышленности; но употребление печатной бумаги в Германии в 1933 г. уменьшилось почти вдвое, а среднемесячный ввоз целлюлозы увеличился в три раза. Совершенно ясно, что речь идет о ввозе для военных нужд.

Фашистская Германия и до, и после своего выхода из Лиги наций лихорадочно вооружается, готовится к вооруженной борьбе за новый передел мира и делая центральной своей задачей подготовку интервенции против Советского Союза. Само собой разумеется, что противники Германии в капиталистическом мире не остаются в долгу. Франция укрепляет цепь своих пограничных крепостей и усиливает свою армию. В середине декабря, например, французский верховный военный совет детально обсуждал, во-первых, вопрос о повышении среднего призывного возраста, чтобы таким образом увеличить набор в ближайшие годы, и, во-вторых, об удлинении срока военной службы. Одновременно Франция интенсивно проводит в жизнь программу военно-морского строительства.

Надо сказать что в 1933 году грандиозная гонка империалистических вооружений на морях получила новый толчок во всем капиталистическом мире.

За время, истекшее после Лондонской морской конференции (апрель 1930 г.), военно-морское строительство энергично развертывалось в рамках, установленных в Лондонском морском договоре. Англия полностью использовала возможности, предоставленные ей в отно-

шении строительства крейсеров¹⁾). Однако по ряду соображений Великобритания не использовала предоставленного ей права строительства других военных судов, например эсминцев. Соединенные Штаты, продолжая военно-морское строительство, тем не менее еще далеко не использовали своих прав, завоеванных на Лондонской конференции, пытаясь добиться паритета с английским флотом и превосходства над японским в большей степени путем урезывания военно-морских сил Англии и Японии, чем путем чрезвычайного увеличения собственного флота. Япония, наоборот, делает все, от нее зависящее, чтобы увеличить свою военно-морскую мощь, и даже поставила принятие Лондонского морского договора в зависимость от осуществления новой программы «пополнения флота», к которой Япония своевременно и приступила.

Теперь, на рубеже 1933 и 1934 годов, речь идет уже об открытом увеличении ассигнований на военно-морское строительство, о спешном усилении вранего флота крупнейших империалистических держав. Застрельщиком в этой области несомненно является Япония.

Японский империализм с полной откровенностью ставит ставку на войну. Это проявилось на деле в вооруженной интервенции в Китае, это проявляется каждодневно в милитаристических лозунгах, шовинистских выступлениях, назойливой военной пропаганде. Влияние военной клики в Японии становится все более сильным. Японская буржуазия все в большей степени поддается влиянию, как выразился корреспондент «Кельнише цейтунг» (16 декабря), военного психоза. Переговоры с СССР о КВЖД, начатые по инициативе Советского Союза, предложения по адресу Соединенных Штатов — все эти шаги так же, как и внутренняя политика, — ограбление деревни, эксплуатация рабочих, разорение мелкой буржуазии, — японский империализм расценивает толь-

ко с одной точки зрения — с точки зрения подготовки близкой войны. Эта подготовка близкой войны, само собой разумеется, находит свое конкретное выражение в увеличении японских вооружений.

Япония с полной определенностью поставила вопрос об изменении соотношений между японским военным флотом и флотом Англии и Америки, установленных в Вашингтоне. Это стремление к увеличению японского военного флота получило свое непосредственное выражение к концу 1933 г. в прокламировании так называемой второй морской программы. Первая программа военно-морского строительства была утверждена в марте 1931 г. Вторая программа была оглашена в декабре 1933 г. По утверждению японских газет в начале декабря, она предусматривает постройку 48 больших и малых военных кораблей в течение 4 лет. Осуществление этой программы должно привести к тому, чтобы тоннаж японского флота к 1936 году увеличился на 110 тыс. тонн и его мощностность составила 73 проц. мощностности военного флота Соединенных Штатов. Мы не станем приводить более подробных данных. Общая тенденция к лихорадочному увеличению японского военного флота достаточно видна из приведенных цифр. К этому надо добавить, что опубликованные данные говорят только о легальном, оформленном в законодательном порядке военно-морском строительстве. Но несомненно, что в Японии, как и в других капиталистических странах, происходит еще секретное военно-морское строительство. Так, английская газета «Дейли геральд» сообщила 1 сентября 1933 г., что в Японии в секретном порядке происходит массовое сооружение подводных лодок; их составные части производятся в отдаленности, нумеруются и доставляются на военно-морские базы, где при помощи специальных приспособлений монтируется готовое судно. Та же английская газета сообщает о секретном строительстве в Японии «карманных контрминоносцев», конструкция которых сохраняется в глубокой тайне. На ряду с военно-морским строительством

¹⁾ По данным, приведенным в статье Л. Иванова «Новый этап морского соперничества», журнал «Мировое хозяйство и мировая политика», № 10, октябрь 1933 г.

в Японии развивается военно-воздушное строительство.

Параллельно с военно-морским и авиационным строительством Япония лихоградожно укрепляет свои морские и воздушные базы. В печать проникли сведения об укреплении японских баз в Порт-Артуре, на острове Сайпан, близ острова Гуама, принадлежащего Соединенным Штатам, на Бонинских островах, расположенных в 500 милях к юго-востоку от Японии, где производятся громадные фортификационные работы (сообщения германской газеты «Берзендейтунг» от 21 октября).

Само собой разумеется, что Япония не одинока в своем интенсивном военно-морском строительстве. Она лишь в соответствии со своей агрессивной политикой из всех сил старается опередить другие страны в подготовке войны.

Военно-морские планы основного японского соперника в Тихом океане — Соединенных Штатов — стали известны к концу 1933 г. из опубликованного американским морским министром Свенсоном годового отчета морского министерства. Надо иметь в виду, что в американскую программу «национального восстановления» входит в качестве неотъемлемой составной части военное строительство. Отчет морского министерства САСШ упоминает об ассигновании 238 млн. долларов на сооружение 32 военных судов и заявляет, что это — только первый шаг в выполнении военно-морской программы. Американский морской министр требует гораздо большего. Он ставит вопрос о решающем и быстром увеличении американской морской мощи. Свенсон тесно связывает свои требования с крахом конференции по разоружению. Некоторые его заявления, содержащиеся в отчете морского министерства, следует привести дословно, так как они характеризуют не только взгляды американского морского министерства. Свенсон говорит:

«Наступило время, когда мы больше не можем показывать пример в области разоружения. Другие державы не последовали нашему примеру, и в результате относительная военно-морская мощь

Соединенных Штатов обнаруживает в настоящее время серьезное отставание. Ослабление нашего положения не содействует миру, а ставит его под угрозу, ибо равновесие вооружений усиливает позицию дипломатии и представляет важный фактор сохранения мира и справедливости. Слабость же создает почву для агрессивной подготовки войны и нарушения прав. Я считаю соотношения вооружений, предусмотренные существующими договорами, правильными. Имеются два метода для достижения этих соотношений: 1) снижение морской мощи других держав до нашего уровня и 2) доведение нашего флота до предельной мощи, предусмотренной договорами. Поскольку первый метод испробован и не достиг цели, нам остается лишь прибегнуть ко второму».

Для иллюстрации рассуждений Свенсона о «выравнивании» соотношений морских сил можно указать, что, по вычислениям морского обозревателя английской газеты «Морнинг пост», с 1914 года американский флот по количеству судов увеличился на 29 проц., а японский — на 37 проц. По личному составу: американский флот вырос на 60 проц., японский — на 76 проц. Из этих цифр нетрудно понять, кого имел в виду в своем отчете американский военный министр.

Но дело заключается не только в японо-американском соперничестве. Приведенное нами заявление морского министра САСШ всецело соответствует позиции, занимаемой политиками и военными деятелями ряда капиталистических стран в настоящий момент, когда открыто провалились переговоры о сокращении вооружений. Каждая из империалистических группировок заявляет: поскольку разоружение оказалось невозможным, единственное средство сохранить мир — это путем увеличения вооружений готовить войну... В качестве иллюстрации укажем на тот факт, что тотчас же вслед за отчетом американского морского министра поступили сообщения из Японии о дальнейших ассигнованиях на военно-морское строительство и из Англии о том, что, если соглашение о разоружении не

будет достигнуто, английское адмиралтейство потребует права постройки 20 или большего числа новых крейсеров в течение 2—3 лет. Кроме того, британские морские круги носят с широким планом замены старых линейных кораблей новыми, в случае если «не будет заключено соглашение об уничтожении линкоров». Но такого соглашения, как известно, ждать не приходится.

Конец 1933 года ознаменовался чрезвычайно повышенной активностью британских милитаристов. Руководящие английские газетные тресты и виднейшие политики развернули, начиная примерно с сентября 1933 года, яростную кампанию за увеличение английских вооружений. Английские твердолобые выступают с полной откровенностью. Для характеристики приведем вопрос, поставленный в речи по радио в середине октября одним из лидеров правых консерваторов, лордом Ллойдом: «Достаточно ли вооружена Англия и подготовилась ли она к тому, чтобы начать войну, если она будет обязана это сделать по договору или в силу других обстоятельств?» Как бы отвечая на этот вопрос крайних милитаристов, английский морской министр Эйрес-Монселл заявил в палате общин 15 ноября тем депутатам, которые требовали расширения военно-морского строительства: «Вы можете быть уверены, что в рамках наших договорных обязательств и финансовых возможностей мы должным образом учтем указанные вами соображения и полностью признаем их значение». Смысл этих обещаний очень прост. Речь идет о подготовке грандиозной программы морских вооружений. Как заявил орган торговой палаты в Шеффилде, где изготавливается броня для военных судов: «Потребности морского ведомства на этот раз превзойдут потребности за любой год послевоенного времени». А между тем и в 1933 году основная программа предусматривала сооружение 21 судна различных типов. На 1934 г., по сообщению «Дейли телеграф» от 21 октября, намечается программа военно-морского строительства Великобритании, рассчитанная на 3 года и предусматривающая постройку

18 крейсеров, или 50 истребителей, 4 авианосцев, по 11 тыс. тонн каждый, и ряда других военных судов.

Одновременно с метрополией должны развернуть широкое военно-морское строительство Австралия, Канада и Новая Зеландия. Кроме того, Великобритания принялась за укрепление морских баз и в частности за дальнейшее расширение базы в Сингапуре, где даже будет созвана специальная конференция британского военно-морского командования.

Но даже эта широкая кампания за морские вооружения в Англии блекнет по сравнению с развернувшейся в той же Англии кампанией за военно-воздушное строительство. Этот вопрос, пожалуй, занимает центральное место в заботах британских империалистов. Газеты ведут изо дня в день агитацию за усиление воздушного флота Англии, указывая на ее «беззащитность» по сравнению с европейскими странами. Еще в октябре сообщалось, что британское правительство намерено ассигновать средства на сооружение 100 новых самолетов. В ноябре уже речь шла об увеличении английских военно-воздушных сил на 50—60 проц. в течение трех лет. Наконец эта кампания получила авторитетное подкрепление в заявлении министра авиации лорда Лондондерри в палате лордов 30 ноября. Лондондерри заявил, что авиации придется в будущей войне сыграть чуть ли не центральную роль, а между тем Англия, которая была к концу мировой войны первой в мире военно-воздушной державой, к настоящему времени оказалась на пятом месте. Поэтому, заявил британский министр авиации, Англия не может допустить, чтобы ее теперешнее отставание в этой области продолжалось, и ей остается лишь приступить к увеличению своих военно-воздушных сил.

Надо сказать, что даже это многообещающее заявление не удовлетворило британских патриотов. Отдельные из них соревнуются в новых и новых империалистических требованиях. Так например, крупнейший публицист Гарвин в газете «Обсервер» 3 декабря заявил, что правительственная программа строи-

тельства 10 новых эскадрилий является явно недостаточной. Гарвин говорит: «Нам нужно 100 эскадрилий, примерно в два с лишним раза больше нашей существующей силы». Гарвин требует, чтобы эта его программа была осуществлена в течение двух лет. Еще дальше идет газетный трест Роттермира, который выбросил лозунг о постройке 25 тысяч самолетов.

Вряд ли требуется еще какая-нибудь иллюстрация того, какие громадные, просто небывалые размеры приняла лихорадка вооружений в важнейших капиталистических странах. Наступление но-

вого тура войн ведет к самой бешеной гонке вооружений, к самой энергичной, напряженной и все более растущей подготовке войны империалистами. В происходящей империалистической борьбе пущены в ход все формы вооружений, все средства: «... таможенная политика, дешевый товар, дешевый кредит, перегруппировка сил и новые военно-политические союзы, рост вооружений и подготовка к новым империалистическим войнам, наконец — война» (С т а л и н ¹).

¹) Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 495.

Литература и искусство

1. Р. Пикель — Итоги театрального сезона. 2. П. Марков — О советском актере.
3. Письма Гейне

1. ИТОГИ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА (1932—1933 г.)

Р. Пикель

I

Театральный сезон 1932/33 г. совпал с годом завершения первой пятилетки, с годом подведения победоносных итогов социалистического строительства в нашей стране. Естественно, что и для театра этот год был проверочным, контрольным с точки зрения социальной реконструкции театра. Масштабы идейной и творческой перестройки под лозунгом создания стиля нашей эпохи — стиля социалистического реализма — должны были определять и определяли работу советского театра. Но если сезон 1932/33 г. был эффективнее по сравнению с предшествующим, то его положительные итоги, отнюдь не могут быть успокаивающими в перспективе общекультурного развития всей страны. Темпы перестройки театра явно недостаточны.

Пассивный баланс наиболее очевиден в дореволюционных государственных театрах. МХАТ I на большой и малой сцене в течение года дал только по одной премьере, и к тому же неудачной. «Мертвые души» Гоголя в переделке Булгакова, «Хозяйка гостиницы» Гольдони ни в коем случае не могут быть зачислены в актив театра. МХАТ II провалился с «Неблагодарной ролью» А. Файко и только к концу сезона вы-

двинулся вперед показом «Суда» В. Киршона. Малый театр к пятнадцатилетней годовщине Октября показал совершенно бесцветную инсценировку фадеевского «Разгрома» и, позже, равноценную ей — «Дон-Карлоса» Шиллера.

И только Камерный театр в своих работах («Похищение мистера Робинсона» Каверина и «Машиналь» С. Тредуэлла) обнаружил значительные прогрессивные тенденции на путях своей творческой работы. Это — единственный из дореволюционных театров, который на протяжении истекшего сезона уверенно шел в гору. На этом этапе для него характерно утверждение нового типа художественной простоты, той, которая лишена каких бы то ни было приемов сценического натурализма и одновременно избегает схематизма, стилизации и самодовлеющей красоты. Театр сосредотачивает свое внимание на глубокой трактовке психо-идеологических качеств образа и на выявлении своего отношения к нему. Внешняя передача образа и сценическое оформление отличаются большой скупостью. Ничего лишнего на сцене, ни одного лишнего движения и жеста у актера. На ряду с этим театр умело и органически использует элементы своей предшествующей культуры, социально осмысливая их и вытравляя из них эстетическое самозамыкание. В этом отношении показательна та громадная работа, которая

проделана в области создания ритма спектакля в самом широком смысле этого слова (музыкального, актерского, сценического, светового и т. п.). В «Похищении Робинзона» ритм спектакля продолжает лучшие традиции «Жирофле-Жирофля» и «Дня и ночи»; в «Машинали» — «Федры» и «Человека, который был четвергом». Но качество этого ритма иное по сравнению со старыми постановками. Вся сумма художественных приемов по отысканию и выявлению ритма спектакля переключается театром из области формальных исканий в сферу нахождения такого сценического языка, который повышает и углубляет идейное содержание спектакля. Вот почему «Машиналь» — личная драма маленькой американской женщины — превращается постановщиком А. Я. Таировым в спектакль большого социального смысла, а «Похищение Робинзона» — в комедию, остро бичующую мораль и этические нормы поведения английского буржуа. Любопытно отметить, что эти социальные тенденции у авторов пьес даны скорее в подтексте, нежели в самом содержании. Театр сценически умело и правильно прочитывал зрителю то, что было написано авторами между строк.

МХАТ I готовился к инсценировке «Мертвых душ» на протяжении трех лет. Руководителями театра неоднократно делались заявления по поводу этой постановки, носившие программный характер. В. Сахновский, постановщик «Мертвых душ», на страницах «Вечерней Москвы» заявлял об «особой сценической форме», которую «было решено показать в поэме Гоголя на сцене Художественного театра». Мы ожидали, что в этой работе театр сумеет по-новому прочесть гениальную поэму Гоголя и вскрыть всю глубину ее социальной-политической значимости. Казалось бы, что этот спектакль поставит целый ряд интересных и новых вопросов в трактовке классического произведения на сцене. Ничего этого не случилось. «Мертвые души» оказались мертворожденным спектаклем, и трехлетние творческие усилия театра остались бесплодными. Поэма, произведение громадного

социального смысла, превратилась в сценическую иллюстрацию авантюрных походов Чичикова, в натуралистически-бытовое изображение провинциальных нравов николаевской эпохи. Разве таковы «Мертвые души» Гоголя? Какой социальной близорукостью нужно страдать, чтобы в характеристике гоголевской Руси не увидеть волнующего протеста против жуткой зоологической действительности, где «мертвые продают мертвых»; чтобы не ощутить той надвигающейся исторической катастрофы экономического уклада российского дворянского феодализма, которую Гоголь поэтически сформулировал в вопросе: «Русь, куда же несешься ты?» Благодаря этому спектакль получился идейно пустым и совершенно бездумным. Основная ошибка театра заключалась в том, что он решил показать «Мертвые души» как «широкую картину русской жизни, с эпическим спокойствием разворачивая картины, возбуждающие гомерический хохот зрительного зала». (В. Сахновский. — «Как и почему ставятся «Мертвые души». «Советское искусство», 15 ноября 1932 г.). Разве в этой основной режиссерской установке даны гоголевское отношение к действительности и гоголевское понимание ее? Конечно нет! «Мертвые души» — роман не эпический, а пафосный. Гоголь выступает перед читателем не как бытописатель нравов, а как страстный обличитель их. Гоголь показывает не комедию русской жизни, а ее трагедию. И смех Гоголя — не гомерический, то есть не эмоционально-добродушный, а жуткий, страшный смех, от которого бегают мурашки по спине. Сатирически-гротесковые приемы письма Гоголя, его обличительный пафос — все это оказалось не по плечу театру, который на протяжении своего тридцатипятилетнего существования почти всегда воспринимал действительность в реалистически-бытовых тонах. «Мертвые души» в Художественном театре — серьезное творческое поражение.

Та же участь постигла и постановку «Хозяйки гостиницы» Гольдони на малой сцене МХАТ. Искрометный, феерический каскад смеха, его непринуж-

денность, вытекающая из целого ряда комедийных положений, его заразительность невероятно отяжелены театром. Постановщики, Мордвинов и Яншин, увлеклись психологизацией образов, детализацией мизансцен, усложнением показываемых на сцене событий. Театр Гольдони, рождаясь в борьбе с итальянской комедией масок, очень многое перенял у последней, — прежде всего динамику развития сюжета, блеск интриги и ритм действия. Совершенно естественно, что для подобного жанра драматургии линия всякого вертикального углубления в трактовку образа и сюжета не может быть плодотворной. В характеристике образов Гольдони многое еще идет от схематической традиции итальянской маски. Его характеры не натуралистичны, а условны. И отличие их от масок заключается в том, что Гольдони, выполняя на театре заказ буржуазии, социально их дифференцировал и преподносил в том виде, в каком это было выгодно господствующему классу. Конечно, маски итальянской комедии аполитичнее персонажей Гольдони, но одновременно ни те, ни другие не могут быть отнесены к категории натуралистически-психологических образов. Внешняя легкость смеха Гольдони ничуть не знаменует его бессодержательности. Его комедии легки и изящны, но они не лишены социального смысла. Феодалы и кавалеры Гольдони — не просто смешные персонажи, а люди определенных социальных прослоек, которым автор политически не симпатизирует. Его издевка над ними, может быть, не глубока, но во всяком случае она имеет социальное острие. Этого качества комедии постановщики тоже не уловили. Спектакль лишен какого бы то ни было идейного звучания: на нем есть налет социальной бездумности и излишнего психологического груза. Такая режиссерская трактовка классического произведения (замечу мимоходом, что зачисление Гольдони в классики крайне натянуто и условно) ни с какой точки зрения не может быть оправдана на советском театре. Так Гольдони показывался двадцать-тридцать лет назад, и совершенно незачем заставлять советско-

го зрителя дышать архивной пылью отживших театральных культур.

Обе работы МХАТ со всей серьезностью ставят перед театром проблему правильного раскрытия идейного содержания произведений. К. С. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» говорит о том, что наибольшее влияние мейнингенцев на него сказалось в том, что они научили его глубокому «выявлению духовной сущности произведений. За это им великая благодарность. Она всегда будет жить в моей душе» (220 стр.). Где же это выявление духовной сущности произведения в «Мертвых душах» и «Хозяйке гостиницы»? Идея снижена до масштаба натуралистически-бытовой правды. Духовная сущность замкнута в рамки сценической иллюстрации. Театру явно нехватает мировоззренческой широты в своем творческом методе, той близкой нашей эпохе широты, которая исчерпывающе замыкается в диалектическом материализме.

Малый театр в истекшем сезоне продолжает все тот же бег на месте. Это — грозный симптом. После «Любови Яровой» театр живет векселями прошлого и бесконечно оттягивает расчет по ним. Обе постановки («Разгром», «Дон-Карлос»), несмотря на внешнюю свою цельность, совершенно разноречивы и противоположны одна другой. Создается впечатление, что у театра нет своего творческого лица и метода. Театр бросается от одного постановщика к другому, от одного стиля к совершенно обратному. Реализм «Разгрома» сменяется импрессионизмом «Дон-Карлоса». Имея блестящую актерскую труппу, театр не может создать единого художественного ансамбля. Как-то трудно и тяжело молодые кадры театра включаются в его работу. На постановках театра сказывается гастрольный характер не только по линии дебютов постановщиков, но и актерского состава. Благодаря этому образ спектакля, его идейное качество, его собранность расплываются, обесцвечиваются и нивелируются. Как будто все на месте: и актеры, и сценическое оформление, и художник, сделано все технологически культурно, но одно-

временно на всем лежит печать механического творчества, лишённого художественной и идейной ценности. Театр не изжил гуманитарного подхода к действительности. Вот почему ему не удалось большевики в «Разгроме», вот почему социальная характеристика образов маркиза Позы, Филиппа и других в «Дон-Карлосе» лишена четких классовых установок.

МХАТ II взял на себя неблагодарную роль: поставить «Неблагодарную роль» А. Файко. Ошибка была совершена в выборе самой пьесы. Файко попытался возродить жанр лирико-иронической комедии. Его методологическая ошибка заключалась в том, что для выявления своего отношения к действительности он избрал два образа, которые ни в коем случае не могли вложиться в этот жанр. Таковы буржуазная журналистка и заместитель автора, фигурирующие в пьесе. Через их очки он воспринял действительность, и абсолютно очевидно, что это восприятие не могло быть по своему качеству ни лиричным, ни ироничным. Лирика превратилась в иронию над собой, а ирония — в злую и чуждую нам сатиру. И конечно преодолеть автора театр не мог, ибо тогда пришлось бы вынимать из пьесы всю «душу живу». Постановка оказалась столь же неудачной, как и пьеса автора. Отсутствие критического и социального чутья привели театр к творческому провалу. Повидимому, эта ошибка была быстро осознана, и своей последующей работой («Суд» В. Киршона) МХАТ вновь доказал нам, насколько значительным и серьезным театральным организмом является он в системе советского театра.

В «Суде» МХАТ продолжил линию «Чудака». Спектакль сделан в том реалистическом стиле, который приближает его к методу социалистического реализма. В этом отношении театру очень много помог автор. В. Киршон после «Хлеба» сделал продолжительную творческую паузу. Ликвидация РАПП, неизбежно поставившая перед его руководителями, в частности и перед т. Киршоном, проблему творческой перестройки не только своих рядов, но и самих себя, была для

драматурга длительным этапом большой, углубленной работы над собой. Его творческое молчание было воспринято досужими критиками как творческое бессилие и беспомощность. «Судом» Киршон доказал, что его роль в пролетарской драматургии ничуть не снизилась. Наоборот, решение ЦК о ликвидации РАПП помогло Киршону выпрямить и качественно усилить свою драматургическую линию. «Суд» после «Города ветров» — наиболее сильная пьеса В. Киршона. Он сохранил в ней то качество, которое присуще его драматургии, — горячую, убежденную партийность, пронизывающую все его художественные произведения, усилив это качество более совершенной художественной отделкой и обработкой пьесы. Любопытно отметить, что чутьем художника он предопределил остроту сценических ситуаций, нашедших впоследствии свое отражение в действительности. Пьеса была написана задолго до фашистского суда над коммунистами. И как волнующе и социально метко она зазвучала в дни процесса о поджоге рейхстага! Когда-то в «Рельсах гудят» Киршон дал намек грядущего вредительства в Донбассе, теперь в «Суде», пьесе, написанной два года назад, он переключается с событиями, стоявшими в центре внимания всего мира на протяжении последних месяцев. В. Киршон в своем творчестве встал на путь осуществления генерального лозунга партии в области литературы — выработки метода социалистического реализма.

«Суд» имеет целый ряд недостатков, в том числе и идеологических (отсутствие прямой характеристики фашизма как основной движущей силы капиталистической реакции), но они отступают на задний план перед удачным, органически-цельным разрешением основной задачи, основной идеи пьесы (разоблачение социал-демократии как прямого пособника фашизма). МХАТ II совершенно правильно трактовал «Суд» как социальную драму о маленьких людях вчерашней Германии, на плечи которых возложена непомерно тяжелая ноша. Несмотря на камерность сюжета, «Суд» звучит и волнует зрителя большими,

сценически глубоко оправданными, художественно крепко сделанными политическими обобщениями. МХАТ II превосходно выявил основное звено пьесы — его политическую целеустремленность, — тем самым осуществив завет своего пра-родителя и учителя, К. С. Станиславского, о том, что задачи театра заключаются в «выявлении духовной сущности произведения».

II

Если наши дореволюционные государственные театры, за незначительным исключением, обнаружили застой в своем творческом росте и даже движение вспять, то театры, созданные революцией, выдвинулись резко вперед в истекшем сезоне. Буквально семимильными шагами шествовал театр Вахтангова. Этот сезон выдвинул его на одно из первых мест. Театр дал две блестящие постановки, в которых форма спектакля оказалась равноценной содержанию пьес. К сорокалетию литературной и политической деятельности Максима Горького театр показал его последнюю пьесу «Егор Булычев и другие». Обсуждение пьесы и постановки было в центре всеобщего внимания в данном сезоне. Пьеса выдвинула целый ряд важнейших и основных вопросов, стоявших перед советской драматургией. Она была той бомбой, которая взорвала спокойную поверхность серого и тусклого репертуара. М. Горький преподнес в день юбилея изумительный подарок своей стране. Он дал произведение, полное силы и мастерства, присущих его таланту. Его пьеса — крупнейшее художественное событие на театре. Основная ценность ее заключается в том, что М. Горький учит наших драматургов правильному применению метода социалистического реализма на театре. М. Горький как драматург необычайно классово активен. Его всегда влекут большие политические темы, и в изображаемых им образах он художественно-потрясающе — блестящими индивидуальными характеристиками — дает большие социальные обобщения. Его реализм не натуралистичен, он лишен описательного

характера. Факты и события осмысливаются им идейно. Он анатомирует психологию людей для того, чтобы показать, какими социальными пружинами они движутся в человеческом обществе. Идейность его драматургии лишена какой бы то ни было тенденциозности, в ней нет никакой преднамеренной подмены художественного факта публицистической проповедью. Как художник Горький строит свою пьесу на фигурах художественно убедительных, благодаря чему и добывается той правды искусства, которая глубоко волнует зрителя. М. Горький совершенно исключительно и блестяще разрешает проблему сценического образа, одну из основных и кардинальных проблем советской драматургии. В своей замечательной статье «О пьесах» он подчеркивает, что «один только классовый признак еще не дает живого, цельного человека, художественно оформленного характера». Классовый признак образа М. Горький раскрывает путем индивидуальной, социально-психологической характеристики, путем проведения его через сложные противоречия и нахождения того индивидуального стержня, которым в конечном счете и определяется его политическое поведение. М. Горький меньше всего морализирует. Он прощупывает все нервы своего героя, он как физиолог прекрасно знает особенности организма образа и в его индивидуальном поведении находит те штрихи, которые ярче и глубже всего определяют типичное в нем. «Егор Булычев» в этом отношении является пьесой, глубоко поучительной в выработке метода социалистического реализма применительно к драматургии.

«Егор Булычев» был единодушно оценен всеми как выдающееся драматургическое произведение. Но и тут не обошлось без забегания вперед и услужливой рептильности. Сам же Горький по поводу захлебывающихся и некритических оценок своей пьесы писал, что «наша критика обычно еще слишком торопится: и хвалит, и порицает, но недостаточно хорошо и внимательно читает». Во многих дифирамбных оценках «Егор Булычев» предстал как ше-

девр, лишенный каких бы то ни было недостатков. Говорилось о новой технике драматургии, возводились в канон те недочеты, которые были очевидны самому автору.

Характерным для всей горьковской драматургии, в том числе и для «Егора Булычева» (правда, здесь в меньшей степени), является статичность сюжета. М. Горький — изумительный мастер образа в пьесе — в то же время часто бывает беспомощен в развитии сюжета. К. Станиславский вспоминает слова М. Горького, сказанные последним во время создания «Мещан»: «Понимаете ли, какая штука, обступили меня все эти мои люди, толкаются, пихаются, а я не могу ни усадить их на места, ни помирить между собой! Право! Все говорят, говорят, и хорошо говорят, жаль остановить, ей-богу, честное слово!» Этот прием драматургического письма у М. Горького идет конечно не от бедности творческой фантазии. Смешно утверждать, что сюжетность в драматургии для него — тот барьер, которого он не может взять. Дело в том, что М. Горький отводит сюжету в фабуле второстепенную роль, хотя в той же статье «О пьесах» и говорит: «Основное требование, предъявляемое к драме: она должна быть актуальна, сюжетна, насыщена действием». М. Горького как драматурга больше интересуют люди, чем события, внутреннее в их поведении, нежели внешне, отражаемое в фактах. М. Горький эпичен в своем творчестве, и этот стиль характерен для него и как для драматурга. Вот почему в его пьесах часто ощущается разрыв действия («не могу ни усадить их на места, ни помирить между собой») и статичность («люди толкаются, пихаются»).

Совершенно ясно, что это качество горьковской драматургии ни в коем случае нельзя провозглашать как открытие новой техники в области драматургии. Следовательно, не этому надо учиться у М. Горького. Не будем возводить пороки в добродетель. Если бы понастоящему каждый из наших драматургов владел теми замечательными качествами драматургического письма,

какие присущи М. Горькому (а досужие критики поменьше бы канонизировали его недостатки), то невиданный и небывалый расцвет советской пьесы был бы обеспечен.

Между прочим статичность сюжета напугала и вахтанговцев. Отнесясь со всей тщательностью и серьезностью к постановке «Булычева», они не предвидели того громадного политического и художественного резонанса, который дала пьеса. Юбилейный спектакль превратился в этапный, программный спектакль. М. Горький как автор на своих плечах вынес вперед вахтанговский театр, подняв его на голову выше. В то же время в звучании «Булычева» немалая заслуга принадлежит и вахтанговцам. Они сумели найти в пьесе тот индивидуальный стержень, благодаря которому сценически блестяще раскрылось ее социальное содержание. К примеру, Большой драматический театр в Ленинграде провалил «Булычева». Он превратил его в какую-то забавную комедию, сведя горьковский реализм к натуралистической фотографии. В пьесе исчезли образы, обезличилась ее идейная концепция, пьеса превратилась в ряд неудачных сцен, в которых от автора остался только блестящий язык. Вахтанговцы подошли к своей задаче иначе, и это сказалось прежде всего в их отношении к трактовке горьковских образов. Они преодолели то нейтральное отношение к образу, которое было характерно в театре для целого ряда предшествующих постановок (например «Коварство и любовь»). В этом отношении они осуществили один из заветов своего учителя — Вахтангова. В записях своего дневника он говорит, что «задача заключается в том, чтобы найти современные способы разрешить спектакль в форме, которая звучала бы театрально... И в том, чтобы спектакль выражал с максимальной глубиной волю, надежды и идеи «народа, творящего революцию». Вот это сочетание театральности, выраженное в современных способах (вспомните эпизод с трубачом), с политической остротой спектакля и создало то качество, при котором он зазвучал глубоко и волнующе. Театр этой поста-

новкой в превосходном актерском исполнении (на первое место следует поставить Щукина, играющего роль Егора Булычева, — это одна из самых блестящих побед советского актера), в борьбе за утверждение своего творческого лица и стиля добился признания своей системы как значительного явления в советской театральной культуре.

Все эти качества вахтанговцы проявили и в следующей своей постановке — в «Интервенции» Л. Славина. Она тоже является продолжением лучших традиций Вахтангова. Здесь конечно успех и шумное признание в первую очередь были обеспечены постановщиком Р. Симоновым и всем актерским коллективом. Несмотря на рыхлость сюжетной композиции, Славин написал пьесу большого социального плана и значительную и по своим художественным качествам. Она подкупает зрителя социальным оптимизмом и большой теплотой. В ней есть настоящее волнение и горячность. Театр очень хорошо сумел передать эти качества.

Краски художника, игра актеров, тонкая, филигранная обработка сюжетных положений режиссером, насыщение всего спектакля не только ритмическим движением, но и звучанием; его солнечная яркость, его жизнерадостность, такая буйная и молодая, без всякой паточки и конфетной сладости, напомнили лучшие работы Е. Б. Вахтангова и в первую очередь его гениальную «Турандот».

Вслед за театром Вахтангова выдвинулся и театр Революции. Его постановки: «Улица радости» Зархи и «Мой друг» Н. Погодина — с абсолютной очевидностью знаменуют преодоление театром того длительного репертуарного и творческого кризиса, в котором он находился последние годы. Художественное руководство театра, возглавленное А. Поповым, сумело крепко спаять актерский ансамбль и создать ценный и значительный художественный коллектив. В «Улице радости» театр совместно с драматургом узаконил в нашем репертуаре жанр социальной мелодрамы. Последним явно пренебрегали. Старые формы мелодрамы, сентимен-

тально-лирические, казались нашим драматургам недостойными для изображения нашей эпохи. Зархи сумел удачно преодолеть социальную пустоту этого жанра. Его пьеса не блещет большими художественными достоинствами. Секрет ее успеха заключается в том, что она во-время попала на театр и во-время была им показана. Мелодрама, увязанная с социальной тенденцией, встретила у зрителя горячую поддержку. Здесь сказалась реакция против схематизма и сюжетной бедности, которая была характерна для большинства наших пьес. Мелодрама всегда учит любить и ненавидеть. Сгущая краски, заставляя страдать своих героев, она никогда не остается безучастной к их судьбе. В ней меньше всего рыбьей крови. Эти качества бесспорно прогрессивны для нашей драматургии, и потому популярность этой постановки вполне понятна.

Этапной постановкой для театра Революции была пьеса Н. Погодина «Мой друг». Трудно определить ее жанр, быть может, еще и потому, что и для самого автора неясны те творческие тенденции, в сторону которых он движется. Хроникальная драма у него переплетается с лирической комедией. Как драматург Погодин в этой пьесе еще не организован, он весь в становлении. В «Моем друге» много шероховатостей, шлака, наносного, художественно неоправданного материала. Это — скорее эскиз к пьесе, нежели сама пьеса, но эскиз талантливого мастера, который даже в контурной обрисовке дает замечательный сценический материал. «Мой друг» силен прежде всего и по преимуществу созданием центрального образа и в пьесе, и на театре. Фигура большевика Гая автором Н. Погодиным и актером Астанговым сделана с предельной художественной выразительностью. Чуть ли не впервые на театре большевик был показан живым человеком, в большой гамме индивидуальных и социальных переживаний. Между прочим Н. Погодин в том же сезоне выступил с комедией «Снег» в театре МОСПС. Пьеса оказалась значительнее постановки. Театр обогатил ее. В «Снеге» Н. Погодин композицион-

но цельнее «Моего друга». В нем уже налицо отрешение от хроникально-очеркового характера его первых драматических произведений. Погодин вступает в период зрелости и углубления своего творчества, обещающего быть весьма продуктивным.

Последняя постановка театра Революции — «На Западе бой» Вс. Вишневского — не дала удовлетворения ни зрителю, ни театру, ни автору. Яркое дарование Вишневского не сказалось в этой пьесе в том блеске, какой мы видели в предшествующих его работах. Ему медали ложные методологические предпосылки и увлечение западной школой экспрессионизма. Пьеса о классовых боях на Западе, спланированная автором в ряде мест политически неудачно (показ классового лица фашизма), не зазвучала волнующе глубоко, так, как этого требовала тема. Театр еще более снизил ее политическую страстность и тем самым приглушил идейность спектакля. Несмотря на горячие монологи, обращение к зрительному залу, изобилие социально-политических эпизодов, постановка оставляет неопределенное впечатление и только в незначительной степени мобилизует классовую волю зрителя. Да, действительно, на Западе идет бой, но не такой суматошный, как в постановке, а серьезный и значительный. Надо надеяться, что неудача автора и театра — только случайный эпизод на их интересном, многообещающем творческом пути.

В стороне от столбовой дороги в этом сезоне оказался театр Вс. Мейерхольда. В первую очередь здесь повинны объективные условия. Театр проводит капитальную перестройку своего прежнего здания и после гастрольных мытарств вынужден был осесть на небольшой и никуда негодной сцене бывшего театра Обозрений. Сделать настоящую сценическую работу на подобной площадке конечно является задачей невероятной трудности. И первый постановочный блин застрял комом. Инсценировка романа Германа «Вступление» явно не удалась ни Мейерхольду, ни автору. И дело тут не в технических условиях постановки. Сложная, инте-

ресная линия развития романа получила в пьесе выражение прямолинейной и упрощенной схемы. Ряд эпизодов (стачка китайских, немецких рабочих и т. д.) был показан в такой вялой текстовой и сценической форме, что буквально производил впечатление клубных агиток. Чувствуя сюжетную и идейную неслаженность текста, Вс. Мейерхольд вынужден был восполнить ее введением целого ряда внешних эпизодов (негры на пароходе, концерт в отеле и т. д.). Этим он хотел заполнить пробелы пьесы, но от этого они еще более выпятились, а художественные комментарии Мейерхольда повисли в воздухе, как ничем не оправданные и надуманные. Только одна сцена — беседа безработного интеллигента с бюстом Гете — запоминается и производит впечатление на протяжении всего спектакля. Но ради этого не стоило ставить «Вступление».

Зато с большой сценической выразительностью и новизной показал Мейерхольд «Свадьбу Кречинского». Он разрушил все традиции и театральные наслоения, сложившиеся десятилетиями вокруг первой части трилогии Сухово-Кобылина. Вс. Мейерхольд решил поновому прочесть текст этой комедии, решил взглянуть на нее глазами современника нашей эпохи, человека, который критерием для оценки поведения людей берет их отношения на почве общественного разделения труда. Технология мейерхольдовской работы та же, что и в предшествующих его работах над классической драматургией. Он перемонтирует текст, придумывает новые персонажи, дает иное жанровое толкование стилевым качествам пьесы и т. д., и т. п. Но во всей этой работе уже ощущается иной подход, нежели в «Лесе» и «Ревизоре». Мейерхольд в «Свадьбе» — режиссер-социолог; в «Лесе» и «Ревизоре» он — режиссер-эстет. Тогда превалировали у него элементы формы, сейчас — содержания. Сценическая расцветка «Кречинского» (особенно 3-й акт) мало в чем уступает паянтре «Леса» и «Ревизора». Но, если там краски нужны были как утверждение известных формальных канонов (парики в «Лесе», настоящая мебель из красного

дерева и хрустальная посуда в «Ревизоре»), то в «Кречинском» они играют социально-вспомогательную роль (переодевание в 3-м акте). Конечно не всюду и не во всем это удалось Мейерхольду, но необходимо отметить, что тенденция социального эксперимента, использование художественного приема как социального комментария к идейному замыслу пьесы абсолютно очевидны в последней работе. Мейерхольд поставил своей задачей вскрыть социальное содержание комедии, острее подчеркнуть ее актуальность в наши дни. Идейное звено, за которое он решил ухватиться, — это власть денег в капиталистическом обществе. Деньги двигают общество вперед, они предопределяют нормы человеческого поведения. И под этим углом зрения, в ином разрезе, в иных качествах характера разглядел Мейерхольд персонажей «Свадьбы Кречинского». Основная социальная концепция пьесы кажется нам наивной, она отдает примитивным экономизмом. Мейерхольд фетишизирует роль денег в капиталистическом обществе. Карл Маркс в первых главах «Капитала» гениально вскрыл фетишизм товара, показав, что за его маской находится не что иное, как отношения людей на почве общественно-необходимого труда. Мейерхольд, заигноризированный фетишизмом денег, не видит более глубокой экономической подоплеку, которая кроется за этой внешней оболочкой. Деньги в трактовке Мейерхольда играют чуть ли не мистическую роль страшной, темной и всемогущей силы. Они — кумир и бог вселенной. Но, ошибаясь в общей политической концепции, Мейерхольд находит ряд очень интересных и метких штрихов в частном, в характеристике действующих лиц. Крайне остро звучит мотив стяжательства у Кречинского, его неуемная жажда к обогащению. Из мелкого авантюриста, из шулера он превращается, как правильно отмечает Мейерхольд в своей постановочной декларации, в «новый тип человека на фоне все шире и глубже развивавшейся промышленно-сти». Кречинский — конквистадор, рвач

зарождающегося промышленного капитализма. Он прибирает к своим рукам все, что плохо лежит, не гнушаясь никакими средствами в достижении своей цели. В этом же разрезе интересна и сценическая характеристика Муромского и его семьи. Они — эпигоны дворянского разложения и оскудения, жалкие, вырождающиеся последыши того класса, экономическое и политическое господство которого доживает последние дни.

Как бы ни казались спорными и не всегда в достаточной степени обоснованными методы подхода Мейерхольда в трактовке «Свадьбы Кречинского», мы должны признать, что в этой работе ощущаются углубленные поиски им нового содержания и новых форм искусства сценического языка.

«Свадьба Кречинского» — постановка, от начала до конца дискуссионная и экспериментальная. Но она — безусловный шаг вперед на путях выработки правильной методологии в подходе советского театра к проблемам классической драматургии.



Каковы же итоги истекшего сезона московских театров? «Вешние воды» его полнее и бурливее предшествующих лет. Они прорываются буйным потоком в послереволюционных театрах. Они уходят вглубь, порой даже исчезая бесследно, в театрах «академических». Итоги сезона, несмотря на ряд внешних эффективных показателей, не могут быть признаны благополучными в сравнении с темпами развития социалистической стройки и культуры Советского Союза.

Процесс социальной реконструкции театра только еще начинается, и здесь как решающая, генеральная задача выдвигается борьба за четкость мировоззренческих установок в творческом методе, за внедрение метода социалистического реализма как ведущего в создании той драматургии и того театра, которые достойны были бы великой эпохи второй пятилетки — эпохи построения бесклассового социалистического общества.

2. О СОВЕТСКОМ АКТЕРЕ¹⁾

П. Марков

Вместе с предъявляемыми к театру требованиями неизмеримо возрастает значение актера. Оно выходит далеко за пределы шаблонного представления об актере как о послушном передатчике авторского текста, — этот предрассудок еще не изжит в широких массах, видящих лишь результат актерской игры, но не подозревающих огромной предшествующей работы. Как бы мы ни оценивали ведущее значение драматургии, лучшие из наших и будущих пьес останутся мертвыми, если на ряду с верным режиссерским толкованием мы не воспитаем больших актеров социалистической эпохи.

Мы еще недостаточно оцениваем влияние актера на зрителя в глубоком или поверхностном, правильном или искаженном показе людей прошлого и нашей современности. Актер в наших рассуждениях заслонен мыслью автора и изобретательностью режиссера. Еще многим «игра» продолжает казаться легким удовольствием, требующим «божественного дара» и технических навыков. В действительности же богатое внутреннее содержание, изощренное мастерство и упорный труд обращают литературный текст в живой, красочный образ, потрясающий или радующий зрителя. Чем глубже становится драматургия и чем требовательнее зритель, тем содержательнее должно быть мировоззрение актера и тем умнее и тоньше его мастерство.

Каждая эпоха выдвигала актеров, которые становились ее глашатаями и выразителями идей своего класса. Даже бесправное положение актера в прошлом не могло скрыть его могущественного воздействия на зрителя. Сейчас в ряду художников-воспитателей и «создателей душ» актеру принадлежит одно из первых мест. Непосредственно обращаясь к зрителю, с предельной наглядностью и силой создавая перед ним образ, он заставляет зрителя плакать

и смеяться, сочувствовать и ненавидеть. Сценические образы, созданные Ермоловой, Мочаловым, Комиссаржевской, заставляли зрителя задумываться над сложными проблемами своих дней; такие актеры, увлекая и радуя, открывали путь к познанию действительности с точки зрения их класса. Они становились или страстными обличителями, или восторженными защитниками. Более того, они настойчиво заставляли верить в свою поэзию — в поэзию создавшего их класса.

Вне воспитания и создания актеров такого же и большего масштаба наша драматургия будет бледна. Но и теперь многие из пьес молодых и неопытных драматургов получали убедительность и силу от актера, который оживлял недоработанные схемы и принуждал принимать то, что хотели, но не сумели написать авторы. Во избежание споров и недоразумений нужно заранее оговориться, что такая выдающаяся роль актера не противоречит единству режиссерского замысла и не разрушает его, а помогает наиболее глубоко его раскрыть.

Порою появление значительного актерского исполнения равносильно созданию хорошей повести. Большой актер свежим и испытующим взглядом смотрит на действительность. Он по-своему прочитывает текст пьесы, умея находить в нем неожиданные оттенки. Он распознает социальные корни изображаемого лица, он понимает внутренний ход его развития, чего порою самостоятельно, без помощи актера, зритель не увидит. Своими актерскими способами он разverteвывает жизнь героя, — и не сценический паспорт, а большая внутренняя биография встает перед зрителем, и зритель понимает, как складывался человек, понимает его классовую основу, индивидуальные черты и его философскую идею.

Многие из актерских исполнений наших дней, как китаец Синь-Бинь у Кедрова из «Бронепоезда» или Ким-

¹⁾ Печатается в дискуссионном порядке.

баев Ливанова из «Страха», или красноармеец Петров из «Мстислава Удалого», не только восхищали и радовали мастерством, но позволяли за единичными Кимбаевыми видеть сотни и тысячи других таких же Кимбаевых.

В советский театр перешли отличные старые кадры актеров — благородное поколение «стариков» МХАТ, выдающиеся силы Малого театра и других. Вероятно для актера более, чем для какого-либо другого художника, ежедневно соприкасающегося с живой аудиторией, трагичен и безнадежен разрыв со зрителем, который в случае такого разрыва становится глухим к его мастерству и равнодушным к его волнениям. Такой разрыв для актера равен окончательному обвинительному приговору. Итти к новому зрителю толкает не только воля к художественному творчеству и стремление понять современность, но и самозащита.

Не все актеры могли найти новый язык. Он давался с трудом. Приспособленчество быстро разоблачалось. Многие, бросив сцену, замолчали. Те, кто продолжал работать, поняли силу жизненной правды — правды социалистического переворота. Огромный опыт революции постепенно захватил их. В своем большинстве они повторили путь мелкобуржуазной интеллигенции, повернувшейся к пролетариату. Этот путь для многих был субъективно мучителен, объективно — если они хотели оставаться художниками — неизбежен. И те, кто встречаются с этими актерами в жизни или видят на сцене, понимают и знают, как невозвратно и нежеланно для них прошлое.

Но еще более вошло на нашу сцену молодых актеров, воспитавшихся в годы революции. Многие из них участвовали в гражданской войне. Они прошли героические фронты, они знают тяготы блокады, они были свидетелями и участниками социалистической стройки. В их ряды включаются молодые кружковцы; в театральные школах — много рабочих; социальный состав и внутренний облик актерства существенно изменяется. Мы в праве говорить о создании армии советских актеров, на которых

возложена огромная ответственность. Оттого к ним обязательно строгое и благожелательное внимание со стороны общественности.

Мы не можем и не должны забывать — еще раз подчеркиваю — ту огромную силу впечатления, которую оставляет актер в зрителе. Мы не можем забывать, что актер порою соскальзывает на средства легкие и доступные, — и развлекшийся на время зритель вспомнит о легком шутнике, но забудет серьезную тему. Уметь сочетать блеск увлекательного мастерства с богатством внутреннего содержания — не так легко. Дело не в том, чтобы стать любимцами зрителя, и не в нездоровой рекламе, которая обычно окружает далеко не лучших представителей актерства. Дело в том, чтобы творчество актера признавалось как нечто очень значительное и необходимое, — не в плане развлекательства и увеселения, а в смысле значительности его влияния на жизнь. Актеров, которые сумеют стать глашатаями эпохи, обязана знать страна. Актеров, которые сумеют раскрыть образы нашей современности и понять образы классики, нужно изучать. Вопросы актерского мастерства не праздны. Сотни актеров периферии внимательно стремятся разобраться в спорах специалистов, в которых порою больше полемического восторга, чем творческой правды.

Становление нового мирозерцания и изменение актерского облика — налицо. Анахронизмом веет от типа старого актера с его профессиональной хвастливостью и чванливой обывательщиной. Но было бы напрасной самонадеянностью и ненужным лицемерием скрывать, что процесс «перерождения» актера идет часто противоречивыми и мучительными путями, или оптимистически представлять себе, что он закончен. Все, сталкивающиеся с актерами, знают, как болезненно они ищут сценического образа современного человека; как нервно реагируют на то, что на их творчество обращено внимание лишь небольшой группы знатоков; как страстно хотят они разорвать преграды между их профессиональной замкнуто-

стью и живой жизнью, текущей за стенами театра; как пагубно отзываются на них еще неизжитые остатки прошлого с соперничеством вместо соревнования и с апологией «премьерского» индивидуализма.

Речь, следовательно, идет о созревании нового типа актера. В свое время «студийность» приучала участников молодых театров — «студий» — к коллективной ответственности за свой театр и свое искусство. Но, лишённые твердой социальной опоры, студии в большинстве случаев или перерастали в обычные театры, или приобретали черты монастырского, губительного сектанства, не видя ничего дальше своих стен и замыкаясь в постепенно мертвеем искусстве.

Между тем потребность актерства в соприкосновении с жизнью огромна. Если писатели имеют возможность подолгу на местах изучать текущую действительность, если они часто сталкиваются с людьми, творящими социализм, то для актеров эта возможность затруднена. Дневные репетиции и вечерние спектакли принуждают их, по существу, не покидать стен театра. Художники, предназначенные изображать колхозников, инженеров-строителей, пограничников, встречаются с ними редко и случайно. Материал они получают больше от литературы, чем от жизни. Они ищут в ней опоры и часто не находят в ней достаточной пищи. Репетиции современных пьес обращаются в политические уроки. На них воспитывают острые споры, и фантазия актеров дополняет то, что им должны были бы дать живые впечатления и наблюдения.

Выйти за пределы театра стало необходимым условием живого творчества актера, особенно в связи с изменяющимся с каждым годом лицом страны.

Напрасно прибегать к примерам из прошлого. Актеры МХАТ или Малого театра, тесно связанные со своим классом, не встречались с таким богатством самых различных образов, которые они теперь обязаны воплощать, и с новизной человеческих отношений, взглядов и переживаний, которые являются темой их творчества. По существу, от

актера сейчас требуется гораздо большее знание жизни и большая острота анализа. Этого не заменить одной теоретической учебой, как бы важна и существенна она ни была.

Я знаю, какие внутренние сдвиги и какой огромный опыт дали актерам бригадные поездки по колхозам и заводам или гастроли по индустриальным центрам. Нельзя не приветствовать стремительного упорства в овладении теорией: организованы университеты искусств, возникающие в театрах кружки явно свидетельствуют о повышении общего культурного уровня актеров. Но также неверно думать, что одно овладение теорией способно заменить близкое столкновение с жизнью и разрушение профессиональной замкнутости, в которой еще продолжает жить часть нашего актерства. Оно нуждается в живом и образном раскрытии фактов современности. Оно нуждается во встречах и личных общениях, в творческой связи с людьми нашей эпохи. Иначе мы будем попрежнему часто встречать на наших сценах плохо загримированные под современность старые образы.

Играя Бородина, актер решает «слиться с жизнью». Это слияние происходит у него на сцене. Очень часто идет он путем догадок и интуиции, получая поправки от равнодушного или захваченного зрительного зала. Но он хорошо знает, что это — еще паллиативы. Он с жадностью слушает рассказы вернувшихся с Беломорского канала писателей; он внимательно перечитывает воспоминания директора Сталинградского тракторного В. Иванова; он принимает участие в работах по шефству над заводами, ибо он хочет чувствовать себя в одном ряду со строителями социализма, как он чувствует себя в дни удачных спектаклей, когда зрители взволнованы и плачут и когда разбужена их мысль, или в дни своих поездок по Донбассу.

Дело не в банкетах и не в официальных торжествах. К простой и прямой связи зовет изменяющееся мирозерцание актера. Мы имеем уже ряд исполнений, говорящих о резко изменившемся отношении к прошлому, — вспомним

замечательную игру Климова в «Растеряевой улице», Качалова в «Декабристах», Москвина в «Горячем сердце», игру, при всем различии сценических приемов, сатирическую в своем зерне, или ряд образов нашей современности, данных нашей молодежи. Не равнодушный, а страстный, классово-насыщенный актер может стать «рупором эпохи». Речь идет о том, какими путями помочь ему в достаточной мере полно, творчески и животворно почувствовать современность.

Было время, когда все театры клялись в верности «диалектическому материализму». Применительно к театру он понимался формально и упрощенно. Схематизм грозил гибелью актерскому творчеству. Часто вместо убедительных образов зритель видел усеченные облики выдуманных людей. Вместо критического усвоения мастерства прошлого появлялось его голое отрицание. На этих надуманных путях ряд театров, как ТРАМ, пришли к кризису. Борьась с психологизмом, они изгнали психологию вообще. Явившись реакцией на узкий индивидуализм, они обескровили личность. Эти спектакли могли быть занимательными, но они никогда не потрясали; они веселили, но не радовали. Мастерство понималось лишь в смысле внешнем. Между тем при мысли о социалистическом актере возникает представление о наиболее совершенном образе, владеющем не только совершенством техники, но и глубиной мирозерцания, всем своим творческим личным отношением связанным с эпохой, ибо техника — лишь средство выражения внутренней идеи образа.

Вопросы внутреннего насыщения актера первостепенны. Зритель в праве требовательно спросить, что вы хотите сказать со сцены. Мы знаем много актеров, прославленных одной ролью и повторяющих ее вариации в последующих. Неумеренное увлечение технической изощренностью не связывается с внутренним ростом, а фейерверк внешнего мастерства обращается пустотой. Мастерство заключается в том, чтобы наиболее тонкими приемами донести до зрителя свой замысел. И нужно, чтобы

этот личный творческий замысел внутренне совпал с эпохой. Страшнее всего опустошенный актер, глядящий со сцены мертвыми глазами, потерянный копиист своей единственной удачной роли, формальный передатчик слов автора, скучный фотограф мелких наблюдений.

Поэтому пересмотр системы МХАТ как одного из путей к овладению единством внешнего и внутреннего рисунка роли только плодотворен для роста советского актера. Мы уже видели разительный благотворный пример на спектакле «Девушки нашей страны» в ТРАМ или «Матросы из Катарро» в театре ВЦСПС, где режиссеры в той или иной степени при работе с актером опирались на метод МХАТ. Не предвешая дальнейших возможностей в этом направлении, важно отметить возрастающее стремление к углублению образа и к постепенному отходу от внешних способов игры. Но вопрос школ актерского воспитания — вопрос, требующий конкретного анализа творчества актеров.

Обогащение социального и внутреннего опыта актера неразрывно связано с его теоретическим уровнем. Не учитывая творческих особенностей актера, легко превратить репетиции в дискуссионный кабинет. Между тем общественность заинтересована не во «взволнованном докладчике», как когда-то формулировал Соколовский задачи актера, а в большом и глубоком искусстве, раскрывающем образ наших дней.

Собирая богатство своих разрозненных впечатлений, актер объединяет их помощью своего мирозерцания и своего мироощущения. «Теория» поможет ему в них разобраться. Зритель проверит правильность его понимания роли. Горячий, потрясенный, взволнованный участник социалистической стройки со сцены рассказывает своими образами о прошлом и настоящем, — он раскрывает смешное и страшное, радостное и торжественное, он открывает катастрофы прошлого и творчество настоящего. Так он на деле становится «делателем душ». И о наших «создателях душ» стоит говорить и думать.

3. ПИСЬМА ГЕЙНЕ

Редакция и комментарий *Евг. Книпович*

Перевод *Е. Закс*

Печатаемые ниже письма взяты из избранной переписки Г. Гейне, которая готовится из вом «Академия», и на русском языке публикуются впервые. Они относятся к различным периодам немецкой и французской жизни Гейне. В них отражены и националистические стремления тех лет, когда Гейне работал в «Союзе культуры и науки еврейского народа» (в Берлине), и отзвуки его

единственной личной встречи с Гете, и полемика с графом Платеном, и отношения с «Молодой Германией», и война с радикалами после выхода книги «Людвиг Берне», и кратковременная дружба с Лассалем, который был представителем его интересов в знаменитом «споре о наследстве».

Е. К.

Иммануэлю Вольфу

Берлин, 1 апреля 1823 г.

Волку, прозванному Вольвилем!

Не думай, любезнейший, что в запоздании моего письма повинно охлаждение моей к тебе дружбы; нет, правда, нет. Хотя в эту суровую зиму некоторые дружбы и позамерзали, твой милый, толстый образ не ускользнул сквозь узкие врата моего сердца, и имя Вольфа, или, лучше сказать, Вольвиля, тепло и живо вьется в моей памяти. Еще вчера мы — под «мы» ты должен всегда подразумевать меня и Мозера — проговорили о тебе полтора часа. Прямо удивительно, какое внешнее сходство существует между тобой и господином Ханг-Хох — одним из двух китайских ученых, которых за шесть грошей можно увидеть на Бернштрассе. Ганс находит, что они оба очень интересны. В новой его книге ты найдешь по поводу китайского наследственного права следующую цитату: «Смотри китайцев на Бернштрассе, № 65, так же, как мои нанковые панталоны, и ср. с ними Теу-цинг-веули, том. X, глава 8». Правда, здесь утверждают, что два эти китайца есть перодеотые австрийцы, подсланные Меттернихом, чтобы погубить нашу конституцию... Цунц китайцев еще не видал. Он мне очень нравится, и мне до боли обидно, когда я вижу, как этого прекрасного человека недосценивают из-за его грубой, отгалкивающей внешности. Я много жду от его проповедей, которые должны вскоре выйти; конечно они не будут назидательно сладким пластырем для души; однако они представляют собой нечто гораздо лучшее;

они пробудят силы. Последней как-раз и нехватает Израилью. Несколько мольных операторов (Фридлиндер и компания) попробовали при помощи кровопускания излечить тело юдаизма от роковых нарывов, разедающих его кожу. Из-за их невежества и паутинно тонких бинтов здравого смысла Израиль должен истекать кровью! Скоро ли исчезнет ослепление, — суть которого в том, что самое прекрасное заключается в беспаметстве, в бессилии, в одиобком отречении, в идеалистическом ауэрбахянстве. Мы не в состоянии больше носить бороду, ненавидеть и из-за ненависти терпеть: в этом причина нашей реформации. Те из нас, кто получает образование и просвещается у комедиантов, хотят дать еврейству новые декорации и кулисы, суфлеру вместо бороды нацепляют белые брыжи, они океан хотят влить в хоршенький бассейн из папье-маше, а на Геркулеса с Вильгельмовой горы в Касселе хотят напялить коричневую курточку маленького Маркуса. Другим хочется уютенького евангельского христианства под иудейской фирмой. Они шьют себе талес из шерсти агнца божьего, фуфайку из перьев святого духа и кальсоны из христианской любви и банкротятся, а потомство записывает: «Господь бог, христос и К^о». К общему благу, эта фирма недолго просуществует, ее вексель на философию будет опротестован, и она обанкротится в Европе, даже если миссии, организованные ее миссионерами в Африке и Азии, еще продержатся несколько столетий.

Конечная гибель христианства становится для меня яснее с каждым днем.

Слишком долго жила эта гнилая идея. Я называю христианство идеей... но какой! Бывают грязные семейства идей, которые гнездятся в щелях этого старого мира, этого покинутого ложа божественного духа, подобно тому, как семьи клопов гнездятся в кровати польского еврея. Если раздавить одну из этих клопо-идей, она распространит вонь, которую будешь чувствовать тысячелетия.

Так христианство, раздавленное еще 18 веков тому назад, с тех пор все еще зачумляет воздух нам, бедным евреям. — [Зачеркнуто].

Прости мне эту горечь; тебя не коснулся удар отмены эдикта. Все это я говорю не так серьезно, даже и прежде. И у меня тоже нет сил носить бороду, чтобы мне вдогонку кричали «жид», поститься etc. У меня даже нет сил как следует есть мацу. Я живу сейчас у еврея (напротив Мозера и Ганса) и получаю вместо хлеба мацу и ломаю себе о нее зубы. Но я утешаю себя и думаю — мы ведь в *gohles'e*. Мои нападки на Фридендера тоже не так уж злы. Я недавно еще ел у него прекрасный пудинг, он живет совсем *vis à vis* от меня, а сейчас он стоит у окна и чинит перо, и будет сейчас писать Элизе фон-дер Реке, и на его лице уже можно прочесть: «Благородная дама, право же, я не так невыносим, как говорит профессор Фойгт, потому что...»

Берлин, 7 апреля 1823 г

Прошло восемь дней, как меня превали, и я уже забыл о письме; тем временем я получил твое письмо от 1 апреля! Мы пишем друг другу к «первому апреля»! И я еще кое-что припишу, несмотря на боль, которая, словно горячий свинец, льется мне в голову и наполняет меня острой, невыносимой горечью.

Меня радует, что тебе начинают нравиться обаяния прелестной Гаммонии. Мне красавица эта опротивела. Меня не обманет ее шитое золотом платье, я знаю, что она носит под ним грязную сорочку на желтом теле и, тая в любовных вздохах: «Говядина! Вапко!», склоняется на грудь того, кто больше даст.

Однако, бывает два сорта говядины: сырая и вареная. Последняя хуже всего, потому что она лишена соков и силы; это — просвещенная говядина. —

— Но, может быть, я и несправедлив к доброму городу Гамбургу; то настроение, которое мною владело, когда я там некоторое время жил, не способствовало тому, чтобы я стал беспристрастным судьей; моя внутренняя жизнь была жгучим нисхождением в мрачный, озаренный лишь огнем фантастики, рудник сновидений, моя внешняя жизнь была безумна, пуста, цинична, отвратительна; одним словом, я сделал ее острейшей противоположностью внутренней жизни для того, чтобы последняя не раздавила меня своей тяжестью. Да, *amice*, счастье мое, что я вступил в круг общественной жизни прямо из философской аудитории и смог философски конструировать и объективно оценивать свою жизнь, хотя мне и нехватало того высшего спокойствия и той рассудительности, которые необходимы для ясного понимания всех жизненных путей. Не знаю, понял ли ты меня? Если когда-нибудь ты прочтешь мои мемуары и найдешь в них описания гамбургской шайки, из которой я кое-кого люблю, большую часть ненавижу и еще большую — презираю, тогда ты поймешь меня лучше. Пока-что пусть все сказанное будет только ответом на некоторые вопросы твоего милого письма и объяснением того, почему я не могу исполнить твоего желания и приехать этой весной в Гамбург, хотя и буду находиться только на расстоянии нескольких миль от него. Через месяц я еду в Люнебург, где живет моя семья, останусь там неделю на шесть, а потом поеду на Рейн и, если только будет возможно, в Париж. Мой дядя дал мне еще два года на занятия, и у меня нет надобности, согласно прежнему своему плану, добиваться профессуры в Сарматии. Думаю, что вскоре многое изменится, и я без затруднений смогу обосноваться на Рейне. Если это не выйдет, то я натурализуюсь во Франции, где буду писать на французском языке и прокладывать себе дипломатическую дорогу. Главное — это восстановление здоровья, без кото-

рого все мои планы просто глупость. Послал бы мне бог только здоровья, об остальном я позабочусь сам. Врач обнадеживает, что путешествие, особенно пешком, должно восстановить мои силы. Души я прекратил, они мне ничуть не помогли и стоили нечеловеческих денег. Кроме того, я должен избежать умственного напряжения, и этой зимой я почти только и делал, что изучал несемитическую часть Азии, читал немного Шеллинга и Гегеля, перелистывал хроники и наслаждался чистой красотой, веявшей на меня из произведений греков. *Sempiterna solatia generes humani* — зовет ее старый Вольф. Для общества я был непригоден, писал я мало, мои исторические занятия выиграли от этого еще меньше, и меньше всего — мое «Историческое государственное право немецкого средневековья». Последнее было этим летом почти готово к печати, но большое количество новых идей, почерпнутых мною из изучения Азии, пример того, как Ганс работает над своим наследственным правом, а особенно философские поощрения Мозера, привели к тому, что большую часть своей книги я предал огню и буду писать все сызнова в Париже на французском языке. — Очень благородно с твоей стороны, что моя статья о Польше тебе понравилась. Мое острое восприятие Польши вызвало со всех сторон много похвал, только я один не могу к этим хвалам присоединиться. Этой зимой, да и сейчас еще, я находился в слишком жалком состоянии, чтобы создать что-нибудь хорошее. Эта статья взбудоражила все великое герцогство Познанское. В познанских газетах написано, то-есть наругано, в три раза больше, чем весь объем статьи, особенно тамошними немцами, которые не могут мне простить, что я так верно изобразил их, а евреев возвел в *tiers état* Польши. — Мои стихи все еще служат предметом внимания в Вестфалии и на Рейне, и я слышу о них много хорошего. Но как ты можешь считать достойной внимания болтовню Лейпцигской и Литературной газет? Это самое поверхностное и незначительное из всего того, что обо мне говорилось. На-

днях я пришлю тебе свои «Трагедии». Я посвятил их моему дяде Соломону Гейне. Видел ли ты его? Он один из тех людей, которых я особенно уважаю. Он благороден и обладает природной силой. Ты знаешь, последнее для меня самое важное.

— Видел ли ты здесь мою сестру? Она славная девушка. Много ли ты бываешь среди женщин? Будь осторожен, гамбургские уроженки красивы. Но тебя это не трогает, ты тихий, аккуратный, уравновешенный человек, а если ты иногда и тылаешь, то лишь для всего человечества. У меня это по-иному. Ты также имеешь счастье быть человеком моральным и рассуждаешь, делаешь этические наблюдения, и ты доволен, и ты честен, и ты добр, и потому, что ты такой хороший малый, я и написал тебе такое длинное письмо.

Г. Гейне.

И.-В. ф.-Гете

Ваше превосходительство!

Прошу о счастья предстать перед Вами на несколько мгновений. Я не буду докучать Вам. Я только поцелую Вашу руку и уйду. Меня зовут Г. Гейне, я родился на Рейне, с недавних пор живу в Геттингене, до этого несколько лет я прожил в Берлине, где встречался со многими Вашими старыми знакомыми и почитателями (покойным Вольфом, Фарнгагеном etc.), и с каждым днем все сильнее любил Вас. Я тоже поэт и три года назад я имел смелость послать Вам свои стихогворения, а полтора года назад — «Трагедии» с лирическим интермеццо («Ратклиф» и «Альманзор»). Кроме того, я болен, и поэтому предпринял трехнедельное путешествие по Гарцу, и на Брокене меня охватило желание совершить паломничество в Веймар во славу Гете. Я пришел сюда именно как паломник в точном смысле слова, — пешком, в запыленной одежде, — и жду исполнения моей просьбы и остаюсь

с обожанием и преданностью
Г. Гейне.

Веймар, 1 октября 1824 г.

Христиани

Геттинген, 26 мая 1825 г.

Дорогой Христиани.

Если во всем христианском мире существует человек, имеющий основания быть мною недовольным, то это доктор Христиани из Люнебурга. Что Вам еще нужно, кроме этого откровенного признания?.. Раскройте свод законов и назначьте мне наказание. Оно ведь не будет слишком суровым. Во-первых, я знаю, что все еще нахожусь у Вас в большой милости, во-вторых, Вы знаете, или, вернее, чувство собственного достоинства подсказывает Вам, что я достаточно часто о Вас думаю, что вообще писание писем совсем особая статья и что часто полудрузья или даже мнимые друзья пишут друг другу ежедневно, а истинные — только изредка. Иногда даже и совсем не пишут. О последнем можно было бы сочинить большую и чрезвычайно прискорбную диссертацию.

Однако извинением мне служит не все выпреведенное, а только мое физическое состояние и его влияние на мое настроение. Я болел всю зиму, а теперь страдаю постепенным выздоровлением.

Прошлым летом здоровье мое тоже было не слишком блестящим, и, кроме того, на мне тяжелым грузом лежали пандекты. Моим отдыхом были холодные ванны, изучение хроник, Шекспир, «Сад» Ульриха и кое-какая собственная литературная пачкотня. Правда, она была очень незначительна, — обработка части мемуаров, начало романа и несколько маленьких, гавкающих, коварных стихотворений. Осенью я пешком путешествовал по Гарцу, исколесил его вдоль и поперек, посетил Брокен, а на обратном пути через Веймар — и Гете. Путешествовал я через Эйсleben, Галле, Иену, Веймар, Эрфурт, Готу, Эйзенах и Кассель, а оттуда двинулся обратно. Много прекрасного видел я по пути. Долины Бодэ и Зельке останутся для меня незабвенными. Если я буду умело хозяйничать, то всю жизнь смогу украшать свои стихи деревьями Гарца.

Вид Гете испугал меня до глубины души: желтоватое, мумиеобразное лицо, испуганно шевелящийся беззубый рот, вся фигура его — образ человеческой дряхлости. Может быть, это следствие его последней болезни. Только глаза его были ясны и блестели. Этот взор — единственная достопримечательность, которой теперь обладает Веймар. Меня тронуло глубоко человеческое беспокойство Гете о моем здоровье. Покойный Вольф ему об этом говорил. Я по многим чертам узнал того Гете, для которого жизнь, ее украшение и сохранение, да и вообще все чисто практическое является самым важным. Тогда впервые я совершенно ясно почувствовал, как эта натура противоположна моей собственной, для которой все практическое противно, которая, в сущности, мало ценит жизнь и которая могла бы упрямо отдать ее за идею. Внутренний разлад мой в том и состоит, что мой рассудок находится в непрерывной войне с моей врожденной склонностью к энтузиазму. Теперь я совершенно точно знаю, почему гетевские произведения всегда меня в глубине души отталкивали, как ни ценил я их в чисто поэтическом отношении, хотя мой обычный взгляд на жизнь почти совпадал с гетевскими воззрениями. Итак, я нахожусь в состоянии настоящей войны с Гете и его произведениями так же, как взгляд мой на жизнь воюет с моими врожденными склонностями и тайными движениями души. — Но не тревожьтесь, милый Христиани, война эта внешне никогда не проявится, и я всегда буду принадлежать к гетевскому отряду, и все, что я впредь напишу, всегда будет возникать на почве художнического благоразумия, а не бешеного энтузиазма.

Так миру ты всему рекомендован.

Я повторять не стану остального.

Занятно, что повсюду, даже в Люнебургской степи, я попадаю к потомственным гетеанцам. К ним принадлежит и Сарториус с женой, в просторечьи называемой одаренным существом, с которыми я здесь преимущественно общаюсь. Я привез им привет от Гете,

и с этих пор я им мил вдвойне. Гетеанцы встречаются даже среди студентов.

В Касселе я был несколько раз, разыскал там Штраубе и Гакстхаузена. Последнего — только прошлой осенью, на обратном пути с Гарца, — «Сова сидела и прядла». Мы очень много говорили о Вас и старых волшебных временах. Гакстхаузен совершенно прокис, он стал сельским помещиком, одет ультрамодно, и, как мне кажется, я ему не понравился. Он был со своей сестрой, или, вернее, сказать, госпожей сестрой, в гостях в Касселе.

Штраубе — прокуратор гессенского курфюршества, женат и тоже прокис. С прошлого лета мы много раз виделись по целым суткам. Мы очень радуемся, смотря друг на друга, вспоминая о старых временах и болтая об общих друзьях. Он очень хорошо к Вам относится, милый Христиани, и я должен был много ему о Вас рассказать. И все-таки он прокис; побег, обещавшие когда-то так много, задавлены кипами актов и ленью, а то милое, что в нем еще шевелится в счастливые минуты, пожирает огромная женщина, которой он себя нагрузил и которая в своем белом платье имеет сходство скорее с конем бледным из апокалипсиса, чем с музами Геликона.

Мной и моей поэтической продукцией Штраубе чрезвычайно доволен. И даже — о, чудо! — он теперь в восторге от «Альманзора».

Свое «Путешествие на Гарц» я, как Вам известно, уже написал в начале этой зимы. Но, к сожалению, я едва мог довести его до половины, потому что тогда, как и всю зиму, я чувствовал себя чрезвычайно плохо. Когда я подумаю о том, в какое грустное время написан этот путевой отрывок, я начинаю сомневаться, вышло ли из него что-нибудь путное. Я послал его в Южную Германию, и, если он не опоздал, то Вы увидите его напечатанным в «Reinbluthen». По совести, я очень беспокоюсь о том, как он Вам понравится, и в глубине души желал бы, чтобы этот опус никогда не попадался Вам на глаза. Вы найдете в нем много старых остроумий, пестро перемешанных с

плохими новыми, небрежную, нехудожественную прозу, беспомощное изображение природы, неудавшийся энтузиазм. Но одно я за собой оставляю — стихи в нем божественны.

Этой зимой, дорогой Христиани, я страдал ужасно. Мне было очень плохо. До отчаяния. Я жил среди болей и мидицины. Теперь мне лучше, но я все еще очень болен, страшно утомлен страданиями этой зимы, это — причина того, что я все еще не могу двинуться отсюда. Не говорите об этом моим родителям. Несмотря на скверные времена, я все-таки много сделал, преимущественно в области юриспруденции, так что 3 мая рискнул держать экзамен при деканате Гуго. Все сошло прекрасно, и теперь у меня одним камнем на душе меньше. Этот камень, заставлявший меня вечно зубрить, и болезнь мешали мне написать Вам. Ну, теперь я оправдался перед Вами.

Через шесть недель я получу ученую степень, а затем серьезно подумаю о приезде в Люнебург.

Мне очень больно, что я не могу использовать пребывание там моей сестры. — Из Берлина ко мне долетает очень много заманчивых звуков. Вероятно, они снова привлекут меня туда.

Кланяйтесь от меня Шпитта, если он еще в Люне. Он — человек, в котором есть поэзия, и я его уважаю. Вопрос теперь только в том, что из него выйдет? Однако, я думаю, что в нем сидит что-то более значительное, чем весенняя песенка, насвистанная на мальчишеской свирели. Что касается его безносого друга Петерса [рисунок: голова без носа с очень длинными ушами], то я должен был бы как следует помистифицировать Вас, дорогой Христиани, но для этого я слишком люблю Вас. Поэтому признаюсь Вам честно, что это один из забавнейших болванов нашего времени. Я сохранил его для своего и друзей своих развлечения. Это настоящий осел, играющий на лютне. Но с каким чувством собственного достоинства и с какими претензиями! То, что его песенки, — правда, не обладающие особой долговечностью, — все же не совсем плохи, лишь придает шутке ее

настоящий вкус. Он в высшей степени кичлив, надут от сознания своей поэтической значимости, страшно беспомощен и при этом играет в отчаянного демагога, любовно слащав, и при этом рационалистически благоразумен, вечно живет в цветах и цветении и воняет при этом, как пудель какого-нибудь курляндца. Он заслуживает того, чтобы я постоянно его мистифицировал: так, сегодня я хвалю его стихи и привожу его в восхищение, а завтра оскорбляю в нем немецкого патриота и всячески треплю его изношенную, мелкую мораль.

Прошлой зимой было божественное развлечение, когда на вечеринке у меня, приглашенный только наполовину, он читал дюжине почти незнакомых людей свои стихи и вызвал самый бешеный, неудержимый смех, самую бешеную критику и еще более бешеные замечания. Разумеется, он ничего не заметил, довольный собой и тем, что ему представляется возможность читать, уверенный в себе и в том, что он пропагандирует свои взгляды как искусство. Его тщеславие заходит так далеко, что, как он мне серьезно рассказывал, он был во сне у Гете и имел удовольствие слышать, как Гете с энтузиазмом хвалил его стихи.

— То, что он написал обо мне в «Gesellschafter», веселит меня страшно, хотя некоторые и думают, что я должен был бы быть глубоко задет. Все же, если говорить правду, парень заслуживает хорошей порки. Но я не хочу об этом больше говорить, — уж если таким людям, как Христиани, не противно от такой болтовни, что же мне говорить? — — Будьте здоровы, старый колдун. Дайте как-нибудь знать о себе, напечатайте что-нибудь поскорее, чтобы дать пищу критической деятельности Петерсов и чтобы я мог от всей души над этим посмеяться. Правда, скажите, издаете Вы что-нибудь? И не могу ли я чем-нибудь помочь для ускорения печатания? Вы можете совершенно мною располагать. — — Бумага кончается, и я могу еще только сказать, что я люблю Вас.

Г. Гейне.

Моисею Мозеру

Геттинген, 1 июля 1825 г

Милый Мозер.

Письмо твое от 11-го числа прошлого месяца я получил. С радостью вижу по его тону, что у тебя хорошее настроение. Я живу средне. Голова моя постепенно выздоравливает, и я делаю все, что для этого нужно. Я снял себе домик в саду и гуляю по вечерам среди розовых кустов, а по утрам в $\frac{3}{4}$ 6-го меня будят соловьи. Конечно лучше, когда это делают соловьи, чем чистильщики сапог. Затем я работаю, так напряженно, как только возможно, над юриспруденцией, историей, «Рабби» и т. д. Последний движется медленно, каждая строчка отбивается, но все же что-то неумоимо толкает меня вперед, так как я понимаю, что только я могу написать эту книгу и что создание ее есть нужное и богоугодное дело. Здесь я обрываю, так как эта тема легко может привести меня к самовлюбленному прославлению величия собственной души.

Цунц уже раз писал мне через тебя, где находилась лучшая школа испанских евреев в XV столетии, — именно в Толедо, но я хотел бы знать, относится ли это и к концу XV века? Он назвал мне также Севилью и Гренаду, но, мне кажется, я читал у Баснажа, что они уже раньше были изгнаны из Гренады. Как я тебе уже писал, я хотел бы узнать об Абарбанелах то, чего я не смог почерпнуть из христианских источников. Вольф цитирует их в своей библиотеке. Багль скуден. Шудт тоже нахватал чего попало. Бартолоччи я еще не читал. Мало, до странности мало пишут испанские историки о евреях. Вообще, здесь тьма египетская.

К концу этого года я думаю закончить «Рабби». Это будет книга, которую Цунцы всех веков назовут историком. — — Повторяю еще раз, что ты можешь не торопиться с чтением моего «Путешествия на Гарц». Я написал его из денежных и тому подобных соображений. Может быть, тебя позабавит некролог Саулу Ашеру, который ты в нем найдешь. Я напишу в ближайшее время в Карлсруэ, чтобы большое

количество «Reinblüthen», в которых напечатано мое «Путешествие на Гарц», и гонорар за него перевели по твоему адресу в Берлин. У меня величайшие денежные затруднения, а по легко понятным политическим причинам я не могу требовать от дяди новых сумм, покада не представлю ему своего докторского диплома. Если ты сможешь, дорогой Мозер, одолжить мне немедленно 10 луддоров, то этим окажешь мне величайшую дружескую услугу. Из тех денег, которые ты вместо меня получишь из Карлсруэ и которых почти вдвое больше этой суммы, ты сможешь покрыть мой долг через два-три месяца. Это будет мне чрезвычайно удобно. Кроме того, за уплату я ручаюсь тебе своим честным словом и поручился бы еще большим, если бы не знал, что обижаю тебя недоверием к твоему доверию. Все же признаюсь, хотя мне известно, что ты слишком хорошо знаешь себя и меня, чтобы не знать, что ты не рискуешь, одалживая мне деньги, и, хотя мне известно также, что ты охотно окажешь мне помощь, все же я с удовольствием занял бы у кого-нибудь другого, если бы не был сейчас так расстроен, одинок и подавлен. По этой причине я прошу тебя как можно скорее прислать мне 10 луддоров. Лучше всего, по-моему, ценным письмом.

Когда я буду писать дяде, я выпрошу денег и для поездки на купанья, и если эта просьба будет уважена, то я приеду в Берлин раньше, чем думал.

Ты ничего не потерял от того, что я не написал тебе о Гете и о том, как мы говорили с ним в Веймаре, о том, как он наговорил мне много приветливых и любезных слов. Он лишь оболочка, в которой некогда цвело прекрасное. И только это меня в нем и интересовало. Он возбудил во мне чувства жалости, и он стал мне милее с тех пор, как я пожалел его. Но в основе мы с Гете — натуры, которые должны взаимно отталкиваться в своей противоположности. Он по природе своей легкий, жизнерадостный человек, для которого самое высшее — это наслаждение жизнью и который, правда, иногда чувствует жизнь идею и в идее, представляет ее

и выражает в стихах, но никогда не понимает ее глубоко и уж, конечно, не живет ею. Я, напротив, в основе своей энтузиаст, то-есть я предан идее до самопожертвования и всегда стремлюсь погрузиться в нее. Но в то же время я понимаю и наслаждение жизнью, я нахожу в нем удовольствие, и тогда во мне возникает великий бой между моим ясным сознанием, которое ценит жизненные блага и отмечает как глупость все жертвенное воодушевление, и энтузиастическими склонностями, которые зачастую внезапно вырываются и охватывают меня с отчаянной силой и когда-нибудь вновь низведут или, лучше сказать, вознесут в свое древнее царство. Ведь еще большой вопрос — не живет ли энтузиаст, когда он отдает за идею даже жизнь свою, полнее и счастливее в этот единственный миг, чем господин фон-Гете во всю свою семидесятилетнюю эгоистически-удобную жизнь. Но в другой раз подробнее об этом. Сегодня у меня голова совсем не работает от бесконечной усталости. Да, эту тему ты найдешь и в «Рабби».

Сафир, о котором ты говоришь, кажется, еще очень неотшлифован. Я недавно читал одну его безделку в «Gesellschafter». Острота, взятая сама по себе, вообще не имеет ценности. Острота выносима только тогда, когда она покоится на серьезной основе. Поэтому так потрясают остроты Берне, Жан Поля и шута в «Лире». Обычная острота есть просто умственное чихание, охотничья собака, которая гонится за собственной тенью, обезьяна в красной куртке, гримасничающая между двумя зеркалами, ублюдок, зачатый среди улицы, на ходу, безумием и разумом. —

Нет. Я выразился бы еще ядовитей, если бы не вспомнил, что мы сами по временам опускаемся до острот. — Ты найдешь здесь стихотворение из моего «Путешествия на Гарц». Я прошу тебя не показывать его никому из наших друзей, даже твоему брату. У меня есть серьезные основания для такого запрета.

Во всяком случае жду от тебя письма. Мой адрес: Г. Г., студ. из Д...

живет в саду ректорши Зейферт у
Албанских ворот.

Твой друг
Г. Гейне.

Фарнгагену фон-Энзе

Гамбург, 4 января 1830 г.
[ошибочно февраль]

Сегодня, милые друзья, я пишу вам о важном, о самом важном из всего, что меня сейчас волнует, а именно я благодарю вас за ваше последнее письмо. Ваше молчание меня уже очень беспокоило, и я чувствовал, что оно может причинить мне больше горя, чем вопли всех врагов, которые словно поклялись сейчас выступить против меня соединенными силами. Конечно меня не обманет ярость этих врагов так же, как не обманывают доброта и великодушие моих друзей. Да, милый Фарнгаген, я глубоко чувствую, что вы из благородства не укоряете меня сейчас и не произносите смертного приговора моей последней книге. Благодарю за это; я никогда этого не забуду. Никто не чувствует глубже меня самого, что я бесконечно повредил себе главой о Платене, что я должен был иначе взяться за дело, что я оскорбил общество, и как-раз лучшую его часть, но все же я сознаю, что при всем своем таланте я не мог сделать ничего лучшего и что все-таки — *soûte que soute* — я должен был показать пример. Национальное раболепство и апатичность немцев в данном случае проявились блестяще. Не знаю даже, удалось ли мне достичь слово граф его волшебной силы. Возникает вопрос об удовлетворении. Вы помните, что с самого начала я уже думал об этом; из предусмотрительности я так взбесил его заранее, что графу гораздо важнее получить удовлетворение от меня, чем мне от него. Сила обстоятельств на этот раз обратится в комедию. И снова обвинение: я совершил нечто невиданное в немецкой литературе — как будто бы времена еще все те же! Ведь шиллеро-гетевская война Ксений была картофельной войной, это был период искусства, дело шло о призрак жизни — искусстве, — а не о самой жи-

зни, — теперь дело идет о высших интересах самой жизни, революция врывается в литературу, и война становится серьезнее. Может быть, кроме Фосса, я единственный представитель этой революции в литературе, но явление это было необходимо во всех смыслах. Не думаю, что здесь у меня будет столько же последователей, сколько их есть у моих песенок, ведь немец раболепен по своей природе и дело народа никогда не было популярным делом в Германии. Однако ничего нельзя тут предсказать заранее, — пусть каждый делает что может. Конечно всякий думает, что он действует только за себя, в то время как в действительности является лишь представителем общего. — Говорю это, потому что в платеновской истории я не претендую ни на какой венец гражданственности, я заботился прежде всего о себе, но причины этой заботы породила общественная война современности. Вначале, когда на меня набросились мюнхенские попы и первые обозвали меня жидом, я смеялся, — я считал это простой глупостью. Но когда я почуял систему, когда я увидел, как смехотворный призрак постепенно становится грозным вампиром, когда я разглядел цель платеновской сатиры, когда я узнал от книготорговцев о существовании подобной ей рукописной продукции, пропитанной тем же ядом и расползающейся повсюду, — тогда я препоясал чресла и ударил со всей силой, со всей быстротой. Роберт, Ганс, Михаил Бер и другие всегда христиански терпели и умно молчали, когда на них нападали так же, как на меня. Я не таков — и это хорошо. Хорошо, когда негодяи нарываються наконец на настоящего человека, который беспощадно и жестоко воздает за себя и за других. Довольно об этом, — то, что Вы и г-жи фон-Ф. больны или по крайней мере нездоровы, очень меня печалит. Мое здоровье тоже в плохом состоянии, и еще не знаю, когда я смогу приехать в Берлин. Для моей книги это вероятно было бы полезно; все здешние бульварные газеты порочат мое доброе имя, от иногородних газет следует ждать того же, и, может быть, некоторые берлинские

друзья, если бы я лично попросил их об этом, предприняли бы что-нибудь в защиту моей чести. К сожалению, общественное мнение зависит от прессы больше, чем думают. Ваше намерение кое-что для меня сделать — это больше, чем я смел ожидать, — знаю, что и в здоровом состоянии вам невесело было бы писать о столь темном деле. Выйти на поле брани является священнейшим долгом Ганса; прошу Вас обязать его к этому от моего имени. Пусть он серьезно исполнит теперь свое обещание и немедленно устроит, чтобы мою книгу прорецензировали в журналах, иначе я отрублю ему уши, и он не сможет больше — самое страшное наказание для него — слышать самого себя. Но все это ся должен сделать поскорей. Я советую ему также заставить редакторов правительственной газеты дать заметку о появлении моей книги (qua появлении). Ее политическая тенденция конечно не понравится. Я написал бы Гансу сам, если бы не знал его таланта компрометировать.

На-днях я получил книжечку под названием «Erato» Франца барона фон-Гауди, Глогау у Геймана 1829 г. Славные песни в моей лаконичной манере, и автор посвятил их мне. Особенно хорошо удалась ему в этой манере несколько нидерландских и старофранцузских картин. Во время моих путешествий я увидел, что этой манере подражают еще больше, чем мы думаем, хотя и печатные ее следы очень часто встречаются в различных стихотворных сборниках. *Madame votre épouse* — виновница всей этой беды: когда я представил ей первые опыты в этой манере, она не только не положила немедленно строгого запрета на мое производство, но даже поощрила меня к усовершенствованию этой формы. Развитие этой стихотворной формы было необходимым и, может быть, полезным явлением, хотя долго продержаться она не может. Я целую руки г-же Фарнгаген и уверяю ее, что страх, который мне внушила ее болезнь прошлой зимой, еще не покинул меня. Надеюсь вскоре увидеть вас обоих. Кланяйтесь Роберту. Последнее письмо м-ме Роберт преисполнило меня забот.

Его тон так набожен, так молитвенно-набожен. Ради бога! Она ведь не поскользнулась во время этой скверной гололедицы и не нанесла ущерба своей красоте. Если бы я был уверен, что она готова упасть в объятия господина бога, я тотчас же постарался бы с нею порвать; что бы стало иначе с моим гепотее?

От Вашей сестры вы, наверное, получили письмецо; через меня она предсказывает Вам очень длинное письмо. Ее дети и д-р Ассинг чувствуют себя прекрасно. Итак, будьте здоровы, и если время и настроение позволят вам, то напишите мне поскорее и побольше. В Ваших письмах всегда есть что-то бодрящее, возвышающее и укрепляющее желания. Сейчас я нуждаюсь в этой духовной поддержке больше, чем когда бы то ни было. Остаюсь дружески преданный

Г. Гейне.

Фарнгагену фон-Энзе

Дорогие друзья!

La force des choses! Сила обстоятельств. Правда, не я довел дела до крайности, а дела довели меня до крайности, до края мира, до Парижа, — и вчера утром я стоял даже на краю этого края, на Пантеоне. «*Aux grands hommes la patrie reconaissante!*» Так, кажется, гласит золотая надпись. Что за издевательство! Маленькие людишки воздвигают храмы великим людям после их смерти. — Лучше бы сделали такую надпись на ресторане *Verys* и хорошенько кормили великих людей при жизни, чем воздавать им почести после их гибели от голода и других лишений. Но *Verys* — это пантеон живых маленьких людей, здесь они сидят, пьют, едят и сочиняют иронические надписи.

У бедного Лафонтена, в *Chateau Thierry*, его родном городе, есть мраморная колонна, стоимостью примерно в 40.000 фр. Я расхотался, увидев ее проездом. При жизни бедняга нуждался в куске хлеба, а после смерти ему дают на 40.000 фр. мрамора. Жан-Жаку Руссо и тем, которые, подобно ему, при жизни с трудом добивались даже ман-

сарды, теперь преподносят целые улицы. — Сегодня я буду писать Вам сплошную ерунду; если я напишу Вам что-нибудь осмысленное, а письмо попадет в ненадлежащие руки, то оно скомпрометирует Вас. Поэтому я вообще не буду Вам больше писать. Если когда-нибудь Вам понадобится что-нибудь мне сообщить, то пишите на адрес m-me Валентэн или Мориса Шлезингера. Можно писать мне и на адрес д-ра Дондорфа, à l'hôtel d'Hollande, rue Neuve des Bons Enfants à Paris. Это мой главный и самый верный адрес, потому что с ним можно не бояться прусски-королевски-почтово-чиновничьей нескромности. Я окружен прусскими шпионами; но, хотя я держусь в стороне от политических интриг, они боятся меня больше всех остальных. Конечно они знают, что если объявить мне войну, то я буду бить и бить изо всей силы. Увы, полгода тому назад я все предвидел, и я охотно ограничился бы одной поэзией, а военное ремесло предоставил бы другим, но этого не удалось сделать. La force des choses доводит нас до крайности!

Во Франкфурте я пробыл неделю, говорил с многими конгрегационистами и открыл источник некоторых собственных бед, которые до сих пор были для меня непонятны.

В Гамбурге я под-конец вел безрадостную жизнь, я не чувствовал себя в безопасности, и так как поездка в Париж уже давно грезилась моей душе, то я легко согласился на нее, когда некая могущественная рука заботливо поманила меня туда. Однако: легко бежать, если не тащишь родины на своих подошвах! Я с болью пародирую Дантона. Больно гулять по Люксембургу и повсюду тащить за собою на подошвах кусок Гамбурга, кусок Пруссии или Баварии.

Вероятно я останусь здесь еще на месяц, потом отправлюсь на купанья в Булонь, а затем вернусь обратно; надолго ли? Мне не будет здесь хуже, чем на родине, где меня ничего не ждет, кроме борьбы и нужды, где я не могу спать спокойно, где мне отравлены все источники существования. Здесь я ко-

нечно захлебываюсь в водовороте событий, волнениях современности, подземном гуле революции; кроме того, я теперь состою из одного фосфора и, утопая в бушующем человеческом море, я сгораю от собственной своей сущности.

Будьте здоровы и благополучны, не забывайте меня.

Меня гнетут мрачные предчувствия.

Г. Гейне.

Париж, 27 июня 1831 г.

Генриху Лаубе

Париж, 10 июля 1833 г.

Старый друг!

Я действительно уже обращаюсь с Вами, как со старым другом, так как оставлял Вас до сих пор без ответа и был уверен, что Вы не истолкуете это ложно. Только будьте терпеливы со мной; Вами я совершенно доволен. В наше трудное время Ваше неожиданное союзничество — большая радость для меня.

Вы представления не имеете, какой сейчас шум и гром вокруг меня. У меня здесь на шее и *juste milieu*, и лицемерно католическая карлистская партия, и прусские шпионы. Мои «Французские дела» вышли по-французский вместе с полным и неискаженным предисловием. Оно появилось и у Гейделофа на немецком языке и, должно быть, дошло уже до Лейпцига, где Вы его и увидите. Я послал бы Вам его, если бы не боялся Вас скомпрометировать. Будьте осторожны. Даже здесь нет безопасности. В прошлую субботу арестовали много немцев, и я тоже каждую минуту жду ареста.

Возможно, что следующее мое письмо будет датировано Лондоном. Я объясняю Вам все это для того, чтобы заставить Вас быть осторожным и умеренным. Держитесь по возможности спокойно. Сохраните за нами для будущего важную крепость — «Elegante Welt». Притворитесь. Не бойтесь, что Вас поймут неправильно. Я этого тоже никогда не боялся. Издание «Предисловия» именно теперь, среди всеобщей паники, вероятно

научит публику доверять мне в будущем, даже в том случае, если я буду петь нежно, как флейта. Когда настанет время, я сумею протрубить тревогу. Сейчас я готовлю несколько хороших песенок для духового оркестра. Вероятно, я непростительно задерживаю Вас из-за моего портрета и обещанных поэтических безделок; но не лучше ли Вам отложить все это до будущего года? В будущем году появляться будет безопаснее. К сожалению, даже теперь, когда вокруг меня кипят важнейшие общественные и личные дела, у меня на шее висит еще всякий эстетический хлам, я должен испечь книгу для Кампе, написать еще о немецкой литературе etc, etc. Вторая часть «О немецкой художественной литературе» появится здесь на этой неделе у Гейделофа; я пришлю вам книжку тотчас же.

Благодарю Вас от всей души за те дружеские слова, которые Вы обо мне написали и напечатали. Будьте уверены, что я понимаю Вас, и, следовательно, ценю и уважаю по-настоящему. Вы стоите выше всех тех, кто ощущает только внешнюю сторону революции, а не ее глубинные вопросы. Эти вопросы касаются не формы правления, не лиц, не установления республики или ограничения монархии, они касаются материального благосостояния народа. Старая спиритуалистическая религия была полезна и необходима, когда большая часть людей жила в нищете и должна была утешаться небесной религией. Но когда развитие индустрии и экономики даёт возможность вытащить людей из их материальной нужды и осчастливить на земле, тогда... Вы понимаете меня. И человечество тоже поймет нас, если мы скажем ему, что в будущем оно будет каждый день есть говядину вместо картофеля, меньше работать и больше танцевать. Будьте уверены, люди не ослы.

Я пишу эти строки в постели моей нечеловечески прекрасной приятельницы, которая не отпустила меня этой ночью из боязни, что меня арестуют.

Ваш Г. Гейне.

Генриху Лаубе

Boulogne, sur mer, 23 ноября 1835 г.

Дорогой Лаубе!

Ваше письмо, на которое я спешу ответить, вызвало у меня мучительное настроение. Оно показало мне безотрадность тамошних дел и Ваше собственное тревожное смятение. За 3½ месяца, проведенные вне Парижа, я не видел ни одного немецкого журнала и, за исключением нескольких намеков в письме моего издателя, полученном месяц тому назад, я ничего не слышал о разразившейся литературной катастрофе. Я заклинаю Вас всем, что Вы любите, если и не стать в войне, которую сейчас ведет молодая Германия, на ее сторону, то соблюдать по крайней мере спасительный нейтралитет и ни одним словом не задевать молодежи. Разделите точно политические и религиозные вопросы. В политических вопросах вы можете делать сколько Вам угодно уступок, потому что политические формы государства и правления — это только средства; монархии или республики, демократическим или аристократическим учреждениям — одна цена, пока еще не пошел бой за основные принципы жизни, за идею самой жизни. Лишь впоследствии встает вопрос, какими средствами может быть эта идея проведена в жизнь, — монархией или республикой, аристократией или даже абсолютизмом... К нему у меня совсем нет большого отвращения. Таким разделением вопроса можно умерить и подозрительность цензуры; ведь нельзя запретить дискуссию о религиозном принципе и морали, не аннулируя всей протестантской свободы мысли и свободы критики; здесь на нашу сторону встанут даже филистеры... Вы понимаете меня. Я говорю: религиозный принцип и мораль, хотя это и значит свинина и свиное мясо, то-есть одно и то же. Мораль есть религия, определяющая нравы (нравственность). Если же религия прошлого сгнила, то начинает вонять и мораль. Мы хотим здоровой религии для того, чтобы нравы опять оздоровились, для того, чтобы основа их стала лучше, чем сейчас, когда они базируются

только на неверии и застоявшемся фари́сействе.

Может быть, Вы и без этих указаний поняли бы, почему я всегда прикрывался правами протестантизма; для Вас также должна быть совершенно понятна грубая уловка моих врагов, которые охотно гнали меня в синагогу, меня, прирожденного антагониста иудейско-магометански-христианского деизма.

Вы представить себе не можете, с каким состраданием я гляжу на этих червей. Кто знает лозунг будущего, над тем не властны мелкие воршишки современности. Я знаю, кто я есмь. Недавно один из моих сен-симонистских друзей в Египте сказал слова, рассмешившие меня; но они все-таки имели очень серьезный смысл. Он сказал, что я первый отец церкви среди немцев.

Этот отец церкви по уши занят французскими делами, и он не может выступить на защиту нового евангелия в Германии. Если будет очень нужно, тогда я все-таки препоясаю чресла. То, что приходится иметь дело именно с г-ном Менцелем, отвратительно. Мерзкий бурш, о которого можно только замараться. Он негодяй, лицемерный до мозга костей. Если бы можно было писать веревки, он бы уже давно висел. Это низкая натура, низкий человек, которому придется надавать пинков в зад так, чтобы носок наш вылез у него через горло.

Нападать сейчас! Сейчас, когда противная партия попирает нас ногами! На это способен только Менцель, никогда серьезно не относившийся к нашему делу, примкнувший к нам только после июльской революции, в ту пору, когда в его мозгу забрезжила мысль о реальных выгодах. Теперь, когда он за наш счет готовит моральное удовлетворение для антилиберальной партии, в его мозгу опять копошатся подленькие мыслишки. Наденьте перчатки, мой дорогой, возьмите хорошую палку и выпорите эту грязную тварь, так как он того заслуживает персонально, то-есть личной своей биографией, в которой достаточно компрометирующего. Это — Ваше дело; соберите в Бреславле и Швейцарии, где он навонял, нужные для его биогра-

фии детали. Самые основательные пинки он получит конечно от юношества германских университетов. В данное время у меня всякие неприятности, место их действия — Париж, и они займут меня вероятно до весны. Значит, я не могу обещать многого журналу, который Вы сейчас воскрешаете. Но я охотно отдам ему свое имя, и Вы можете напечатать мои стихи, имеющиеся у Вас. Прилагаю еще два отрывка, которые тоже немного стоят. Стихотворение же, которое начинается: «Мне тридцать три — тебе пятнадцать било», Вы, пожалуй, сможете напечатать, но я прошу Вас не ставить под ним моего имени. Я чувствую, что его естественность доходит до карикатуры; это была попытка ввести в стихи годы и даты. С остальной «Молодой Германией» я никак не связан; я слышал, что они поместили мое имя среди сотрудников их нового обозрения, на что я им никогда не давал согласия. Но эти молодые люди, конечно, будут во мне иметь крепкую поддержку, и мне было бы страшно неприятно, если бы между ними и Вами возникли трения. Пожалуйста, известите через общих друзей этих юношей об особенностях Вашего положения для того, чтобы недоразумение не довело до беды.

Не забудьте об этом — неизменно рассчитывайте на мое горячее участие ко всему, что касается Вас лично. Мне очень приятно, что Вы в хороших отношениях с некоторыми моими берлинскими друзьями. Фарнгаген — один из самых замечательных людей, он — ясный и верный. Мы единомышленники до такой степени, что даже не нуждаемся в переписке. — Ваш вопрос о возвращении моем в Германию сделал мне очень больно; ведь я неохотно признаюсь, что это добровольное изгнание — одна из величайших жертв, которые я приношу мысли. Возвратившись, я должен был бы занять положение, которое вызвало бы массу недоразумений. Я хочу избежать даже тени недостойного. Насколько я знаю, ни одно правительство не может обвинить меня в чем бы то ни было, я стоял в стороне от всех якобинских интриг;

пресловутое предисловие, которое я успел уничтожить, когда оно уже было напечатано у Кампе, вышло после этого в свет только благодаря прусскому шпиону Клапроту, посольство это знало, так что на меня даже нельзя взвалить серьезного преступления против печати; через дипломатов, с которыми я в Париже в очень хороших отношениях, как мне со всех сторон доходят дружеские слова... но все это основания, которые скорей удерживают меня от возвращения на родину, чем побуждают к нему. А здесь еще — озлобленность немецких якобинцев в Париже, которые, если бы я вернулся домой, чтобы есть кислую капусту, увидели бы и в этом подтверждение измены родине. До сих пор они клеветают на меня, основываясь только на подозрениях; до сих пор я не дал еще никаких фактов для клеветы. Поэтому, как видите, моя поездка в Вену должна быть отложена на очень долгое время. — Через несколько недель я вернусь в Париж. Если до этого Вам нужно будет еще о чем-нибудь меня известить, то пишите сюда. Даже если я уже уеду в Париж, Ваше письмо будет мне передано. Будьте здоровы и бодры.

Ваш друг

Г. Гейне.

Высочайшему союзному сейму

Решение, принятое вами на 31-м нашем заседании 1835 г., наполняет меня глубочайшей печалью. Признаюсь вам, государи мои, что к этой печали присоединяется и величайшее изумление. Вы обвиняли меня, судили и произнесли приговор, не допросив меня устно или письменно, не возложив ни на кого моей защиты, не послав мне никакого приглашения. Не так поступала в подобных случаях священная Римская империя, место которой занял Германский союз. Славной памяти доктор Мартин Лютер мог свободно предстать перед союзным сеймом, свободно и открыто защищаться против всех обвинений. Я не столь тщеславен, чтобы сравнивать себя с величайшим мужем, завоевавшим нам свободу мысли в вопросах религии; но ученик охотно ссылается на пример учите-

ля. Если вы, государи мои, не хотите предоставить возможность свободной защиты перед вами лично, то предоставьте мне, по крайней мере, свободу слова в германской печати и снимите запрет, наложенный вами на все, что я пишу.

Эти слова не протест, а только просьба. Если я и обороняюсь, то только против общественного мнения, которое может счесть мое вынужденное молчание за признание в преступности моих тенденций или даже за отказ от своих произведений. Как только мне дадут свободу слова, я надеюсь убедительно доказать, что мои сочинения возникли не из нерелигиозных и аморальных настроений, а из подлинно религиозного и морального синтеза, на верность которому издавна присягнули не только новая литературная школа, именуемая «Молодой Германией», но и наши прославленнейшие писатели, — как поэты, так и философы. Однако, каково бы ни было, государи мои, ваше решение относительно моей просьбы, будьте все же уверены, что я всегда подчинюсь законам моей родины. Та случайность, что я нахожусь за пределами вашей власти, никогда не введет меня в соблазн заговорить языком вражды. Я почитаю в вас высшие авторитеты моего любимого отечества. Личная безопасность, которую мне дает пребывание за границей, к счастью, позволяет мне, не боясь ложных толкований, принести вам, государи мои, верноподданнейшие уверения в моем глубочайшем почтении.

Генрих Гейне,

обоих прав доктор.

Paris. Cité Bergère, n. 3.

28 января 1836 г.

Юлиусу Кампе

Париж, 4 февраля 1836 г

Дорогой Кампе!

Ваше последнее письмо, в котором Вы сообщаете мне о браватах союзного сейма, я получил, и очень рад, что они Вас не ошеломили. Все, вместе взятое, кажется мне холостым выстрелом. На всякий случай я счел нужным слегка погладить старые парики, и мое дет-

ское, паточно-смирненное письмо наверное произвело хорошее впечатление. Союзный сейм будет тронут. Все обращаются с ним, как с собакой, и моя вежливость, мое деликатное обращение будет ему тем более приятно. *Messeigneurs! Vos seigneuries!* Этак к нему еще не обращались. Смотрите, — скажет он, — вот наконец человек, который чувствует по-человечески, который не обращается с нами, как с собакой! И этого благородного человека хотели мы преследовать! Объявили безбожником, аморальным! И 36 носовых платков оросятся союзно-сеймовскими слезами!

Пруссия тоже, кажется, приходит в разум, и представитель интеллигенции конечно понимает уже, что запрет на будущие книги глупейшим образом позорит тех, кто его издал. Но здесь нужно действовать чрезвычайно мягко, и я надеюсь добиться, правда, не ордена Орла, но разумной точки зрения Берлина.

Остается только издать книгу, которая была бы чрезвычайно интересна и мила и не касалась бы ни политики, ни религии. Рукопись этой книги уже готова, остается только переписать кое-что, и я намеревался издать ее под заглавием «Салон — часть третья», чтобы слегка подтолкнуть предыдущие томы.

Сможете ли Вы сейчас издать эту книгу, издать под моим именем? Считаете ли Вы, что невинное содержание книги защитит ее от действия запрета союзного сейма и прусски-полицейских ордонансов? Или Вы не решаетесь поставить мое имя на обложке? Хотите назвать книгу просто «Салон, том третий»?

Мне кажется, что для последующих публикаций было бы даже очень полезно показать сейчас публике, что угрозы не приводятся в исполнение; тогда — после этого уже под своим авторским именем — можно напечатать и немного перцу. Если не сделать этого сейчас, то позже это может оказаться невозможным. Принять чужое имя тоже неудобно, это — унижительная уступка, в этом случае я должен был бы принять имя моей матери, а так как оно звучит несколько аристократичнее, чем

мое, то поступок этот могли бы истолковать злобно. Сейчас же жду подробного ответа. Думаю, что Юлиус Кампе устроит свету спектакль, выпустив книгу под моим именем, как-будто ничего не случилось. Откладывать издание я не советую. Думаю, что общество именно сейчас ждет от меня книги и обрадуется, если мы не согнемся от страха. Я доволен своей книгой, хотя она многое потеряла после изъятия всего политического и религиозного.

Ваш друг Г. Гейне.

Карлу Гуцкову

Granville (la Basse Normandie)

23 августа 1838 г.

Я должен, дорогой друг, принести Вам свою сердечную благодарность за Ваше письмо от 6-го с. м. Как только я его получил, я написал Кампе и попросил его не отдавать еще в печать второй том «Книги песен», то-есть «Добавление». Я издам его позже, когда просею его еще раз и снабжу подходящим дополнением. Вы, вероятно, правы в том, что некоторые стихи в нем могут быть использованы моими противниками; эти лицемеры¹⁾ столь же лицемерны, сколь трусливы. Но мне кажется, что среди этих стихотворений нет ни одного, которое не было бы уже напечатано в первой части «Салона»; новое добавление, насколько я могу припомнить, вполне невинно по своему содержанию.

Вообще я надеюсь, что в будущем издании мне не придется выбросить ни одного из этих стихотворений, и я напечатал бы и «Сатирикон» Петрония, и «Римские элегии» Гете, если бы я написал эти замечательные произведения. Они — так же, как и мои подвергшиеся нападкам стихи — не пища для грубой черни. В этом Вы заблуждаетесь. От этих стихов получают удовольствие только те избранные души, которым художественная интерпретация дерзких или слишком естественных вещей доставляет

¹⁾ Зачеркнуто.

тонкое наслаждение. Оценить эти стихи по-настоящему смогут лишь немногие немцы, так как им неизвестен самый материал, т. е. противоестественные амуры такого мирового сумасшедшего дома, как Париж. Дело здесь идет не о моральных потребностях какого-нибудь женатого бюргера в каком-нибудь углу Германии, а об автономии самого искусства. Моим девизом остается: искусство есть цель искусства, как любовь есть цель любви и даже — как самая жизнь есть цель жизни.

То, что Вы мне пишете о молодой поросли нашей литературы, чрезвычайно интересно. И все-таки я не боюсь критики этих людей. Если они умны, то они знают, что я их лучшая опора и что в борьбе против стариков они должны провозгласить меня своим. Если они не умны, тогда они конечно и не опасны. Впрочем, я вовсе не так беззаботен, как Вы думаете. Я стараюсь оплодотворить свою душу для будущего, недавно я перечел всего Шекспира, а теперь, здесь, у моря, я читаю Библию. Что касается мнения общества о моих прежних произведениях, то оно сильно зависит от событий и переворотов, в которых я не принимаю достаточного участия. По чести признаюсь, великие интересы европейской жизни все еще интересуют меня гораздо больше, чем мои книги — — — *que Dieu les reprenne en sa sainte et digne garde.*

Будьте здоровы. Благодарю Вас еще раз за то доброжелательство, с которым Вы обратили мое внимание на сучок, замеченный Вами в моем глазу. Сердечно желаю, чтобы Вы приехали когда-нибудь в Париж. О литературных ежегодниках, проектируемых Вами, я в ближайшее время напишу Кампе. Надеюсь, что Вы привлечете к ним и Лаубе, отношения с которым Вы испортили еще не так сильно, как с Мундтом и пр. В том, что наши с Вами отношения еще не испорчены вконец, Вы, по правде говоря, не виноваты. Я во многом могу упрекнуть Вас, но не Вашу «Серафину» — одно из вышеупомянутых и избранных художественных произведений.

Ваш друг Г. Гейне.

Генриху Лаубе

Saint-Lo, 3 сентября 1840 г.

Дорогой Лаубе!

Я написал Вам около 10 или 12 дней тому назад, на другой день я получил Ваше сердитое письмо, основные причины которого я понял только сегодня, потому что, вернувшись из поездки по Брелани, я нашел несколько писем из Гамбурга и ясно вижу, какого рода мошенничество против меня замышляется. Насколько виноват Кампе, я не знаю, но то, что гг. Гуцков несравненный литературный Картуш, это вновь подтвердилось самым блестящим образом. Они рассчитывают на полное мое бездействие и с помощью угроз и посредничества снова стремятся принудить меня к молчанию. Но на этот раз молчание есть трусость и предательство интересов нашей литературы. Положите руку на мое сердце: оно бьется спокойнее, чем когда-либо, и гнусности, которыми меня терзают, я встречаю с величайшей апатией. Но вопрос идет о том, можно ли терпеть в литературе эту неслыханную систему интриг, эту организованную ложь? Разве не мой долг разоблачить это? Плевать мне на участь моей книги, я привык к ругани, я довольствуюсь собственной своей удовлетворенностью и хочу получить удовлетворение без посторонней помощи, и поэтому я никому не поручал защиту моей книги. Теперь задача состоит в том, чтобы вывести на свет божий темные дела, пусть и публика узнает, что такое, в сущности, анонимная пресса, в которой какой-то Гуцков может распространять клевету с помощью своих подручных. Эти маневры я тотчас же разглядел и уже осветил их Вам по случаю Вашей «Литературы». Тогда Вы сказали, что в Германии должно было бы что-нибудь произойти. Если я не возразил во «Всеобщей газете» на маленькую анонимную статейку, появившуюся тогда против Вашей книги, то это не моя вина, а Кольба, который вернул мне мою статью. Я повсюду наталкивался на интриги Гуцкова против Вас; о том, как я им противодействовал, расскажу Вам в другой раз. Как можете Вы не

верить мне! Как можете Вы истолковать ложно мою нелюбовь к письмам? В отношении «Литературы» я полагал, что достаточно поставил Вас в известность, и не писал, во-первых, потому, что исключительные потрясения потребовали всей деятельности моего пера, и еще потому, что мне хотелось сообщить Вам уже готовые результаты, но вопреки всем моим стараниям этого мне не удалось. Как только я приеду в Париж, я напишу Вам либо сам и до мельчайших подробностей разберу все возникшие недоразумения, либо, чтобы не терять времени и хорошего настроения, сделаю это через третье лицо. Каждое письмо стоит мне напряжения зрения.

Теперь дело идет не о Вашей или моей книге, а о том, чтобы разоблачить перед общественностью гуцковские проделки, и если я до некоторой степени буду уверен в поддержке друзей, интересы которых задеты так же, как и мои, то я выступаю, как честный и умеренный человек, и скажу чистую правду, которая в конце концов все-таки побеждает, а потом пусть себе с помощью коварных искажений клеветают на всю мою жизнь.

Особенно постарайтесь заручиться поддержкой Кюне. Если «Elegante» не принадлежит ему больше, то он так же, как мы с Вами, будет предоставлен печатному произволу Гуцкова и компании. Это глубокий ум, и он сразу поймет, как важно оказать мне поддержку именно сейчас. Прошу Вас, обратитесь от моего имени и к другим друзьям. — Кампе, который не хотел печатать книгу Гуцкова о Берне, уладил денежные разногласия, бывшие тому причиной, и печатает ее. Я застал письмо от Вейля (я послал ему свою книгу из Гранвиля), он тоже обращает мое внимание на то, что франкфуртская духовная вдова Берне и ее оставшийся в живых телесный супруг не пожалеют больших сумм, чтобы повредить мне. Такое же предостережение я получил из Гамбурга.

В последнее время у меня было много горя и забот, особенно много потерял я денег. Несмотря на это, финансы мои сейчас в очень хорошем, почти цветущем состоянии. На это я и обращаю

Ваше внимание; денежными вопросами я могу и поступиться.

Я восстановил в памяти то, что писал Вам из Гранвиля, и это письмо я хочу использовать следующим образом. Вы его доверите кому-нибудь, кто его напечатает. Так как оно старше того, что я мог бы сказать сейчас, носит характер полной непреднамеренности и тотчас же раскрывает интриги, которые против меня ткуются, то это письмо может привести к самым полезным результатам. Во-первых, этим я буду вынужден дать дальнейшие разъяснения и объяснения, сообщить письма Кампе, может быть, я даже сейчас же подстрекну Гуцкова атаковать Кампе, и все, что я сделаю, будет казаться неумышленным в глазах общества. Так как я живу на чужбине, то разглашение письма не нескромность, а только дружеская услуга, которая разрушит действие того предательства, того фарса, который был сыгран с отсутствующим.

Но письмо (этот документ!) должно быть начато и обрамлено умными словами.

С мошенниками нужно бороться хитростью, иначе ты *perdu*.

Думаю, что я наметил, как выгоднее всего открыть поход в мою защиту. Если не найдется человека с известным именем, который с Вашего разрешения опубликует гранвильское письмо, то пусть его напечатает аноним. Во всяком случае, надеюсь, что Вы будете действовать по этому плану. Думаю, что в письме нет ничего, что нельзя было бы опубликовать. Через три дня я буду в Париже, где меня ждет масса дел. Но я ничего не упущу. Напишите мне поскорее, что Вы сделали, провели ли Вы мой план вышеозначенным образом? Вы представите себе не можете, с какой *mauvais foi* против меня интригуют и насколько я вправе обороняться любым способом.

То, что мой бедный Иммерман умер, это все-таки самое скверное. Он принадлежал еще к легендарному циклу старой Германии. Насколько я принадлежу к молодой Германии, выяснится теперь, когда вновь разразится война.

Я еще верю в себя. Г. Г.

Фарнгагену ф.-Энзе

Париж, 3 января 1846 г.

Дорогой Фарнгаген!

Это первое письмо, которое я пишу в новом, нынешнем году, и я начинаю его самым бодрым пожеланием счастья. Да подарит Вас этот год и душевным, и телесным здоровьем! С большим огорчением слышу я, что Вас нередко удручают недуги. Подчас я охотно откликнулся бы словом утешения, но Гескуба—плохая утешительница. В последнее время я никуда не гожусь, и даже писание непрерывно напоминает мне о моих немощах: я почти не в состоянии разглядеть собственный свой почерк, ведь один глаз у меня совсем закрыт, а другой уже тоже закрывается, и каждое письмо для меня мучение! Поэтому я с глубочайшей радостью хватаюсь за возможность передать Вам через друга вести о себе на словах, а так как этот друг посвящен во все мои беды, то он подробно сможет рассказать Вам, как ужасно поступили со мной мои ближайшие родственники и свойственники и чем в этом отношении можно мне еще помочь.

Мой друг, г-н Лассаль, который передаст Вам это письмо,—молодой человек блестящих способностей: глубочайшей учености, обширнейших познаний, величайшей прозорливости, когда-либо виденной мною; с богатейшим даром изображения он соединяет силу познания и *habilité* в делах, которые изумляют меня, и если его симпатия ко мне не угаснет, то я жду от него самой действительной помощи. Во всяком случае это соединение знаний и возможностей, таланта и характера было для меня радостным явлением, и Вы при Вашей многосторонности в оценке конечно вполне воздадите ему должное. Г-н Лассаль как-раз истинный сын нового времени, который знать ничего не хочет о том отречении и покорности, с которыми мы, более или менее лицемерно, в свое время столько провозились и столько пробездельничали. Это новое поколение хочет наслаждаться и проявить себя в видимом мире; мы, старики, смиренно

склонялись перед невидимым, ловили призрачные лобзания и благоухания голубых цветов, отступали и хныкали и все-таки, может быть, были счастливее, чем эти стойкие гладиаторы, которые так гордо идут навстречу гибели в бою. Тысячелетнему царству романтики — конец, и я сам был его последним и отрекшимся сказочным королем. Если бы я не сбросил с головы короны и не надел блузы, они наверное обезглавили бы меня. Четыре года тому назад, до того, как я отрекся от себя самого, меня страстно влекло еще погарцовать при лунном свете со старыми товарищами моих снов,—и я написал «Атту Троля», лебединую песнь заходящей эпохи, и Вам посвятил я его. Он принадлежал Вам по праву, ведь Вы были всегда самым близким моим товарищем по оружию, — в забавах и в деле. Подобно мне, Вы помогли похоронить старую эпоху и были повитухой у новой, — да, мы помогли ей родиться и испугались. Мы чувствуем себя, как бедная курица, которая высидела утиные яйца и с ужасом видит, как молодой выводок бросается в воду и весело плывет!

По договору с издательством я обязан издать «Атту Троля», я это сделаю через несколько месяцев, но с осторожностью, дабы меня не привлекли к суду и не обезглавили.

Вы видите, дорогой друг, как неопределенно, как неуверенно у меня на душе. Однако это болезненное настроение происходит главным образом из моего нездоровья; как только исчезнет тяжесть паралича, словно железным обручем сковывающая мою грудь, старая энергия встрепенется снова. Но боюсь, что до этого еще далеко. Предательство, совершенное в отношении меня в лоне семьи, когда я доверчиво стоял безоружным, поразило меня, как гром среди ясного неба, и ранило почти смертельно; если рассмотреть все обстоятельства, то станет ясно, что речь идет о покушении на убийство из-за угла; пресмыкающаяся посредственность, которая двадцать лет со злобной завистью подстерегала гения, дождалась наконец победного своего часа. В сущности, это

старая история, которая всегда повторяется.

Да, я очень болен телесно, но душа пострадала мало. Усталый цветок, она поникла, но никак не увяла и крепко еще врастает корнями в правду и любовь.

Будьте здоровы, дорогой Фарнгаген. Мой друг скажет Вам, как много и беспрерывно я о Вас думаю. Это тем понятнее, что я теперь совсем не в состоянии читать и в долгие зимние вечера радуюсь только воспоминаниям.

Генрих Гейне.

46, Faubourg, Poissonnière.

Александрю Гумбольдту

Г-н барон!

Благожелательность, которой Вы издавна удостаиваете меня, дает мне смелость обратиться к Вам сегодня с просьбой.

Печальные семейные обстоятельства призывают меня нынешней весною в Гамбург, и мне хотелось бы использовать эту возможность для того, чтобы завернуть по дороге на несколько дней в Берлин, повидаться со старыми друзьями и проконсультировать с берлинскими врачами по поводу очень серьезной болезни. При такой поездке, имеющей единственной целью развлечение и здоровье, мне конечно не следует опасаться никакой атра суга, и я обращаюсь к Вам, г-н барон, с просьбой, чтобы Вы добились с помощью Вашего высокого влияния твердого обещания со стороны уважаемых властей не пред'являть ко мне — в продолжение моего путешествия во владениях королевства Прусского — никаких претензий по обвинениям, которые относятся к прошлому. Я прекрасно знаю, что такая попытка совершенно не соответствует тамошним административным навыкам. Но в эпоху, которая сама по себе несколько исключительна, следует, может быть, решиться на обогащение старой регистратуры рубрикой об исключительных современниках.

Примите, г-н барон, заранее мою глубочайшую благодарность и расценивайте самую мою просьбу как доказатель-

ство уважения, с которым я остаюсь, г-н барон,

послушный и преданный Вам

Генрих Гейне.

46, Faubourg, Poissonnière.

Париж, 11 января 1846 г.

Фердинанду Лассалю

Париж, 10 февраля 1846 г.

Мой дорогой Лассаль!

Если б на душе моей не лежала бременем срочная к Вам благодарность за такое пламенное усердие, то я все-таки не написал бы Вам сегодня, так как в течение трех недель я болен сильнее, чем всегда. — Две недели я вынужден был высидеть дома, а теперь должен заботливо беречь голову, чтобы не развилось воспаление мозга. — После Вашего отъезда я целую неделю работал слишком напряженно, чтобы наверстагь потерянное, и это вероятно способствовало болезни. Теперь Вам понятно, почему я не прислал Вам еще письма к Мендельсону, через несколько дней я пришлю его. Сегодня ограничиваюсь благодарностью Вам; никогда никто еще не сделал для меня так много. И ни в ком еще я не встречал столько страстности и ясности мысли, соединенных с действительностью. — Конечно вы имеете право дерзать — мы прочно узурпируем только это божественное право, эту небесную привилегию. — В сравнении с Вами я ведь просто скромная муха. Еще вчера вечером мы говорили об этом с Грюном, которому я дал с полдюжины задорнейших стихов для пютмановского «Альманаха муз».

Меня радует Ваш отзыв о Фарнгагене, он опытнейший человек, прекрасно знающий людей и отношения. Считайтесь с тем, что он говорит, даже с тем, чего он не говорит. «Его разговор поучает, его молчание просвещает». — Откуда это? Например то, что Фарнгаген говорит о Зивекинге из Гамбурга, конечно правильно и чрезвычайно для меня важно. — Я в восторге, что тамошний гамбургский министр-резидент и его жена приняли мою сторону, это будет иметь более важные последствия, чем Вы думаете. — Если

Мендельсон не хочет писать, мне это все равно, ведь в настоящее время его письмо не возымеет никаких результатов; впоследствии, напротив, простое предложение посредничества с его стороны может принести самую решительную пользу. — В симпатии Гумбольдта я никогда не сомневался, его письмо откровенно, и в нем бьется горячее сердце. — Мысль о дружбе Диффенбаха утешает меня. Я говорю своей болезни: берегись слишком мне докучать, ведь бог исцеления — мой друг. К счастью, у меня нет, в сущности, болей, только параличи — помеха в жизни и в наслаждении. — Мои губы иногда настолько беспощадны, что я целыми вечерами молча сижу рядом с женой у камина. «*Quelle conversation allemande*» — изредка восклицает она, вздыхая. — Но что сказать мне о князе Пюклере! — Какой *grand seigneur*! Его письмо не только образцовое произведение писателя, но и важный памятник, более значительный, чем он сам предполагает, — в смысле наших социальных отношений и переворотов. — Само собой разумеется, письмо это должно быть напечатано, в нем есть общественный интерес, и имеющие глаза поймут конечно, что, в сущности, это не послание Пюклера к А. В. по делу С. Д., но что один из последних рыцарей старой родовой аристократии дает напоследок урок на тему о чести выскочкам новой денежной аристократии, и именно в интересах оскорбленного гения. — Да, эта лекция победоносна, рыцарское благородство мысли выезжает здесь на ристалище на своем прекраснейшем коне и в незапятнанной своей броне — *point d'honneur* и *louauté*; грубое эгоистическое торгашество, — я чуть не сказал буржуазия, — терпит здесь самое жалкое поражение; а в насмешках недостатка не будет, особенно со стороны наинouvelших противников теперешней плутократии. Вы знаете, кого я подразумеваю. Правда, теней играет при этом печальную роль; романтика, с которой он сам смертельно враждует, великодушно выходит за него на турнир; ведь в конце концов, если Пюклер — и князь идеальных областей духа, то он является

им все-таки и в Прусской Силезии, и его образ действий столь же дворянский, сколь и благородный. —

При ближайшей возможности я напишу князю. Покамест будьте добры передать ему сердечнейшую мою благодарность. Его письмо должно быть во всяком случае опубликовано. Лучше всего, если бы Фарнгаген написал статью для «Всеобщей газеты» и привел в ней письмо, получив на то разрешение князя. — Статью г-н Фарнгаген должен послать прямо барону Котта в Штутгарт, потому что хотя в Аугсбурге Кольб мой сердечный друг, но на коллег его я не могу положиться; а в Котта, если он увидит имена Фарнгагена, Пюклера и Гейне, можно быть уверенным.

Здесь все тихо, или, вернее, я ничего не вижу и не слышу. Роже давал большой бал *paré et costumé*, на котором однако я не смог быть. Арманс все еще больна. Мадонну я не навещил еще, Евгению всего один единственный раз — слабость твое имя! — С Ротшильдом очень напряженно, но в наиболее подходящем положении для моего проекта. — Балет свой я написал, он прекрасно мне удался, но не знаю еще, не слишком ли поздно он придет. — Начал опять играть на бирже. Все еще пользуюсь гомеопатией. Но — великое известие, которое Вам теперь давно известно, — Кальмониус приезжает сюда через неделю с Вашей сестрой. Вчера я получил от него письмо. Кажется, что цинковый проект, созданный по моей инициативе, засел у него в голове. Я очень рад буду увидеть его и Вашу сестру. — Мне любопытно, такой же ли у нее нежный и страстный рот. — Я очень люблю Вас. Да иначе и невозможно, Вы мучаете до тех пор, пока Вас не полюбишь.

Генрих Гейне.

Фердинанду Лассалу

Париж, 11 февраля 1846 г.

Дорогой Лассаль!

В последнем письме Вы забыли мне дать Ваш собственный адрес, а через третьи руки я не решаюсь передать мое

совершенно откровенное мнение по поводу важнейшего пункта Вашего письма. — Во всяком случае сообщаю Вам, что все, что Вы желаете, будет исполнено. В отношении Мендельсона — не понимаю, как можете Вы придавать столько значения такому пустяку, в отношении Феликса Мендельсона — охотно подчиняюсь Вашему желанию, и ни одного плохого слова напечатано о нем больше не будет. — Я зол на него из-за его христосика, я не могу простить этому независимому по своему материальному положению человеку, что своим большим, невероятным талантом он служит пиэтистам. — Чем больше проникаюсь я значением этого таланта, тем больше озлобляет меня подлое его применение. Если бы я имел счастье быть внуком Моисея Мендельсона, я, право, не употреблял бы свой талант на то, чтобы класть на музыку писю ягнечка: Между нами будь сказано, главной причиной того, что я покалывал иногда Мендельсона, были некоторые местные ультраэнтузиасты, которых мне хотелось позлить — например Вашего земляка Франка, потом Геллера — и которые были достаточно неблагоприятны, чтобы мотивировать эти выпады тем, что я хочу подольститься к Мейербееру. —

Я пишу Вам обо всем этом намеренно подробно, дабы впоследствии Вы были осведомлены о причинах моих раздоров с Мендельсоном лучше, чем чернь, которой изобразят все это в искаженном виде. До тех пор все останется между нами. Я напишу Вам подробно, как только получу Ваш домашний адрес. Я все еще очень болен, почти совсем не вижу, и мои губы настолько парализованы, что я не могу целоваться, а ведь это еще необходимее, чем беседы, без которых я конечно могу обойтись. — Я очень радуюсь прибытию Вашего шурина и Вашей сестры. Здесь все тихо, маскарады и опера. В течение недели не говорят ни о чем, кроме «Мушкетеров» Галеви, которыми бредит моя жена. — Она здорова и бранится в этом году так мало, как этого только можно требовать от добродетельной жены. — Будьте здоровы и уверены, что я Вас несказанно люблю. Как радуется меня,

что я не ошибся в Вас! Но ведь никому, никогда я не доверил так много, — я, который столь недоверчив по опыту, не по природе. С тех пор, что я получил от Вас письма, во мне прибывает бодрость, и я чувствую себя лучше.

Ваш друг
Г. Гейне.

Фердинанду Лассалю

Париж (не знаю точно), 1846 г.

Мой дорогой товарищ по оружию!

Пишу Вам сегодня, хотя голова моя в ужасном состоянии и каждое письмо стоит мне куска жизни. О глазах своих я не говорю; губы, язык и т. д. поражены гораздо хуже, и мозг, кажется, не остался нейтральным. Холод и парижская сутолока стоят мне очень дорого, и все мои надежды устремлены на юг; — это советуют мне и врачи. Поэтому я охотно отказываюсь от берлинских планов, и если карло-гейневские дела улажены, то я поеду не в Гамбург, а немедленно же в Италию, чтобы заняться там исключительно восстановлением своего здоровья. — Пусть это останется между нами. — Я так несчастен и жалок, как никогда еще, и если бы я не оставлял беспомощную женщину, я спокойно взялся бы за шляпу и сказал миру: valet. — В течение месяца у меня были одни радости — мои финансы возрастают, моя жена любезнее, чем когда бы то ни было, моему тщеславию льстят, болезнь, даже в этой ее фазе, вероятно перенес бы терпеливо, но — дела, которыми я тоже занимался уже равнодушно, подняли теперь такой шум в моей душе, что я, право, боюсь иногда помешаться. — Но если меня что-нибудь действительно свело с ума, то это письмо, которое вчера вечером (к сожалению, перед тем, как лечь спать) я получил от Фарнгагена, и поэтому я Вам и пишу, несмотря на головную боль. — Представить себе, — Фарнгаген, такой опытный светский человек, настолько еще наивен, что он баюкает меня колыбельной песнью, которой уже в прошлом году меня запели насмерть. — Мне надо снова писать смирен- и груст-ные письма Карлу Гейне. — — Ведь это я

и делаю с прошлого мая, и после каждого такого повизгивания он принимает все более надменно-самодовольный вид. — Мой первоначальный план после того, как со мной произошло несчастье, состоял в том, чтобы самым решительным выступлением внушить к себе уважение и немедленно привести в исполнение любую угрозу. — План этот был отвергнут друзьями, которые держались другого мнения и стояли за меры смягчения и т. п., и так как они поступали обратно тому, что было решено, то все и рухнуло из-за несогласованности. К. должен был напр., — а вместо этого он начал молить, сентиментальничать, и все поггло, и мне самому пришлось слезть с высокого боевого коня и пересест на хнычущую клячу. — Этим самоуничижением я снова вдохнул в них уже ослабевавшее тогда мужество, которое, впрочем, и теперь даст тягу, как только они увидят, что дело серьезно, как только они испытают неудобство общественного выступления или даже почувствуют, что на него твердо решились. — Передайте это Фарнгагену, скажите ему: сердца денежных фараонов настолько зачерствели, что одной угрозы казнями мало, хотя им прекрасно известно, как велика магическая сила автора, который на собственных их глазах проделал уже кое-какие фокусы со змеями. — Нет, эти люди, прежде чем отказаться от своего закоснелого упрямства и поверить в казнь, должны испытать ее, им нужно увидеть кровь, затем лягушек, гадов, диких зверей, Яна Хагеля и т. п., и только на десятой главе, в которой убивают их возлюбленного первенца, они сдаются из страха перед еще большим несчастьем, перед собственной своей смертью. — Право, если бы Моисей вооружился добротой, полуугрозами и увещаниями, дети Израиля и по сей день сидели бы в Египте. Скажите Фарнгагену: все, что он советует, уже испробовано, и теперешнее мое жалкое положение является как-раз результатом этих попыток. Вы, дорогой Лассаль, прекрасно уразумели это дело.

Если г-н ф.-Фарнгаген не склонен идти этим путем, то немедленно отка-

житесь от просьбы, чтобы он написал статью, содержащую пюклеровское письмо, и Вы, мой дорогой друг, напишете ее сами. Если, чего я боюсь, она окажется слишком юношески резкой для «Всеобщей газеты», то попытайтесь напечатать ее где-нибудь еще. Ни в коем случае не давайте мнению Фарнгагена разбить цельность Ваших энергичных действий и не вступайте на средний путь, который один раз уже привел меня к гибели. — Если же, напротив, г-н ф.-Фарнгаген напишет статью в желательном смысле, то конечно хорошо, что именно самые жесткие вещи и угрозы будут написаны в том удивительно успокаивающем стиле, которым владеет только Фарнгаген и из-за которого он стал *ruissance*, не имеющей равного. — Он наш великий стилист, еще на-днях я несколько часов говорил об этом с моим другом Зейфертом, который написал статью о Фарнгагене в «Эпохе» именно с этой точки зрения. (Если эта статья, как мне говорил вчера Зейферт, появится в сегодняшнем номере журнала, я пришлю Вам ее, а Вы будете столь любезны и передадите ее Фарнгагену). — Да, фарнгагеновский стиль—это действительно железная рука в бархатной перчатке, и она нанесет моему кузену удар, которого тот не забудет до конца своих дней.

Если Фарнгаген напишет статью, то может быть, он согласится подписать ее, как это иногда делают во «Всеобщей газете» некоторые другие. Это имело бы потрясающее значение, и, взвесив ужас моего положения, друг, обычно столь осторожный, может быть, и решится на это. — Да и мое сердце, — и мое оскорбленное сердце, сказала бы Ракель, — облегчило бы зрелище того, как изысканный Фарнгаген столь безрассудно стремится мне на помощь со своих высот. Пюклер сделал это и заслужил вечную мою благодарность, чернь будет очень пристыжена его поступком. Я не могу еще ему написать, потому что каждое письмо стоит мне теперь куска здоровья — передайте ему это.

Конечно, из Гамбурга пришли очень подлые ответы. Я хотел бы их знать,

хотя я догадываюсь о них. — Будьте здоровы, дорогой, любимый друг.

Г. Гейне.

Фердинанду Лассалю

Париж, 27 февраля 1846 г

Мой дорогой друг!

Надеюсь, что три письма, которые я послал на Ваш собственный адрес, Вы получили, а три других дополнительных, которые я написал г-ну Ф.-Фарнгагену, он Вам передал. Тем временем я получил и второе Ваше письмо, на которое почти нечего было отвечать. Я полагал, что все обстоит как нельзя лучше, но только-что получил письмо от Фарнгагена, по которому вижу, что он расстраивает все мои планы. Он, должно быть, совершенно не понимает сути дела, и для меня очевидно, что при его модерантизме он не сможет сотрудничать с Вами. Статью для «Всеобщей газеты», которая должна была содержать пюклеровское письмо, он писать не станет, он заявил мне даже, «что неприлично по отношению к князю публиковать его письмо и что князь этого не разрешил бы». Это замечание заставляет меня, по легко понятным причинам, отказаться от этого письма, тем более, что главная его цель — посрамление скупости моего кузена — уже достигнута, и самое важное теперь — это добиться утверждения пенсии навсегда. Это удастся сделать, если очень выразительно оттенить этот нахальный ответ и изобразить его как мелочную месть. Вот *àgrière pensée*, лежавшая в основе моего памфлета против Генриха Гейне; факт выдачи пенсии был бы изображен в ней, как разумеющийся сам собой, таким образом он стал бы общеизвестным; борьба идет поэтою только за форму утверждения пенсии. Если, вслед за появлением памфлета, Вы захотите его использовать, то, имея в виду эту цель, Вы не должны поносить Карла Гейне за скупость, а осторожно порицать его за недостаток миролюбия и защищать основное — борьбу гения с денежным мешком. Таким образом, чрезвычайный семейный скандал не будет дискутироваться, и нам нечего

бояться тех возражений, от которых предостерегает Фарнгаген. Эту статью, дорогой Лассаль, Вы должны написать, как только появится жельнский памфлет, и я надеюсь, что у Вас достанет такта и осмотрительности, чтобы не озлобить против меня вконец К. Гейне и не отдавать уже завоеванных мною преимуществ. Я сам буду играть роль мягкосердечного, строго держаться которой я был готов всегда. Где Вы сможете напечатать Вашу статью, я не знаю: лучше всего было бы в Берлине; может быть, из любезности ко мне Рельштаб делает это, в противном случае надо использовать браславльскую газету. Полагаюсь на Ваш ум.

О Мейербеере я рассказал Вам в Париже чистую правду, а теперь косматый медведь, кажется, сам не помнит больше об этом деле. Только не будучи в силах добиться от него ничего другого, я удовлетворился формой этого письма, настаивая лишь на определенном подчеркивании его свидетельства о жизни и пенсии. Косвенным образом я этого добился, и письмо это — мой наиболее важный документ, который Вы не должны выпустить из рук. Если Мейербееру захочется более настойчиво обратиться к самому К. Гейне и сделать все, чтобы склонить его к заключению мира, то это конечно будет чрезвычайно желательно и в настоящее мгновение из этого вышел бы толк. Мейербеер больше, чем кто бы то ни было, имеет все права и основания энергично выступить в этом деле, он может сослаться на то, что он сам в нем запутан по их почину, и после того, как он лично совершенно определенно сам засвидетельствует Карлу Гейне, что слово моим дядей было дано, он, миллионер, сможет конечно попросить своего собрата, в виде личного одолжения, уступить и навсегда устранить скандал. Ведь Карлу Гейне нужен только мост, чтобы с честью выйти из этой аферы. Но это должно произойти тотчас же и бесповоротно. Ловите медведя в капкан.

Не жалейте никаких средств, чтобы заставить медведя плясать под нашу дудку. Он должен написать письмо

en confidence непосредственно Карлу, а не посылать его через меня. Если Иосиф Мендельсон тоже сделает что-нибудь в этом роде, то сейчас это будет конечно чрезвычайно ценно. Пресса нужна не для того, чтобы решить битву, а для того, чтобы тревожить врага; если враг опомнится слишком рано, до того, как посредники приступят к своему делу, то мы проиграем всю кампанию, и я останусь при той же неутешительной дилемме. — Я лично еще не писал К. Г., но сделаю это на-днях для того, чтобы мое миролюбивое письмо пришло в момент, когда пресса и посредники выведут его из равновесия. Я знаю совершенно точно, чего я хочу. — Письмо К. Г., которое находится у Кампе, я затребовал обратно, так как через эту кумушку я не хочу передавать непосредственно Вам такие вещи.

Мое физическое состояние ужасно. Я целуюсь, но мои губы настолько парализованы, что я ничего не чувствую при этом. Десны и часть языка тоже поражены, и все, что я ем, отдает прахом. На-днях я попробовал царски-русские ванны, это — суровое послушничество. В мужестве у меня недостатка нет.

С Вашей сестрой мы очень много бываем вместе и часами болтаем о Вас. Она очень остроумна, и в ней есть очаровательнейшее сходство с Вами. Она отлично ладит с моей женой. Через несколько дней я собираюсь устроить званный обед в ее честь, на который приглашу Руайе, Бальзака, Готье, Гозлана и др. — если бы и Вы могли явиться! Я хотел бы заполучить Вас на неделку (не больше). Тотчас же после Вашего отъезда, в два утра, я написал мой балет, который пойдет в Лондоне, может быть, даже в нынешнем году. Я снова занимаюсь биржевыми делами, хотя и очень неудачно. Я должен это делать, потому что иначе семейное несчастье мое превратится в навязчивую идею, которая сведет меня с ума. Несмотря на свое жалкое физическое состояние, я пытаюсь рассеяться, только не с женщинами, они могут меня теперь доканать; поэтому я не набрался еще храбрости, чтобы навестить Мадонну — ведь она по рассеянности может перепу-

тать тех, с кем имеет дело. Будьте здоровы, я жажду услышать о том, как Вы живете. Зная Ваш характер, я полон самого за Вас филистерского страха. С Вашим шурином мы болтаем о делах, они идут хорошо у него, и он истинный гений.

Ваш друг
Г. Гейне.

Париж, 7 марта 46.

Дорогой Лассаль!

Ваши письма, оба от 24 февр., я получил. Правда, основной их смысл привел меня в изумление, я даже сделал большие глаза по поводу Вашей наивности, но суть дела я понял и одобрил. Насколько я не подхожу для поручения, которое годится скорее для романов Сю, чем для моих дел, я вижу уже по тому, что до-сего дня я даже не мог изучить обстановку, чему способствует конечно и теперешнее состояние моего здоровья. Но и другой ничего не добился бы этим путем; лучший путь — это прибегнуть к одной из здешних посредниц haute volée, но к ней Вам надо обратиться непосредственно, по причинам, которые сейчас я открыть не могу. Это не так просто и стоит дорого, а может быть, и не так дорого, если Вы восполните все Вашей личной ловкостью. Поэтому если Вы сами приедете сюда, то надежда на успех есть. На предложенном же пути он немыслим.

Насколько случайность разрушает всякий расчет, я вижу из того, что «Кельнская газета» до сих пор не напечатала пресловутой статьи. Я велел написать, чтобы она тотчас же вернула ее подателю, а теперь обдумую, что мне с ней делать. По всей вероятности, если вообще я напечатал ее, то по дождю с этим еще несколько недель, так как моя больная голова заставляет меня отложить на некоторое время все энергичные действия и вообще временно прекратить всякую войну. Это — к Вашему сведению и руководству. Все сильные волнения убивают меня сейчас, а писание для меня яд. Сейчас для меня годна только примирительная политика. Но я все еще держусь того мне-

ния, что если напечатать эту статью, то это все-таки будет иметь самое благотворное влияние, если даже она и не послужит защитой; подлость моих врагов в ней особенно очевидна. Разве Вы другого мнения? Только, бога ради, действуйте осторожно. — Мейербеер — продувная bestия, но тем не менее я спущу с него шкуру. Я всегда говорил Вам чистую правду, вплоть до мелочей, касающихся тех запутанных интриг, в которых со скучным однообразием попеременно выступают то его тщеславие, то его скупость.

Во всяком случае уверяю Вас: он стоит мне дороже, чем я ему. Вы представления не имеете, сколько у меня ежедневно вымогают здешние немцы, из которых некоторую пользу извлекал один только Мейербеер. Передайте мне точно, что он говорил, и я намылю ему голову так, как ее еще никогда не мылили. — Во всяком случае позаботьтесь, чтобы он самым решительным образом написал Карлу Гейне и чтобы я получил копию этого письма. Это он сделает, а это сейчас самое целесообразное. — Его письмо ко мне, находящееся у Вас, я вскоре, может быть, потребую обратно; возможно, что оно будет мне крайне необходимо. — Вы знаете, это один из важнейших моих документов. — Сообщите мне только немедленно, написал ли Мейер-

беер Карлу Гейне. — Насколько мог бы быть полезен г-н ф. Гумбольдт, я сейчас не знаю; его мнение, высказанное в частном письме ко мне (например с более точным ответом на мою просьбу о берлинской поездке), было бы для меня конечно полезно, так как это письмо я послал бы Карлу Гейне. Но этого Вы не так легко добьетесь, как Вам кажется.

Даю Вам честное слово, что до вскрытия последнего завещания я не написал Карлу Гейне ни одного оскорбительного слова, и, следовательно, у него в руках нет ничего такого, помеченного ранней датой.

Будьте здоровы и любите меня со всей добросовестностью. Верьте, что я часто и с огромнейшей заботой думаю о Вас и Вашей будущности; но я никогда не говорю этого ни Вам, ни, особенно, посторонним; для этого я слишком разумен и опытен.

Сколько пинков Вы получите еще, прежде чем приобретете мою опытность! Но тогда Вы будете утомлены и больны, как я, и тогда опытность не поможет Вам! Это — жизнь! Я сыт ею...

Ваш друг
Г. Гейне.

Кальмониус и Ваша сестра живут здесь хорошо и весело; он счастливейший человек! Верит вся и всем и даже самому себе.

Письмо от 1 апреля 1823 г.

Вольф, Иммануил (1796—1847); с 1822 г. переменил имя на Вольвийл. Товарищ Гейне по «Союзу культуры и науки еврейского народа». Впоследствии директор еврейской школы в Гамбурге.

Ганс, Эдуард (1797—1839), — немецкий юрист, ученик Гегеля, друг Гейне. Представитель так называемого «философского» направления в науке о праве, которое, будучи проникнуто буржуазно-прогрессивными стремлениями, стояло в оппозиции к реакционно-феодалной «исторической» школе права.

Мозер, Моисей (1796—1838), — банковский служащий, один из основателей «Союза культуры и науки еврейского народа», ближайший друг Гейне.

Цунц, Леопольд, — товарищ Гейне по «Союзу культуры и науки еврейского народа».

Фридендер, Давид, — ученик философа-просветителя Моисея Мендельсона; религиозный философ, выдвинувший проект перестройки иудейской религии. В 1820 г. напечатал

книгу «Добавления к истории преследования евреев писателями в девятнадцатом веке», посвященную одной из деятельниц «Союза» — Элизе фон-дер-Реке.

Ауэрбахянство — речь идет о предложении Ауэрбаха читать проповеди в синагоге на немецком языке.

Отмена эдикта — эдикт 1812 г., давший евреям в Пруссии все гражданские права, был частично отменен в 1823 году.

Голес — gohles (точнее gohlus) — «изгнание» на древнееврейском языке.

Гаммония — богиня-покровительница города Гамбурга.

Маркус, Людвиг, — один из деятелей «Союза».

Amice — друг.

Гамбургская шайка — семья дяди Гейне, Соломона, в доме которого он жил в юности и материальной поддержкой которого пользовался долгие годы.

Sempiterna solatia generis humani — вечное утешение рода человеческого.

«Старый Вольф» — Фридрих-Август Вольф (1759—1824), немецкий филолог. С 1861 г. вследствие расхождения с политикой прусского правительства в деле народного просвещения отказался от государственной службы и стал внештатным профессором Берлинского университета; ему принадлежит ряд работ по античной литературе, составивших в свое время целую эпоху в классической филологии.

Статья о Польше — «О Польше» — публицистическая статья Гейне, написанная им после поездки в Польшу (осенью 1822 года) и напечатанная в журнале «Собеседник» (№№ 10 — 17 за 1823 год).

Письмо от 1 октября 1824 г.

Фарнгаген фон-Энзе, Карл-Август-Людвиг-Филипп (1785—1858) — дипломат, писатель, критик, историк В 1809—1813 гг. офицер австрийской, затем русской армии; в 1815 г. — прусский посланник при баденском дворе, с 1819 г. — советник прусского министерства иностранных дел.

«Трагедии» — трагедии Гейне «Ратклифф» и «Альманзор», изданные в 1823 году отдельной книгой вместе с циклом «Лирические интермеццо».

Путешествие по Гарцу — осенью 1824 года Гейне пешком обошел провинцию Гарц и на обратном пути в Веймаре посетил Гете.

Письмо от 26 мая 1825 г.

Христиани, Рудольф (1797—1860), — адвокат, а затем государственной секретарь в Люнебурге. В годы юности занимался переводами и писал критические заметки в вестфальских периодических изданиях.

Начало романа — речь идет о новелле Гейне «Рабби из Бахараха», рукопись которой впоследствии погибла. Отрывок этой новеллы был опубликован лишь в 1840 г., в четвертом томе «Салона».

Штраубе, Генрих, — издатель романтического журнала «Волшебная палочка», университетский товарищ Гейне.

Гакстаузен, Август, барон, фон (1792—1866), — товарищ Гейне по Геттингенскому университету, впоследствии писатель по аграрным вопросам.

Гуго, Густав (1764—1844), — профессор Геттингенского университета. Основатель реакционно-феодальной «исторической» школы права. Шпитта, Карл-Иоганн-Филипп (1801—1859), — поэт, автор духовных стихотворений.

Письмо от 1 июля 1825 г.

Баснаж — «История еврейской религии», изд. в Париже в 1707 г.

Шудт — «Еврейские достопримечательности с еврейской франкфуртской хроникой» (1714 г.).

Ашер, Саул, — один из членов «Союза культуры и науки еврейского народа»; фило-

соф, вместе с Цунцем в 1846 г. переиздал сочинения Вениамина Бен-Туделы — еврейского писателя XII века.

Сафир, Мориц-Готлиб (1795—1858), — австрийский писатель-юморист и поэт. Гейне впоследствии встречался с ним в Париже.

Берне (1797—1837), — критик и публицист, с 1820 г. в эмиграции (в Париже). Один из организаторов парижского «Союза изгнанных» — революционной мелкобуржуазной организации, — один из виднейших деятелей по общественному движению, которое возникло в 30-х годах среди радикальной мелкой буржуазии.

Жан Поль — Жан-Поль Рихтер (1763—1825), — один из виднейших немецких писателей-юмористов Германии. Противник классицизма, не примкнувший однако к романтикам.

Письмо от 4 января 1830 г.

Платеновская глава — глава в «Лукских водах», первой части III тома «Путевых картин», изданного в 1829 г. В ней заключается памфлет против графа Августа Платена-Галлермюнде (1796—1835), — поэта-аристократа, который с позиций «чистого искусства» подверг резкой и пристрастной критике творчество Гейне и его друга — драматурга Карла-Лебрехта Иммермана.

«Сила обстоятельств на этот раз станет комедией». Намек на трагедию Людвиг Роберта «Сила обстоятельств».

Шиллеро-гетевская война Ксений — намек на эпиграмматические дистихи Гете и Шиллера, появившихся в шиллеровском «Альманахе муз на 1797 год» и осмеивавшие различные явления современной им литературной жизни.

Фосс, Иоганн-Фридрих (1751—1826), — поэт и переводчик, автор идиллий. В творчестве его есть черты демократизма.

Роберт, Людвиг (1778—1832), — драматург, зять Фарнгагена.

Беер, Михаэль (1800—1833), — драматург. Автор трагедии «Пария» (1823), посвященной национальной проблеме в условиях феодального общества и имевшей огромный успех среди либеральной буржуазии.

Madame votre épouse — ваша супруга, то-есть Рахель-Антония-Фредерика Фарнгаген фон-Энзе (1771—1833), урожденная Левин, критик и глава самого влиятельного в Берлине двадцатых годов литературного салона.

Madame Роберт-Фредерика Роберт (1795—1832), — урожденная Браун. Жена Людвиг Роберта, поэтесса.

Ваша сестра — Роза-Мария Ассинг (1783—1840), — новеллистка и поэтесса.

Д-р Ассинг — Давид-Ассур Ассинг (1787—1842) — врач, в юности, кроме медицины, занимался и литературной критикой.

Письмо от 27 июня 1831 г.

La force des choses — сила обстоятельств.
Aux grands hommes la patrie reconnaissante. — великим людям — благодарное отечество.

M-me Valentin — хозяйка одного из литературных салонов Парижа.

Шлезингер, Морис, — театральный и музыкальный критик.

Донндорф — товарищ Гейне по Берлинскому университету, парижский корреспондент «Аугсбургской всеобщей газеты».

Я пародирую Дантона — намек на слова Дантона, произнесенные им в ответ на дружеские советы спастись бегством, после того как часть «умеренных» уже была арестована: «Отечество не унесешь на подошвах сапог».

Письмо от 10 июля 1833 г.

Лаубе, Генрих (1806—1884), — вождь правых немецких младогерманцев, сторонников Гейне. В 1833 году стал редактором «Zeitung für die elegante Welt». В связи с этим и завязалось его заочное знакомство с Гейне (они познакомились лично только в 1839 году).

Juste milieu — золотая середина, то-есть партия умеренных либералов.

Карлисты — наиболее реакционная партия, сторонники Карла X (1757—1836), свергнутого с престола и изгнанного из Франции после июльской революции 1830 года.

«Французские дела» — название книги, составленной из парижских корреспонденций Гейне в «Аугсбургскую всеобщую газету» и изданной в 1833 году.

Гейделоф — совладелец парижского отделения фирмы «Гофман и Кампе» в Гамбурге.

Кампе, Юлиус, — глава издательской фирмы «Гофман и Кампе» в Гамбурге, издатель почти всех произведений Гейне.

«О немецкой художественной литературе» — французский перевод книги Гейне «Романтическая школа».

Письмо от 23 ноября 1835 г.

Менцель, Вольфганг (1798—1873), — критик и публицист, редактор «Штутгартского литературного листка».

В начале своей литературно-публицистической деятельности проявлял известную оппозиционность по отношению к общественно-политическому строю современной ему Германии. Однако критика его велась с позиций узконационалистических, и свои общественные идеалы Менцель черпал в феодальном прошлом Германии. Подлинная сущность Менцеля вскрылась при столкновении его с буржуазно-радикальной литературной группировкой «Молодая Германия». Доносы Менцеля в «Штутгартском литературном листке», приведшие к жестоким репрессиям против группировки и начавшиеся в ту пору, когда вождь группировки Карл Гуцков сидел в тюрьме, вызвали сильное общественное негодование. Против Менцеля выступили находившиеся уже тогда в эмиграции Гейне и Берне. Ему посвящен памфлет Берне «Менцель-французоед» и статья Гейне «О доносчике».

Revue — журнал «Немецкое обозрение», который собирались в 1835 году издавать младогерманцы.

Козни якобинцев — речь идет о «Союзе изгнанников», революционной мелкобуржуазной организации, состоявшей из эмигрантов, покинувших пределы Германии после репрессий 1832 года, и ремесленных подмастерий. Взаимоотношения Гейне с этой организацией были очень натянутыми не только вследствие того, что Гейне видел слабые стороны ее общественно-политических установок, но и вследствие того, что позиции самого Гейне в ту пору были не слишком четкими.

Письмо от 28 января 1836 г.

31-е заседание 1835 года — в этом заседании было принято постановление союзного сейма против «Молодой Германии», запрещавшее к печати и распространению все произведения младогерманцев. В отношении Гейне это постановление было особенно жестоким, так как оно запрещало к печати и распространению не только все прежние, но и все будущие его книги.

Письмо от 4 февраля 1836 г.

Messeigneurs! — милостивые государи.

Vos seignerics — ваши светлости.

«Салон, третья часть» — вышел в 1837 году. В него вошли повесть «Флорентийские ночи» и полубеллетристическая работа о немецких сказках и легендах «Стихийные духи».

Письмо от 23 августа 1838 г.

Гуцков, Карл (1811—1878), — драматург и романист. Глава «Молодой Германии». От националистической оппозиционности менцельского толка (в начале своей литературной карьеры он был близок с Менцелем) перешел под влиянием сен-симонизма и писателей-идеологов передовых слоев французской буржуазии к буржуазно-революционным установкам. Во время революции 1848 года вместе со всей массой немецкого радикально настроенного бюргерства занял резко реакционные позиции по отношению к революционно-демократическому и пролетарскому движению.

Que Dieu les prenne en sa sainte et digne garde — да осенит их господь своим святым покровом.

Мундт, Теодор (1808—1861), — критик, новеллист, романист, принадлежал к «Молодой Германии».

«Серафима» — роман Гуцкова, вышедший в 1837 г. в Гамбурге.

Письмо от 3 сентября 1840 г.

Кольб — редактор «Аугсбургской всеобщей газеты».

Кюне, Густав (1806—1888), — беллетрист и критик.

Письмо от 3 января 1846 г.

«Атта Тролль» — поэма Гейне, написанная в 1841 году, в самый разгар его борьбы с радикалами, и осмеивающая филистерство,

узость и тупость буржуазных и мелкобуржуазных революционеров Германии.

Предательство в лоне семьи — отказ двоюродного брата Гейне, Карла, выплачивать ему после смерти Соломона Гейне (1845 г.) ежегодную пенсию, которую Генриху Гейне давал умерший.

Письмо от 10 февраля 1846 г.

Мендельсон — Феликс Мендельсон-Бартольди (1809—1847), композитор, внук философа-просветителя, друга Лессинга, Моисея Мендельсона.

Грюн, Карл-Теодор-Фердинанд (1817—1887), — немецкий радикальный публицист, сторонник так называемого «истинного социализма».

Пюттман, Герман, — альберфельдский политический поэт, редактор нескольких радикальных изданий.

Гумбольдт, Александр-Фридрих-Вильгельм (1769—1852), — натуралист и путешественник. Основоположник современной физической географии.

Диффенбах — прусский хирург, бывший товарищ Гейне по Боннскому университету.

Пюклер, Герман-Людвиг-Генрих, — князь Пюклер Мюскау (1785—1871), писатель, критик, ученый садовод.

Grand seigneur — вельможа.

Point d'honneur — дело чести.

Loyalte — благородство.

Котта, Иоганн-Георг, — глава издательской фирмы Иоганн-Фридрих фон-Котта, заместивший в 1832 году своего умершего отца, с которым Гейне был связан в Мюнхене (1828), когда редактировал газету «Политические анналы».

Ротшильд, Джемс, барон, — парижский банкир, с которым Гейне был связан и деловыми отношениями, и личным знакомством.

Мой балет — «Доктор Фауст» — «Танцевальная поэма», написанная в 1846 году.

Кальмониус, Фердинанд Фридлянд, — зять Лассаля.

Ваша сестра — Фредерика Фридлянд.

Письмо от 11 февраля 1846 г.

Гиллер, Фердинанд (1811—1890), — пианист, композитор и капельмейстер.

Мейербеер, Джьякомо (артистический псевдоним Якова Беера) (1791—1864), — оперный композитор.

Галеви, «Мушкетеры», — опера композитора Жака Галеви (1799—1862) на сюжет романа Ал. Дюма.

Моя жена — Евгения-Кресценция-Мира («Матильда»), на которой Гейне женился в 1841 г.

Письмо от 27 февраля 1846 г.

Agrière pensée — задняя мысль.

Генрих Гейне — описка, речь идет о Карле Гейне.

Содержание журнала „Новый мир“ за 1933 г.¹⁾

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ:

- Аросев, А. Бианка, рассказ XII—105
- Белый, А.** Из книги «Начало века». —
В Брюсов А. Блок VII—VIII—260.
- Белый, А.** Жан Жорес X—123.
- Вишневский, Вс. Оптимистическая трагедия,
пьеса. II—29.
- Воронский, А. Бурса, I—127, II—176,
III—204, IV—225, V—211
- Гарри, А. Конец Петлюры, рассказы.
XII—30
- Горбунов, К. Ленъ, рассказ. IX—29
- Гроссман, Л. Бархатный диктатор, повесть
I—75, II—134
- Евдокимов, И. Архангельск Часть третья.
I—114, II—213, III—148, IV—198, V—179.
- Завубрин, В. Горы, роман VI—5, VII—
VIII—41, IX—16, X—111, XI—83, XII—119.
- Зингер, Макс. Тагам, повесть. VI—44,
VII—VIII—188
- Иллеш, Б. Тисса горит, роман, книга третья.
IV—47, V—132, VI—83, VII—VIII—220.
- Кирион, В. Суд, пьеса V—5.
- Лидин, Вл. Верность, рассказ. VII—VIII—65.
- Никифоров, Г. Единство, роман. I—56,
II—93, III—176, IV—171.
- Никулин, Л. Дело Жуковского, повесть.
IX—5.
- Новиков-Прибой, А. С. «Орел» в бою, из
второй книги «Джусима». III—13.
- Новиков-Прибой, А. С. На курсе норд-ост
23°, из второй книги «Джусима» XII—5
- Нюрнберг, Ш. Конец бригады 3, рассказ.
XI—15.

- Перегудов, А. Радость, рассказ. XI—5.
- Пильняк, Бор. Камни и корни, комментарий
и обвинение писателям IV—5, VII—VIII—87.
- Раскольников, Ф. В плену у англичан.
IX—110
- Раскольников, Ф. Рассказы комплота:
1. Гибель черноморского флота. 2. Взятие
Энзели XI—49
- Раскольников, Ф. Рассказ о потерянном дне.
XII—96.
- Самсонидзе, П. Салтъ, пьеса, X—5
- Сейфуллина, Л. Собственность, рассказ,
X—40
- Сергеев-Ценский, С. Львы и солнце, повесть
V—98.
- Серебрякова, Г. Юность Маркса, роман.
III—48, IV—146, V—160, VI—133.
- Скляр, И. На раз'езде, повесть IV—99.
- Соколов-Микитов, И. Ленкорань VI—108.
- Сухотин, П. Человеческая комедия, пьеса
III—115.
- Толстой, Ал. и Старчаков, А. Патент
№ 119, пьеса. I—5.
- Толстой, Ал. Петр Первый, роман, книга
2-я. II—5, III—76, V—66, VI—166, VII—
VIII—250, XI—72, XII—84
- Тренев, К. Опыт, пьеса VII—VIII—5.
- Чумандрин, М. Германия. I—37, II—61,
III—90, IV—85.
- Ширяев, П. Высокая земля VII—VIII—292,
IX—131, X—134, XI—138, XII—157.
- Ясеинский, Бруно. Человек меняет кожу, ро-
ман, книга вторая V—42, VI—25, VII—VIII—
156, IX—64, X—59.

СТИХИ И ПОЭМЫ:

¹⁾ Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер книги, арабские — страницу.

Васильев, Павел. Соляной бунт, поэма. V—82, IX—50, XI—39.

Жаров, А. Два стихотворения. XII—27.

Камениский, В. Медвежий ров, поэма. IV—70.

Купала, Янка. Над рекой Орессой, поэма, перевод С. Городецкого. X—46.

Лахути. Два стихотворения. XI—11.

Муканов, Сабит. Новый отау. XI—95.

Нарбут, В. Перепелиный ток. VI—43.

Нарбут, В. Микроскоп. VI—81.

Незловин, Н. Из книги «Москва». I—55.

Орешин, П. В мир, III—175.

Рыленков, Н. Пороша. VI—107.

Санников, Г. Каучук, поэма. VII—VIII—68.

Сурков, А. Гвардеец. X—121.

Ютканаков, М. Когутэй, поэма, перевод с алтайского Г. Токмашева, редакция и предисловие В. Зазубрина. XII—61.

СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ:

Бальзаак. Письма, с примечаниями П. Сухотина. II—267, III—273, IV—302.

Белый, А. Культура краеведческого очерка. III—257.

Белый, А. Энергия. IV—273.

Богословский, Н. Роман о Ломоносове. VII—VIII—395.

Богданов-Березовский, В. Письма о музыке. II—261.

Богданов-Березовский, В. Советское оперное творчество. XI—189.

Бойчевский, В. Творчество Перегудова. XI—180.

Браудо, Е. М. Советские композиторы. VI—245.

Варшавский, Л. Смертность, рождаемость, браки. II—239, III—234.

Варшавский, Л. На мирном положении. XI—149.

Василенко, В. Металлическое цветение. I—182.

Виноградов, А. Стендаль и искусство. I—261.

Вихрев, Е. Пушкин и Горький в искусстве Палеа. IX—234.

Гамов, Г. О происхождении элементов. X—179.

Гейне, Г. Письма. XII—215.

Гвоздев, А. Социальная трагедия и героическая драма. VI—195.

Горбов, Д. Мастерство жизненной правды (о Новикове-Првбое). VII—VIII—370.

Гнеднн, Е. Германский фашизм у власти. VI—181, VII—VIII—352.

Гнеднн, Е. На стыке двух эр. XII—185.

Гронский, И. М. Второй пленум оргкомитета ССП СССР. II—248.

Гроссман, Б. Писатель и окраина. X—217.

Дыбенко, П. Киргизские национальные части. XI—135.

Зарвар, В. Гражданская авиация капитализма — резерв войны. I—167.

Коваленко, Б. О «Последнем из Удэгэ» А. Фадеева. IV—292.

Локс, К. Письма Флобера. IX—224.

Львов, В. Е. Вопрос о причинности в современной физике. II—227.

Львов, В. Е. В недрах атомного ядра V—242.

Львов, В. Е. Загадка космических лучей. X—184.

Львов, В. Е. Научное обозрение. XI—162.

Лукач, Г. Г. Гауптман остался членом фашистской литературной академии. X—202.

Лукинцкий, П. Диванъ. X—151.

Луначарский, А. Барух Спиноза. I—167.

Луначарский, А. Выставка картин П. П. Кончаловского. V—277.

Марков, П. О советском актере. XII—211.

Некора, Л. Литература современного Египта. IX—227.

Проф. Неменов, М. И. Рентгеновы лучи и радий и их применение в медицине. IV—258.

Нусинов, И. От Лихарева к Скутаревскому. VI—227.

Обручев, С. Полет на остров Врангеля. XII—171.

Оксенвв, И. Борьба за лирику. VII—VIII—399.

Пикель, Р. Итоги театрального сезона. XII—202.

Пиксанов, Н. Глеб Успенский о Карле Марксе. III—245.

Полякова, М. Об избранных произведениях В. Инбер. VII—VIII—390.

Попов, В. Колхозный блокнот. VII—VIII—344.

Радек, К. Карл Маркс. III—5.

Регнстан, Э. и Бронтман, Л. Восстание в пустыне. XI—96.

Рожков, П. О социалистическом реализме. IX—187.

Селивановский, А. Тысяча девятьсот тридцать второй. I—230.

Селивановский, А. Демьян. I—255. 16*

Селивановский, А. Эдуард Багрицкий. VI—210.

Сергеев-Ценский, С. Цусимой рожденный (об А. С. Новикове-Прибое) I—211.

Старчаков, А. Творческий путь Ал. Н. Толстого. V—260.

Старчаков, А. О «Венере Милосской» (к 50-летию со дня смерти И. С. Тургенева). IX—215.

Шкляр, Н. Повесть о зоопарке. VII—VIII—314.

Фатуев, Р. Хава. IX—163.

Фибих, Д. Люди, сталь, золото. IX—178.

Эфрос, А. Об Аристархе Лентулове. IX—243.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Академия наук СССР. Институт русской литературы. Литературная библиография. Том I. Л. 1932 г., стр. 132, XI—199. Н. Кашин.

Архангельский, Л. Северная весна. Молодая Гвардия. 1933 г., стр. 77. VI—252. Д. Горбов.

Архитектура современного Запада, сборник статей под редакцией Д. Е. Аркина, Изогиз, 1932 г. III—287. С. Рюмов.

Вересаев, В. Сестры, роман. ГИХЛ, 1933 г. IX—252. В. Бойчевский.

Живов, М. Глазами иностранцев, ГИХЛ, 1932 г. VI—255. **А. Луначарский.**

Звенья, сборник первый. «Academia». 1932 г. IX—254. Ф. Раскольников.

Карцев, А. Ромб, повесть, ГИХЛ, стр. 180. VI—251. Н. Замошкин.

Кирсанов, С. Товарищ Маркс, ГИХЛ 1933, стр. 114. IX—250. М. Малишевский.

Лапин, Б. и Хадревич, Э. Сталинабадский архив, изд-во «Федерация», 1932 г., стр. 147. III—286. А. Селивановский.

Никулин, Л. Записки спутника. Время, пространство, движение. IV—317. И. Оксенов.

Смирнов, Ник. Человек и жена, повествование Н. Н. МТП, 1933 г., стр. 112. VI—253. Д. Гельман.

Тарпан, Г. Матросы. МТП, 1932 г., стр. 224. Его же. Черноморцы. МТП, 1932 г., стр. 190. IV—319. П. Березов.

Шаров, К. Рожденные дважды, повесть ГИХЛ, стр. 396, 1931 г. VI—254. Т. Николаева.

Эгарт, М. Опаленная земля. ГИХЛ. 1933 г. Стр. 368. XI—198. Д. Гельман.